

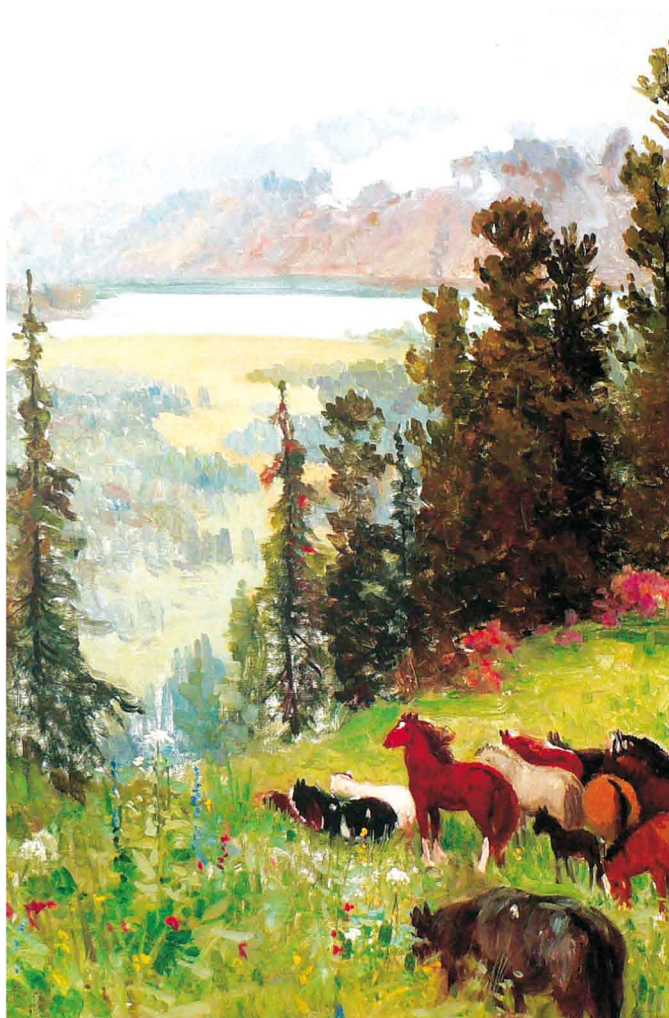
3/2010

Начало века

Начало века

Литературный и краеведческий журнал

3



2010

НАЧАЛО ВЕКА 2010/3

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Главные редакторы:
Геннадий СКАРЛЫГИН
Владимир КРЮКОВ

Редколлегия:
Александр КАЗАРКИН
Борис КЛИМЫЧЕВ
Вениамин КОЛЫХАЛОВ
Валерий МАРКОВ
Валерий СЕРДЮК
Валентин РЕШЕТЬКО
Александр ЦЫГАНКОВ
Сергей ЯКОВЛЕВ

Адрес редакции:
634069, г. Томск,
ул. Шишкова, д. 10.
Тел. 528-369,
e-mail: skar50@yandex.ru

**Электронная версия
журнала:**
<http://www.lib.tomsk.ru>
(электронная библиотека)

При перепечатке
материалов ссылка
на журнал «Начало века»
обязательна.
Мнения авторов
не обязательно совпадают
с мнением редакции.

На обложке: картина
художника Григория Гуркина

Журнал выходит
при поддержке
Администрации Томской
области

В НОМЕРЕ:

ГОСТЬ НОМЕРА

Беседа с писателем
Сергеем Максимовым 2

ПРОЗА

Сергей МАКСИМОВ. Фрагмент
новой книги 4

НАШИ ДАТЫ

К 175-летию
Григория Потанина 10
К 140-летию
Григория Гуркина 15

ПОЭЗИЯ

Сергей ЯКОВЛЕВ
И повеет, как преданье 23
Ирина КИСЕЛЁВА
Звезда голубая пала... 29
Наталья ПАНЫЧЕВА
Как в школе за миг до звонка 34

ПРОЗА

Лариса МАРКИЯНОВА
Рассказы 35

ПОЭЗИЯ

Виктор КОВРИЖНЫХ
Просто выпало – дом и дорога... 48
Геннадий СКАРЛЫГИН
Как мало для радости надо... 54

ПРОЗА

Владимир ЖОЛНЕРОВСКИЙ
Рассказы 58

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЁБА

С областного совещания молодых
писателей «Томский класс» 63

КРАЕВЕДЕНИЕ

Лидия ЛАПИНА
Записки семейные 160
Из истории красного бандитизма 178

Авторы номера 193

ЛЮБОВЬ, НЕНАВИСТЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО...

Несколько вопросов Сергею Максиму по поводу публикации романа «След грифона»



– Удивляюсь, что ваша первая проза – роман, да еще и с предполагающимся продолжением. Да еще издан в известном московском издательстве большим тиражом. А также и представлен ни много ни мало, как «Вечный зов» нашего времени.

– Сам не перестаю удивляться. Скажу больше: в своей жизни никогда не написал не то что повести, но и рассказа.

– Да еще и роман исторический, жанр наиболее сложный, потому что главным героем здесь должна являться Эпоха или, лучше того, Время. На мой взгляд, с основной задачей вы справились.

– Старался быть убедительным. Но совмещать историзм с художественными образами – дело весьма трудоемкое. Вы не хуже меня это знаете.

– Мелкие ошибки есть, но блин комом не вышел. Не могу назвать «След грифона» авантурным романом, потому что персонажей ведут объективные социальные проблемы, ход истории, и вам удалось уяснить логику характеров и событий и верно расставить акценты в выборе человеком своей судьбы. Из этого заключаю, что вас вела мысль помочь читателю не только ощутить первую половину XX века, но и понять кое-что в нашей современности. Я прав?

– Юлиан Семёнов определяет роман как «поток социальной информации». Если к этому добавить поэтично-художественное определение

книги Пастернаком, что «книга является кубическим объемом совести и ничем больше», то и получится исторический роман. По большому счету, даже современный роман должен стать для следующего поколения читателей историческим. Значит, не комом... Хоть и блин... Спасибо.

– На мой взгляд, историческому роману противопоказаны и морализаторство, и публицистика. Вторжение авторского «я» отвлекает от полного погружения в повествование. Это портит романы и Балашова, и Солженицына. Вы тоже не оказались свободны от эмоций и пояснений. Не лучше ль было доверить читателю самому дать оценку того, что творилось?

– Лучше-то оно лучше, но и читателю нужно дать возможность поспорить с оценками автора. А для этого их ему нужно знать.

– Специально не касаюсь текста. Пусть читатель сам решает и спорит, кто виноват в том, что было, и что делать сейчас. А вам успехов и удач!

Беседовал с писателем
Николай Серебренников,
профессор ТПУ,
доктор филологических наук

Сергей Максимов

СЛЕД ГРИФОНА-2

Фрагмент из новой книги, которая является своеобразным продолжением романа «След грифона»

– Товарищ маршал Советского Союза, генерал-лейтенант Суровцев прибыл для дальнейшего прохождения службы, – отрапортовал Суровцев.

Ворошилов молчал и тяжёлым взглядом смотрел на своего бывшего подчинённого. Последние три года, начиная с советско-финской войны, он агрессивно и настороженно встречал всякого, кто появлялся перед ним помимо его воли. А после его смещения с должности командующего фронтом и отъезда из Ленинграда даже вздрагивал, когда видел знакомого человека, но при новых обстоятельствах. Он молча сидел и смотрел на посетителя. Наконец, поднялся из-за стола. Заложил руки за спину. Подошёл к Суровцеву. Здраваться маршал явно не хотел. Обошёл генерала вокруг, измеряя его недобрым, придиричьим взглядом. Вдруг неожиданно произнёс:

– А, может, зря я тебя не зарубил в двадцатом году? На митинге в Умани...

Суровцев молчал. Ворошилов же ярко вспомнил далёкий год и митинг на перроне уманского вокзала. Вспомнил лихого и хитрого командира полка Гриценко. Вспомнил ехидные слова комполка о надписи на его казачьей пашке – «без нужды не вынимай, без чести не вставляй». Последний раз он выхватил пашку, когда пришедшие чекисты заявили ему, что пришли арестовывать его Нину Давидовну. Разоружать маршала с обнажённой пашкой они не решились. Не тронули и жену. Перепугались не на шутку, когда он пошёл на них с острым, как бритва, убийственным клинком. Смотреть на них было противно. «Этот, кстати говоря, в двадцатом году, помнится, не шибко испугался», – припомнил Ворошилов.

– Что молчишь? – спросил он Суровцева.

Суровцев знал характер маршала и был уверен, что он не переменялся кардинально за прошедшие годы. Он всегда относился с уважением к этому полководцу из народа и знал, что такие вещи люди чувствуют. Поэтому предпочёл пока отмалчиваться. Расчёт оказался верным.

– Садись, – приказал Ворошилов. – Разговаривать будем.

Сергей Георгиевич присел на предложенный стул. Его не оставило ощущение, что будто и не прошло больше двадцати лет с тех пор, как они в последний раз встречались. Маршал вернулся на своё место за сто-

лом. Взял в руку несколько листков с печатным текстом. Презрительно спросил:

– Ну и что ты здесь накалякал? И главное – для кого? Это ты мне тут объясняешь, что такое малая война?

Суровцев ждал, когда сам Ворошилов себе же и ответит. Он и ответил сам себе:

– Мне твоя писанина нужна, как Троцкому Евангелие! Забери, – бросил он документы на стол перед Суровцевым. – И лыбиться не надо, – уже не так грозно продолжал Ворошилов, – не в цирк пришёл. Ты мне лучше скажи, что ты за птица такая? Ты чекист или ты беляк недобитый, при Шапошникове отирающийся? Он всё вашего брата-офицера приветствует. У него рядом вечно «голубчик» на «голубчике». Что молчишь, голубь мой?

– Я, Климент Ефремович, русский офицер, – без всякого пафоса ответил Суровцев. – И вы это хорошо знаете.

– Ну-ну, – закивал Ворошилов, – что-то много русских офицеров в последнее время у нас опять образовалось. Будто и не рубили, и не стреляли вас. Да и какой ты русский, если у тебя и фамилия наполовину немецкая!

– Русский офицер – наднациональное понятие. И это не мы сами, а враги наши утвердили перед лицом всего мира, – достаточно высокопарно заявил Суровцев.

– Так ты, краснобай хренов, ещё и красным генералом стал! Вот в чём дело!

– Так и вы теперь маршал!

– Ладно. Ты мне без всяких бумажек расскажи... Что ты думаешь о создаваемом штабе партизанского движения?

– Вам, в отличие от других, скажу открытым текстом: не моего ума это дело.

– Здрасте-насте! А кому ты всё это писал?

– Тому, кто будет принимать решение по этому вопросу.

– Ты не юли, Суровцев.

– Нечего мне юлить. И я, и вы понимаем, что возглавлять партизанское движение должен скорее партийный руководитель, нежели военный.

– А я, по-твоему, не то и не другое?

– Думаю, что вы сейчас скорее военный, чем партийный работник.

Ворошилов с интересом смотрел на Суровцева. «Что это, неприкрытая лесть? Или издевательство? Что, он не знает, что в последнее время стали говорить о нём и о Буденном?».

– Вы – военный человек, Климент Ефремович, – твёрдо подтвердил Суровцев.

«Военный. В том вся и беда, что стал военным, – думал Ворошилов, – и рад бы им не быть, а не получится. Да и не дело это – метаться из стороны в сторону».

– В корень зришь, – вздыхая, признал Ворошилов. – Не простое это дело – давать оружие мирному населению, да ещё на оккупированной территории. И тоже понимаешь, что одними диверсиями в немецком тылу дело не решишь. Одно тебе скажу прямо: мне ты здесь не нужен. Так что отправляйся к Шапошникову в Генштаб, или к Берии в НКВД. Где ты там числишься – не знаю... Словом, без тебя здесь как-нибудь разберёмся. А надо будет – пригласим.

– Разрешите идти? – вставая, спросил Сергей Георгиевич.

Ворошилову не хотелось так просто отпускать своего бывшего подчинённого. Будучи человеком любопытным, он хотел как можно больше узнать о нём и о причине такого странного назначения:

– Погоди уходить. Лучше скажи мне, где ты с товарищем Сталиным познакомился?

– В Кремле, – честно ответил Сергей Георгиевич.

– Как это в Кремле, когда он мне сказал, что с девятнадцатого года с тобой знаком?

– Не могу знать, товарищ маршал. Может быть, пошутил товарищ Сталин?

– Может быть, и пошутил, – согласился Ворошилов. – А может быть, и нет, – многозначительно добавил он. – Первую конную вспоминаешь?

– Гораздо чаще, чем можно было предположить, – честно и прямо ответил Суровцев.

Работая с оперативными документами, он не раз и не два встречал знакомые по Первой конной имена и фамилии. Были среди них маршалы С.К. Тимошенко и Г.И. Кулик, недавно разжалованный до генерал-майора. Был очень значительный список нынешних генералов, а значит, в недалёком будущем маршалов: А.В. Тюленев, О.И. Городовиков, К.С. Москаленко, П.С. Рыбалко, Д.Д. Лелюшенко, И.Р. Апанасенко, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Д.И. Рябышев, П.Я. Стрепухов, А.А. Гречко, С.М. Кривошеин, П.Ф. Жигарев, А.И. Леонов, Я.Н. Федоренко, А.С. Жадов, П.А. Белов, В.В. Крюков, Т.Т. Шапкин и другие. Сколько командиров воевало на низших командных должностях – невозможно было и сосчитать.

И теперь, и тогда существовало несколько объяснений такого феномена. Назывались и называются разные причины. Иногда это связывают с небывалым развитием бронетанковых войск, командную основу которых составили именно кавалеристы. В тридцатые годы объясняли исключительной преданностью делу партии всех будёновцев. Но был и ещё один любопытный факт: в конной армии товарища Будённого все усиленно учились. Кто просто читать и писать, а кто-то азам военного дела. Знания основ тактики и стратегии закреплялись прямо на поле боя. Приказ наркомата военных дел № 104 от 28 января 1918 года «О подготов-

ке инструкторов пехоты, кавалерии, инженерных войск и пулемётного дела стоящих на платформе Советской власти» в Первой конной знали и чтители. Много уже говорилось о слабом батальонном звене в Красной армии. Но, в отличие от белых армий, во время Гражданской войны здесь усиленно готовили младшее командное звено. Ускоренные курсы от двух до восьми месяцев давали неплохие командные кадры, которые быстро делали военную карьеру.

– Какой никакой, а ты тоже наш, – вдруг заявил маршал. – Потому только с тобой и разговариваю. У казаков при крепостном праве с Дона выдачи не было. У нас при социализме из Первой конной выдачи тоже нет. Спрашивали меня о тебе в прошлом году. Послал куда подальше. Сами, говорю, разбирайтесь. Если у вас на него что-то есть, берите и разбирайтесь. А ко мне нечего ходить. Мы ещё в Гражданскую быстро выясняли, кто чего стоит. Воевал, я сказал, ты хорошо.

– Спасибо, Климент Ефремович, – поблагодарил Суровцев.

– Гриценко «спасибо» скажи. Памяти его светлой. А вообще, не думай, что сейчас, как в двадцатом. Есть теперь и у нас образованные командиры. В том числе и по партизанским действиям есть специалисты. И не нам с тобой чета – опыт современной войны имеют!

Ворошилов знал, что говорил. Так, он открыто покровительствовал полковнику инженерных войск Илье Григорьевичу Старинову, прошедшему Испанию и попавшему в немилость к самому Сталину. 14 ноября 1941 года группа Старинова в оккупированном Харькове с помощью радиоуправляемой мины целиком уничтожила штаб 68-й немецкой дивизии вместе с её командиром генерал-лейтенантом Георгом фон Брауном. Немцы развернули огромную дезинформационную работу, чтобы хоть как-то сгладить неприятный эффект от удачной акции, как они посчитали, советской разведки. Кому захочется признать, что в глубоком тылу немецких войск взлетают на воздух штабы дивизий! Жертвой немецкой дезинформации Старинов и стал. Сталин поверил немцам, объявившим о «несчастном случае, связанном с неосторожностью». Ворошилов не поверил немцам. Спорить с вождём он не стал, но и в обиду ценного специалиста не дал. Прямо и твёрдо сказал Берии: «Оставь Старинова в покое!». Ещё задолго до войны, при обсуждении генерального плана реконструкции Москвы, когда десятками сносились православные храмы, он отрабатывал эту схему поведения на Кагановиче. С огромного макета города во время памятного совещания один за другим исчезали крохотные фигурки московских церквей. Воровато оглянувшись по сторонам, Каганович стащил с отдельного макета Красной площади храм Василия Блаженного и сунул его в карман пиджака. Так и исчез бы навеки памятник, если бы не бдительный Ворошилов. Подошёл и с угрозой в голосе сказал: «Лазарь! Поставь храм на место!». Связываться с Ворошиловым было небезопасно. Неизвестно еще, чья возьмёт. «Хозяин Москвы» глуповато улыбнулся и «поставил храм на место».

Сейчас по приказу Ворошилова готовилось назначение полковника Старинова на должность начальника Высшей оперативной школы особого назначения Центрального штаба партизанского движения, которую предстояло сформировать на станции Быково. Но присвоение генеральского звания полковнику в очередной раз было отложено лично Сталиным. Не первый и, самое главное, не последний раз в течение войны.

Эта невидимая взаимная неприязнь имела любопытное последствие. После смерти вождя Илья Григорьевич Старинов носил медаль за «Победу над Германией» совершенно особым образом – обратной стороной. Если кто-то решал, что медаль нечаянно перевернулась, и пытался её повернуть положенным аверсом наружу, то с удивлением узнавал, что медальный барельеф Сталина сточен до основания. А сторону с надписью владелец медали считает единственно уместной.

– Вот что я сделаю, – продолжал маршал, – позвоню Шапошникову и откажусь от тебя. А ты давай определяйся, где и с кем работаешь. А то болтаешься, как хризантема в проруби! Не дело это.

Дело или не дело – Суровцев не знал. Но действительно, теперь у него во внутреннем кармане гимнастёрки, кроме генеральского удостоверения, лежало удостоверение, само появление которого невозможно было предположить ещё год тому назад. И было оно, наверное, единственное в своём роде. Согласно документу он, генерал-лейтенант Суровцев Сергей Георгиевич, является консультантом НКВД СССР.

Разговор по телефону с маршалом Шапошниковым занял у Ворошилова не более двух минут:

– Здравия желаю, Борис Михайлович! – говорил он в телефонную трубку. – Беспokoю тебя относительно нашего разговора. Встретился я с известным тебе товарищем. Буду его иметь в виду. Но пока нам с ним и говорить не о чём. Вопрос и по моей кандидатуре окончательно не решён.

Какое-то время Ворошилов молча и внимательно слушал, что ему отвечает Шапошников. Закончил общение он сдержанно и коротко:

– Договорились. До свидания.

О чём могли договориться два маршала, Суровцеву оставалось только догадываться. Одно ему было ясно – работать совместно с Ворошиловым ему не придётся. Другой бы на его месте огорчился, но не Суровцев. Покровительства Ворошилова он не искал. Хватало ему покровителей. И любое высокое покровительство в его положении могло обернуться против него.

– Поезжай в Генеральный штаб, – сказал ему Ворошилов, – маршал тебя ждёт. О разговоре нашем особенно не распространяйся.

Прощались тепло, не в пример встрече. Ворошилов дружественно жал Суровцеву руку. Другой рукой держал его за плечо. Вдруг спросил:

– С какого ты года, Суровцев?

– С девяносто третьего.

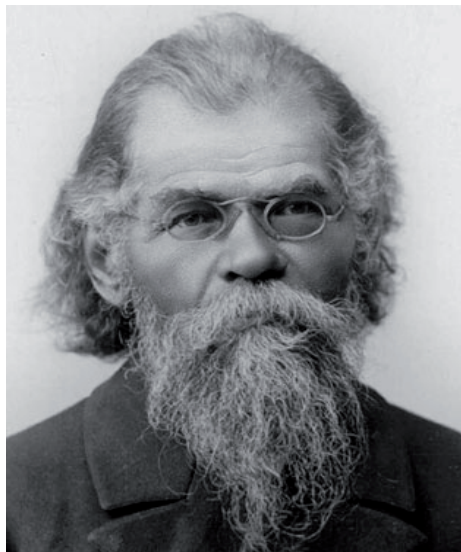
– А выглядишь младше. Поди, так и не пьёшь, и не куришь? Жена, опять же, молодая, я слышал... Молодец!

Сергей Георгиевич ощутил неприятный холодок на спине. «Женатый человек – всегда уязвимый человек», – ещё раз повторил он про себя в это утро.

После ухода Суровцева Ворошилов аккуратно собрал им же самым разбросанные листки секретного доклада о партизанских действиях. Вложил их в папку. На душе стало спокойнее после этой встречи. Он понял главное: «Если и была какая-то против него интрига, то исходила она не от Берии и не от Шапошникова. И тем более не от Суровцева. Вот чем и хороши бывшие офицеры царской армии, так это тем, что прямые, как палки. Интриговать не любят и не умеют, и при этом ни черта не боятся. Хотя тоже, хорош гусь! «Не его ума это дело»... Моего, что ли, ума? Уж кто-кто, а я как никто другой знаю, что заниматься организацией партизанской войны – это всё равно что на гружёной телеге с крутой горы катиться. Разогнаться – сразу разгонишься. А вот остановиться – незнамо, как получится. В 1812 году царь шибко не хотел мужику оружие давать. И правильно делал. У нас после семнадцатого года сами брали, сколько хотели. А потом вдруг и выяснилось, что красные партизаны после Гражданской войны оказались и не «зелёные» даже, а стали хуже разбитых белогвардейцев. Вот и сейчас: вооружить партизан просто. А потом пойди разоружи! Что до этого странного назначения, то это Сталин в обычной своей манере смоделировал ситуацию, в которой всем становится не по себе. И не знаешь, что думать и чего ждать. Ну, нравится ему до последней крайности довести человека, чтоб тот уже и стреляться не думал! А потом позвонить почти под утро и пожелать спокойной ночи. Но тут ничего не поделаешь. Хо-хо-хо», – сокрушался Климент Ефремович.

АЛЕКСАНДР КАЗАРКИН «ВСЁ – В СЕВЕРНОЙ АЗИИ»

К 175-летию со дня рождения Г.Н. Потанина



«Если представить в будущем Сибирь так же населённую, как ныне Европейская Россия, то нельзя не подумать, что центр тяготения русского государства должен перейти на неё».

Разносторонность дел и знаний Григория Николаевича Потанина поражала современников. Он был географом и геологом, историком Сибири и видным этнографом, он собрал уникальные гербарии, был крупным публицистом и, главное, реформатором, выдающимся общественным деятелем. А ещё он – основатель сибирской фольклористической школы. Но труды в этой области так и остаются мало востребованной частью его наследия. Отчего это? Ведь

вклад Потанина в собирание сказаний и песен Сибири очевиден, только загляни в библиографию. Скорее всего, тут столетняя инерция. Нашлись критики его «восточной» теории с громкими именами – академики А. Веселовский, В. Бартольд, Н. Марр. Но и заступники были не менее авторитетные – Ольденбург и Семёнов-Тян-Шанский. А в XX веке пришли единомышленники и продолжатели – евразийцы.

Ещё молодым офицером собрал он «Материалы для истории Сибири» и стал членом Русского Географического общества. Заступничество РГО помогло сократить срок ссылки (после каторги, на которую его осудили по «Делу об отделении Сибири»). Начинаящий собиратель упрекнул фольклористов в узости кругозора: «мы не знаем, имеем ли такие сюжеты, которые известны только одному нашему народу; не знаем, какие сюжеты у нас общие с западными нашими соседями, какие с восточными». Важной задачей он считал восстановление «истории расселения сюжетов, совпадающей с историей культурных заимствований». По генам, казачьим, он был не теоретик, а путник: на каторге и в ссылке он мечтал о казачьем седле, и после помилования рванулся в экспедиции – в Монголию, в Китай и Тибет. Половина книг, изданных как отчёты об экспедициях, – фольклорные и этнографические материалы. Дополнительная переработка их дала книгу «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе». В ней он обобщил материалы, собранные им лично. В отличие от многих теоретиков, Потанин обращался не столько к книжным источникам, сколько к живому бытованию фольклора. И какого фольклора – ордынских песен и сказаний! Открылось непаханое поле, и тюрко-монгольскому героическому эпосу путешественник посвятил тысячи страниц.

Тут был пионерский почин: «Пренебрежение учёных к степным народам задерживает развитие науки. Установлению правильных взглядов на роль этих *варваров* и на историю духовно-культурных заимствований

мешает наше арийское высокомерие, ложная историческая перспектива...». Теперь, с опозданием на полтора века, взялись за планомерное издание эпоса народов Сибири. А Потанин призывал к этому ещё в семидесятые годы позапрошлого столетия. Заметен вклад его и в изучение фольклора народов таёжной полосы, он был крупным знатоком шаманизма.

А вот организационную его заслугу признавали все. Потанин формировал большие и малые общества изучения фольклора Сибири. Записывать тексты, говорил он, могут даже гимназисты, надо всюду создавать кружки любителей народной словесности: «Тут ещё немало сохранилось в народной памяти образов, которые ещё не попали в печать, но могут попасть, если учёные общества и частные собиратели приложат усердие в собирании их». В письме академику С. Ф. Ольденбургу (1908 г.) с удовольствием сообщил, что для собирания алтайских сказок создал компанию из грамотных алтайцев. Удачный опыт уже был: им вдохновлён «Балаганский сборник», одно из первых изданий бурятского фольклора. Без настойчивости Потанина не вышли бы «Верхоянский сборник» (якутский фольклор, собранный ссылкой Худяковым) и знаменитый «Аноский сборник» – первое собрание сказаний и песен алтайцев.

Главный и бесспорный вклад его в науку – систематизация «ордынских» сказаний. Ещё в казацком седле записал он около 300 казахских и татарских песен и легенд. В Монголии и Тибете он на каждом шагу слышал легенды кочевников, и его потрясло сходство богатырских песен-поэм о Гэсэре с русскими былинами. Благодаря его усилиям был издан и переведён вариант великой Гэсэриады – «Абай Гэсэр богдо-хан». В тюрко-монгольских сказаньях он увидел «живую старину» Европы и России. Потанин первым указал на недостаточное внимание к культуре степи, увидел здесь «несмелость мышления, поработанного рутинными взглядами и рутинными верованиями».

Главную заслугу русской фольклористики Потанин видел ясно: героический эпос собран и более или менее изучен. Но дальше следовал вывод: «записывание былин завершилось», в Сибири найдены их последние фрагменты. Иное дело – тюрко-монгольские сказания, их он признал древнейшими из сохранившихся в живом исполнении. При его сосредоточенности на проблемах Северной Азии этот подход выглядит даже неизбежным. В предисловии к сборнику «Русские сказки и песни Сибири и другие материалы» (1902) он сожалел о потере интереса к этому жанру, а ведь сибиряки хранят в памяти сказки, забытые в Центральной России. К русскому фольклору Потанин обращался для сопоставления с восточным, но его статьи о сказках могли быть изданы отдельной книгой: «Русские сказки в Сибири, записанные от В.А. Палкина» (1902), предисловия к сборникам «Русские и инородческие сказки Енисейской и Томской губернии» (1906), статьи «Тибетские сказки и предания» (1912), «Козика и Баян-Сылу. Телеутская сказка» (1915), «Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и сказки» (1916). «Сказка с двенадцатью персонажами» – малый цикл статей, выстроилась небольшая книжка, а в ней – параллели евангельских мотивов и восточного фольклора. Тут видно, что он был сторонником теории «странствующих сюжетов». Но, в отличие от знаменитого своего оппонента Веселовского, Потанин уважительно отзывался о мифологической школе: она учитывает связь мифов и ритуалов с климатом, с местом формирования народа. В поклонении зверям отразился хозяйственный уклад охотников и кочевников-скотоводов.

Но «восточная теория», заявленная в разрозненных статьях, была замечена не сразу. Вот хронология: «Восточные основы русского бы-

линного эпоса» (1881), «Громовник по поверьям и сказаниям племён южной Сибири» (1882), «Северно-азиатская легенда о сыне неба» (1882), «Из монгольской мифологии» (1887), «Монгольские сказания о Гэсэр-хане (по вопросу о происхождении русских былин)» (1890). Самые «урожайные» – 90-е годы: «Восточные параллели к некоторым русским сказкам», «Ставр Годинович и Гэсэр», «Богдо-Гэсэр и славянская повесть о Вавилонском царстве», «Восточные основы русского былинного эпоса». Отдельное издание – «Отголоски сказки об Еруслане» (М., 1901). Наиболее полно потанинская концепция изложена в книгах «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе» (М., 1899), «Сага о Соломоне» (Томск, 1912), «Ерке. Култ сына неба в Северной Азии» (Томск, 1916).

Герой центрально-азиатского эпоса Гэсэр вырос из культа зверя-предка. Легенды о Карле и Чингисхане Потанин толкует как поздние вариации: брошенного в лесу или степи младенца находят случайные спасители, гонимый царевич восстанавливает свои права, отвоёвывает похищенную жену, в боях ему благоволит Небо. Правда, на этом пути исследователь высказал слишком смелые допущения. В истоке евангельского сюжета он увидел «центрально-азиатскую шаманскую легенду», пришёл к ошеломившему многих выводу: «христианство возникло в южной Сибири или Северной Монголии». В статье «Ордынские параллели к поэмам ломбардского цикла» говорится о решающем влиянии монгольского эпоса даже на Крайний Запад. Что уж говорить о русских былинах – «Гэсэриада жила в юго-восточной России полностью...».

Догадку о посредничестве монголов между Индией и Европой высказал ещё Теодор Бенфей, основатель школы заимствования. Он говорил о переходе былинных образов из Индии на север вместе с буддизмом. Потанин отклонил эту гипотезу: ведь «до буддизма в Центральной Азии был культ Арья-Бало, который распространялся на запад». Образ Арья-Бало, восходящий к древнейшему культу Митры, сохранился на Тибете в религии *бон*. В буддизме он превратился в Авалокитешвару. Тут напрашивался вывод о переменном влиянии Востока и Запада, но Потанин настаивал: монголы были первыми. Впрочем, позднее он себя поправил.

В России раньше Потанина на восточном происхождении былин настаивал известный критик Стасов. В книге «Происхождение русских былин» он выводил сюжеты славянских героических песен из Индии и Ирана. Но гипотез много, и любая из них не много стоит без научного обоснования. Потанин же в основу теории положил природно-географические факторы: причина сохранности архаичной мифологии – климат и ландшафт. Монголия – страна скудной природы, а потому и не знала больших нашествий извне. В Монголии заканчивался кочевой маршрут скифов, здесь они поворачивали обратно, на Запад. А когда скифы (массагеты и савроматы) перерезали друг друга в длительной вражде, поднялись гунны, началось «великое переселение народов» – первый натиск с Востока. Потанин искал и следы влияния с Запада: «Титул "сын неба" был занесён индо-скифами в северную Индию; на одной индо-скифской монете находится царский титул *Devapoutra*, "сын неба"». Недавно, на исходе XX века, Е. Мелетинский ещё раз указал, что в эпосе кочевников южной Сибири «много общего с культурой сако-массагетских племён Средней Азии и скифов Причерноморья». Так что пионерская заслуга Потанина в этой области подтверждена историками следующих поколений.

Но почему же образ посланца Неба мог сложиться именно в тюрко-монгольской среде? В книге «Ерке» Потанин рассуждал так: культ сына Неба сложился на Севере Азии «из наблюдений над местной природой». А дальше «по созданию мира между отцом и сыном произошёл спор из-за обладания миром». Сын Неба предстаёт в монгольских сказаниях двояко. То он, «из дружелюбия к человеку, бунтует и против установленного творцом порядка, против установленной смертности человека», то он, «униженный творцом, питая злобу против него, хочет отомстить ему разрушением творения». Небо признаёт наконец своего сына. Таковы общие мотивы легенд о Гэсэре, Чингисхане, Карле Великом.

На фольклоре сибирских народов Потанин проверял миграционную доктрину. Она не различает национальности героического эпоса, обходит важнейший вопрос – о совместимости пришлых мотивов с коренными религиозными представлениями народа. Потанин столкнулся с предубеждением, с нежеланием вникать в дело: «“Гэсэр” напечатан, но Веселовский ещё его не читал <...>. Не читавши, он выражал сомнения, чтобы был прав». И заметим: Потанин, один из пионеров этнопоэтики, выделялся вниманием к среде бытования сюжетов. А что касается «отсталости» тюрко-монгольских народов, тут исследователь-сибиряк ссылаясь на письменные памятники раннего Средневековья (орхоно-енисейское письмо). Потанин нигде не упомянул, что подарил это открытие своему другу – Ядринцеву. Ещё в первое путешествие в Монголию он высказал предположение, что столица чингизидов должна находиться здесь, на малой родине Чингисхана, а в 1888 году он объехал холмы-развалины, но отложил раскопки на будущее. Ядринцев прежде в Монголии не бывал, но прямо вышел на руины, указанные по карте Потаниным, – в верховья реки Орхон. Правда, город был основан в домонгольскую эпоху: Харахорин – столица Уйгурского каганата (об этом рассказали двуязычные стелы).

В споре с европоцентристами Потанин допустил перегиб: «Здесь легенды и верования древнее семитских и, зародившись здесь, перешли вместе с переселением семитов на запад». Гипотеза Потанина – контраргумент суждению А.Н. Веселовского о невозможности влияния монголов на европейские народы. Он допускали лишь действие развитой культуры на «примитивную». Потанин возражал: воздействие Востока длилось века, а заимствование не всегда объясняется отношениями господства и подчинения. Как объяснить непобедимое шествие гуннов и монголов? На этот вопрос западники вразумительного ответа не дали. Ордынский эпос выражал дух цельной культуры. Почти через столетия восточная гипотеза нашла поддержку в *ностратической* теории (В.В. Иванов и В.Н. Топоров).

«Монголофильская» доктрина вызвала длительную полемику, не завершённую поныне: теперь это противостояние глобалистов и регионалистов. Мир постепенно принял потанинскую мысль об особой миссии Сибири. Следующий шаг – вывод Шпенглера о новом всемирно-историческом типе культуры, русско-сибирском. В XX веке монгольская гипотеза стала основой доктрины евразийцев. Завершают её книги Льва Гумилёва, в них предположения Потанина были проверены и доказаны с опорой на природно-географический подход. «Потанинской» можно считать книгу «Чёрная легенда. Друзья и недруги Великой степи» да и более известную «Древняя Русь и Великая степь». По широте и смелости сопоставлений они равны. И оба автора скептически относятся к идее прогресса: «судьба всех этносов – постепенный переход к этноландшафтной равновесию» (Л. Гумилёв). Ещё не став «сибирским дедушкой», Пота-

нин испытывал отвращение к имперской «мономании». Главное его положение, теоретическое и практическое: «Безучастие к инородцам – глубокий порок державной расы...».

Потанину принадлежит мысль о возможности оригинальной сибирской литературной школы. Он призывал вникнуть в стадиальные различия фольклора Сибири и на нём строить здание литературы. Без этого она будет только провинциальным повторением Центра, беспочвенной, неоригинальной. Увы, не впрок нам уроки Потанина – Сибирь стала гигантским псевдоморфозом. В переломные моменты истории она делала прорывы к самоутверждению, но очень уж неуверенные. А новый век явился с глобалистским проектом, не допускающим сохранения самобытных местных культур.

Надо удивиться дальнобойности потанинской мысли. А удивившись, призадуматься: кто мы и почему материальные ресурсы задарма отдаём, а духовные – заваливаем отходами. Его «восточную гипотезу» современники, большей частью, не приняли, а нам знать её надо, чтобы владеть наследием по-хозяйски.

АЛЕКСАНДР КАЗАРКИН «ПЕРВОБЫТНО, ГРАНДИОЗНО И ВЕЛИЧАВО»

К 140-летию со дня рождения Г.И. Гуркина
(1870 – 1937)

Это написано в Университетской
роще:

«Здесь и цветы не те, и трава дру-
гая. И деревья здесь не родные мне.
Нет высоких гор, нет гремучих ручьев,
нет и быстрых, светлых рек, шумно
стекающих в изумрудные воды Ка-
туни!

Ой, мне скучно здесь, дорогой
Алтай. Здесь все чуждо мне, и при-
рода, и люди. Пусть они устраива-
ют политику, охрану страны и суд.
А мне как художнику одна доро-
га и труд – быть изобразителем кра-
соты твоей, великий Хан-Алтай! Ни
политическо-общественными дела-
ми, ни кабинетно-деловыми я рабо-
тать и /быть/ полезным, в силу сво-
ей усталости, я не могу. А потому один
выход. Ехать домой на Алтай и изучать его искусство, служить которому я
должен. Хочется отдыха на лоне природы – с тобой, Катунь!».

А там, дома!.. «Всё вокруг первобытно, грандиозно и величаво: мо-
гучим кольцом раскинулись и ушли в беспредельную даль горы. Мягкие
линии сдвинулись одна за другую, смешались в лабиринте очертаний и
замкнулись в неуловимой дали воздушной лазури.

Какой везде простор и какая мощь!

Это ты, заколдованный, угрюмый царственный Алтай!

Это ты, богатырь, дремлешь веками <...> и думаешь свои заветные
добрые думы...

И вот, среди этого могучего заколдованного царства <...>, среди гро-
мад голубых гор, среди дремучих тёмных лесов, по нежным, благоухаю-
щим цветами долинам, по золотому дну Алтая, течёт изумрудная река –
красавица Катунь. Глубоко врезалась она в самое сердце Алтая и меж-
ду ущелий извилась голубой лентой. Бурная, неугомонная, крепко при-
жалась она к груди великана и стремительно, с шумом, течёт вперёд...».

См.: Чорос-Гуркин Г. Алтай и Катунь // Памятное завещание. Горно-
Алтайск, 1990.

В наследии Гуркина-литератора заинтересует стихотворение в прозе
«Плач алтайца на чужбине». Создано оно в 1907 году в Томске и опубли-
ковано в газете «Сибирская Жизнь». По происхождению Григорий Ивано-
вич Чорос-Гуркин – карым (бастард): алтаец по матери, русский по отцу.



Свои литературные произведения он писал на русском языке и стоит у начала русской литературы Горного Алтая.

Вглядимся в символику этой миниатюры. Вертикальный вектор – Хан-Алтай. А горизонтальный – Река, красавица Катунь (хатун – жена, понимай – хана Алтая). Сколько легенд и сказаний звучало о ней! Увы, большей частью забыты.

Гора – центр мира, вертикаль небесная. Пояс – грань между «своим» и «чужим». Хан-Алтай требует эпически-возвышенного описания: «Я как бы вижу первый день мироздания! Когда после векового мрака ты, Хан-Алтай, впервые был освещён восходящим солнцем, как загорелись тогда твои причудливые скалы и как заблестали тогда твои изумрудные ледники! Как зацвело и затрепетало вокруг, сливаясь в одну сплошную музыку, в один нескончаемый чудный аккорд! И ты, дивный Хан-Алтай, тогда прославил своего творца. Природа ликовала, и я думаю, творец твой Ульгень сам тогда любовался твоей красотой. Божья песнь, как волосная струна, прозвучала тогда и наполнила тебя музыкой природы...». Алтай актуализирует понятия *центра и пояса, вертикали и горизонтали*. Велик пояс евразийских степей. Велика Катунь, дающая начало реке со скифским названием – Обь. А ещё здесь центр сопряжения трёх мировых религий: буддизма, христианства, ислама. А ещё Алтай – алтарь и хранилище древнейшего шаманизма.

На вершине обитает светлый дух Ульгень, в нижней части – злой дух Эрлик, владыка царства мёртвых. Река – протяжённость мира и путь жизни, она соединяет верхний, средний и нижний миры. Начало её – в родном и священном пространстве, а уходит она в чужие пределы.

Ульгень – демиург, даритель знаний и ремёсел (аналог – Прометей), он проявляет отеческую заботу обо всех насельниках *срединного мира*, о людях в том числе, но не главным образом. Он, Ульгень, дал жизнь, вручил душам дар – петь о красоте гор: «И вот простая струна из волос конской гривы, натянутая на обрубок кедрового пня, превратилась в руках певца в золотую».

Эрлик – создатель нижнего мира: «Всё милое и дорогое схоронил он в недрах Алтая... суровый Эрлик, которому подчинены все горные духи...». Это конфликт Жизни и Смерти, известный в мифах всех народов. Отсюда обращение к рабам *пыльных, душных* городов, к тем, кто мёртвую землю принимает за центр: «Оставьте всё и хоть на крыльях вашей мысли перенеситесь в эту долину. Взгляните на девственную чистоту Алтая, на его красавицу – волшебную Катунь, этот символ жизни, неустанного стремления вперёд... В её волне вы ощутите биение жизни и почувствуете, что дух вселенной бодрствует в ней от создания мира...».

Чистые, звонкие краски, благоговейное высокое слово человека, не знающего «двойных» мыслей. Через тридцать лет после этого сочинения его расстреляли как *врага народа*.

По материалам газеты «Сибирская Жизнь»

Гуркин Григорий Иванович – художник (Алтай, с. Анос). Учился у И.И. Шишкина (1897–1898), в Академии художеств (1899–1905). Член Томского общества любителей художеств с 1909 г., участник выставок этого общества. В 1907, 1910, 1915 в Томске прошли его персональные выставки.

1909

Поэт Г. Вяткин опубликовал написанные в с. Чемал на Алтае стихотворения «Катунь» и «Ночь в горах», посвященные алтайскому художнику Г.И. Гуркину.

«Сибирская Жизнь», 17 июня, № 129.

Опубликовано сообщение о том, что художник Г.И. Гуркин готовится ко второй своей выставке в Томске, назначенной на зиму. Весну и первую половину лета он писал заказанные копии с картин, экспонировавшиеся на первой выставке в Томске в 1907 году. Художник планирует показать около 100 этюдов. 50 из них он вывез из поездки во второй половине лета 1908 г. Это виды Белухи, Кучурлы, оз. Кучурлинского, Ак-Кема, Ядыгема, Архыта, Рахмановских ключей, Коксы, Тальменского озера, оз. Каракол, Сумультинского белка. Кроме этюдов, художник написал 10 картин. Сообщалось, что брат художника Сергей Гуркин будет продавать на выставке фотографические виды Алтая (3–4 тыс. фотографий). Каждое воскресенье художник открывал свою студию для дачников из близлежащих сел Чемал и Эликманар, желающих увидеть его картины.

23 июля, № 158.

1910

С Алтая приехал художник Г.И. Гуркин для подготовки своей выставки, на которой художник намерен показать 20 картин и большое количество этюдов и фотографий Алтая, выполненных его братом С.И. Гуркиным.

12 февраля, № 33.

В Общественном собрании, в одном из самых больших залов, прошла (февраль–март) выставка картин Г.И. Гуркина – алтайского художника, члена Томского общества любителей художеств. Выставка работала с 10 до 18 часов. Плата за вход составляла 30 коп., для учащихся – 15 коп. Выставка охотно посещалась. Только в воскресенье 1 марта на ней побывала тысяча зрителей. Всего же выставку посетили 3773 томича.

Продано картин на 1737 руб., рисунков на 10 руб., каталогов на 144 руб. Самую большую картину «Озеро Каракол» за 450 рублей приобрело Общественное собрание для большой гостиной.

Художник показал на выставке 224 произведения, в том числе 150 этюдов. Газета опубликовала две большие статьи о выставке. Г.Н. Потанин заметил, что Гуркин «писал еще больше, чем в прошедшем году, божественно-дикую природу верховьев Алтая», поскольку в основном работы отражали поездку художника в Центральный Алтай. Потанин сделал для читателей газеты «Сибирская Жизнь» описание сюжетов большого числа произведений с выставки. На выставке среди прочих картин Гуркина были: «Артых», «Белуха», «Белуха с севера», «Водопад», «Дены-Дер», «Зимний пейзаж», «Катунь», «Кедры в тумане», «Маральник», «Озеро Каракол», «Сосновый лес», «Свадебный пир», «Ядыгем».

Февраль–март, № 34, 47–50, 53, 59, 60.

В Красноярске, в Народном доме, состоялась выставка картин

художника Г.И. Гуркина. 20 – 25 марта ее посетило 700 человек, 25 – 30 марта – 1160 человек. Продано 266 каталогов, открыток и фотографических видов на 100 руб.

24 марта, № 66; 3 апреля, № 74; 18 мая, № 103.

Художники Белослюдов, Гуркин и Щеглов выполнили иллюстрации к поэме «Киргиз» польского поэта Густава Зелинского, жившего в 1840-е гг. в ссылке в киргизских степях (перевод Г.Д. Гребенщикова).

28 сентября, № 215.

1911

Опубликована статья «Село Чемал на Алтае», в которой рассказано о роли Г.И. Гуркина в просвещении своего народа. Упомянуты заслуги художника в открытии в с. Узнезя 2-классной школы, в с. Анос – народной библиотеки и фельдшерского пункта.

6 января, № 12.

Г.Н. Потанин отправился на пароходе на Алтай в с. Анос к Г.И. Гуркину, в доме которого он жил и в прошлом году. Потанин предполагает заниматься сбором альпийской флоры и пересмотром своего исследования по фольклору «Песнь о Соломоне».

26 апреля, № 91; 29 апреля, № 94.

Г.И. Гуркин в начале лета ездил в долину р. Сумульты, впадающей в Катунь выше Чемала, и привез оттуда 20 этюдов. Затем он отправился до начала августа на Телецкое озеро. Гуркин намеревался в летних путешествиях возможно шире охватить районы Алтая. Запечатлев их, художник собирался отправиться с выставками в столицы и за границу.

18 августа, № 182; 18 сентября, № 206.

1912

Г.Н. Потанин в большом художественно-этнографическом очерке «Той» поделился своими размышлениями о том, почему Г.И. Гуркин чаще всего пишет серый Алтай. По сведениям, сообщенным Потаниным, алтайцы считают, что «самая эффектная картина бывает, когда «сопки топятся».

17 мая, № 135.

Г.И. Гуркин вместе с начинающим художником Кузнецовым и рабочими 3 месяца путешествовал по Алтаю. Маршрут пролегал от с. Анос (место жительства Г.И. Гуркина) вверх по левому берегу Катунь до устья р. Сумульты, проходил через р. Кадрин, где сохранился быт алтайцев в первозданной чистоте. Художник побывал почти в каждой юрте, занес в свой альбом как наскальные изображения, так и рисунки утвари, одежды, портреты обывателей. Гуркин прошел до устья р. Чул и вверх по ней, достигнув Кош-Агача – «царства бурханистов, боровшихся с шаманизмом». Дальше маршрут лежал в долину р. Башкауса. По ней художник спустился к р. Чулышман, впадающей в Телецкое озеро. На озере Гуркин жил 3

недели, зарисовывая многочисленные речки, водопады. Художник вывез из путешествия более 1500 рисунков и 50 этюдов маслом.

22 июня, № 139; 11 ноября, № 251.

Редакции «Сибирской Жизни» стало известно, что Г.И. Гуркин выразил намерение в конце 1912 г. устроить в Томске очередную свою выставку, которую собирался перевезти в Красноярск, Иркутск, Владивосток. Гуркин предполагал предпринять в течение трех лет кругосветное путешествие с демонстрацией своих картин и фотографий. Во время путешествия собирался написать этюды Байкала.

3 июля, № 147.

1913

В Бийске открылась выставка Г. Гуркина и его ученика Д.И. Кузнецова. Это была первая художественная выставка в истории города. Художники надеялись собрать средства для учебы Кузнецова в художественном училище.

3 января, 1913 г., № 12.

Г. Гуркин летом усиленно готовился к большой выставке в столице, поэтому не предпринимал дальних экспедиций и не открывал для дачников, отдохавших на Алтае, своей мастерской, как делал это в предшествующие годы.

4 августа, № 171.

1914

8 марта Г.И. Гуркин приехал с Алтая в Москву с шаманом-калмыком по имени Болчок для воссоздания обряда камлания на заседании этнографов в Политехническом музее. Художник привез для показа свои произведения – алтайские виды и портреты жителей Алтая.

28 марта, № 66.

В Доме науки фотограф-алтаец С. Гуркин (брат Г.И. Гуркина) прочитал лекцию «Алтай и алтайцы». Лекция сопровождалась демонстрацией фотографических снимков с помощью волшебного фонаря. Во время лекции проводилось камлание Болчока.

7 октября, № 217.

1915

Перед отъездом в Петербург мастерскую Г.И. Гуркина посетил депутат Государственной думы С.В. Вострогин и приобрел большую картину, исполненную по мотивам произведения художника «Озеро горных духов».

От имени сибирской группы Государственной думы он предложил Г.И. Гуркину всяческое содействие, если бы тот решил устроить свою выставку в Москве и Петербурге. Этот вопрос отложен художником до сле-

дующего года. В этом году Г.И. Гуркин намеревается устроить в марте-апреле выставку, помимо Томска, еще и в Новониколаевске.

15 января, № 11.

После окончания VII периодической выставки Томского общества любителей художеств опубликована большая статья Г.Д. Гребенщикова. Он писал: «Все эти годы мы с жадным любопытством следили за выставляемыми произведениями <...>. Но каждый год приходится обманываться в ожидании и с грустью тщетно искать признаков самостоятельности и самобытности среди сибирских художников. Нынешняя выставка в особенности дает повод к подобному упреку». Он сообщил, что среди выставленных работ преобладали «в большинстве почти ученические» или «не претворяющие натуру в содержательные композиции». Даже картины Г. Гуркина представились рецензенту «сделанными наспех». Речь шла о картине Гуркина «Балыкты-коль».

15 января, № 11.

В марте состоялась выставка картин Г.И. Гуркина в помещении городского ремесленного училища (угол Подгорного переуллка и Почтамтской ул.) в течение страстной и пасхальной недель. Выставлялось 80 картин, около 200 этюдов и более 200 рисунков. Один из щитов был посвящен иллюстрациям к сказкам Алтая.

Распорядитель выставки В.Я. Шишков обратился к администрации местных учебных заведений с просьбой о разрешении посетить учащимся выставку группами. Экспозиция привлекла большое количество посетителей. В последний день на ней побывал начальник губернии. Выставка получила широкое освещение в печати. В. Крутовский писал: «...Выставка картин Г.И. Гуркина является крупнейшим художественным событием. Это большой праздник для искусства Сибири». Особенно привлекательны, по его мнению, этюды, новые же картины художника не поднимаются на уровень его «Хана-Алтая» и «Озера горных духов». Но это, считал автор, «все же знаменует не падение его художественной мощи, а лишь перерыв в его творческой деятельности».

П. Федоровский в большой обзорной статье упрекает Гуркина в «фотографическом копировании природы». Несмотря на критическое отношение ко многим представленным произведениям, П. Федоровский закончил статью словами: «В общем, выставка оставляет отрадное впечатление».

Представленные на выставке картины Г.И. Гуркина: «Альпийское озеро», «Бака-Ташь», «Белуха», «Бронзовый век» («В долине озера Шира»), «В апреле», «Весенний вечер», «Вечер в горах», «Весна», «Вешние снега», «Весенние воды», «Вечер на озере Кызыл-Тобурак», «Гарь», «Дымчатый день весною», «Знойный день», «Катунь цветет», «Март», «Митрополит Макарий», «Могила кама», «На озере Ак-Коль», «На белках», «Озеро Кара-Коль», «Озеро в Лаже», «Охотники», «Озеро весной», «По дебрям Алтая», «Солнечный день», «Солнце», «Снег в мае», «Тере», «Чуйские белки».

№ 30, 55, 58, 60, 61, 63, 65 (все – март 1915 г.).

Помещены выдержки из записной книжки Н. Караваевой, где описывались впечатления от поездки на Алтай в мастерскую Г. Гуркина. Она писала: «Студия Гуркина – это горное, тихое, отразившее в себе весь Алтай. Не хочется уходить. Хорошо тут. Должно быть, когда в студии нет публики, когда художник сидит один, выбирая краски, он слышит и шум водопадов, и говор всех рек». Записи Н. Караваевой свидетельствуют, что Гуркин был интересен не только как художник, но и как личность.

27 марта, № 64.

Художник Г. Гуркин намеревается устроить выставку в Новониколаевске с 28 апреля по 11 мая. Из Томска на Алтай Гуркин собирается ехать в середине мая.

4 мая, № 97.

Художник Гуркин планирует в зимнем сезоне текущего года устроить выставку своих картин в Бийске, Барнауле, Новониколаевске, Красноярске и Иркутске. В противном случае он намеревается провести всю зиму в с. Анос, готовясь к столичной выставке.

17 сентября, № 199.

1916

Сообщается, что известный художник Г.И. Гуркин на рождественских праздниках устраивает в Бийске выставку своих картин. Он также намерен с этой выставкой поехать в крупные города Восточной Сибири.

№ 258, 259, 268.

1917

IX выставка картин Общества любителей художеств работала с 25 декабря 1916 г. по 8 января 1917 г. в помещении Королёвского ремесленного училища Томска. Экспонировалось около 150 работ. Доминирующее положение в экспозиции занимали картины художников Г. Гуркина и А. Никулина.

январь №№ 2, 5, 13.

Судьба художника уникальна. В Улале (ныне Горно-Алтайск) располагался главный стан Алтайской духовной миссии, а при ней школа с иконописным классом. Здесь Гуркин учился с 1878-го по 1883 год, а затем почти 15 лет проработал иконописцем, сначала в Улале и Бийске. В 1897 году Гуркин пытался поступить в Академию художеств, но «не обнаружил знаний». Его рисунки оценил пейзажист И.И. Шишкин, и в 1899 году малограмотный алтаец был зачислен в Академию художеств. Выставки в городах Сибири – больше тридцати. Реалист Шишкин учил придерживаться точности в пейзаже, а ученик, в духе модернизма, соединял пейзаж с родной алтайской мифологией. Большую часть жизни, с 1903-го по 1937 годы, художник жил в селе Анос Чемальского района. Сюда приезжал к нему Потанин, редактировавший знаменитый «Аносский сборник» – первое собрание фольклора алтайцев. Гуркин написал более тысячи работ,

продавал их прямо на выставках, дарил. Не многие музеи Сибири хранят его произведения.

Встречи с Потаниным и его друзьями не прошли даром: Гуркин стал областником и во время Гражданской войны возглавил Алтайскую горную думу. По окончании её в 1920–1925 годы жил в Монголии и Туве. Вернувшись, стал членом общества «Новая Сибирь».

Вот документы: выписка из протокола №40/11 заседания «тройки» Управления НКВД Запсибкрая от 4 октября 1937 г.:

«В апреле 1934 года в пределах Хакасской национальной области и Горно-Шорского района была раскрыта и ликвидирована к-р националистическая организация, ставившая своей целью создание путем вооруженного восстания и свержения Соввласти, самостоятельной буржуазно-демократической тюркской республики.

По данному делу обвиняется:

1. Чорос-Гуркин Григорий Иванович, 1870 г.р., г. Ойрот-Тура, подданный СССР, свободный художник».

«Чорос-Гуркин Григорий Иванович, 1870 г.р., урож. г. Улала, ныне г. Ойрот-Тура, эсер. Обвиняется в японо-военной к-р повстанческой деятельности.

Постановили: Чорос-Гуркина Григория Ивановича расстрелять. Лично принадлежавшее ему имущество конфисковать».

«1937 г. (11 октября) – постановление «тройки» УНКВД НСО от 4 октября 1937 г. о расстреле Чорос-Гуркина Григория Ивановича приведено в исполнение 11.X.1937 г.»

Реабилитирован в 1956 году.

*К 60-летию поэта Сергея Яковлева***И повеет, как преданье...**

К стихам Сергея Яковлева надо прислушиваться как к шелесту листьев или поющему роднику. К ним надо приглядываться, чтобы увидеть тайную красоту родного пейзажа. В них «пахнет Русью», полевыми цветами и дикой ягодой. Словом, они часть простодушной, но глубокой и вечной народной жизни.

Мы в столице почти оглохли от гремящей и лязгающей модернистской стилистики и бесконечной череды тёмных взаимоисключающих смыслов. И мне приятно рекомендовать читателю книгу выпускника Литературного института им. А. М. Горького, вместе с которым мы провели пять лет, дружески общаясь в творческих семинарах, доверенных мне к руководству.

Стихи Сергея Яковлева не требуют литературоведческого пояснения, они душевны и ясны и существуют «по факту». Они в хорошем смысле биографичны. В них «малая родина» естественно олицетворяет «большую». Они трогательны и возвышенны. Прочтите книгу – и, думаю, вы согласитесь со мною.

Владимир КОСТРОВ,
поэт, лауреат Государственной премии России

* * *

Кони красные, птицы дивные –
Полотенечное шитьё.
Рукомойник да лавки длинные,
Избяное житьё-бытьё.

Голиком половицы выбели,
Хлебы в русскую печь сади...
(Разразится здесь время гибели,
Всё останется позади.)

Погремок заряди горошиной,
Пусть играет в зыбке дитя!..
(Назовётся деревня брошенной,
И попрёт быльё не шутя.)

В небе – борозды реактивные;
Нам и выси уже тесны.
...Кони красные, птицы дивные
Пролетают сквозь наши сны.

НАДЕЖДА

Живы последней надеждою тощей:
Бог милосердный прибавит деньков...
Это печально, как месяц над рощей,
Смутный, над рощей осенних осин.

До половодья, до вербоцветенья,
Может, удастся еще дотянуть,
Но из объятий могучего тленья
Даже и майский не вызовет звон.

А хорошо бы, уж коли прощаться,
Так и уйти бы, проститься — когда
Зёрнышко станет в росток превращаться,
Теплиться звёзды ночные начнут...

Смолки вдохнуть от листвы тополиной,
Ласточкин промельк увидеть успеть.
И за окошком цветущей калиной
Век увенчать свой в тепле и светле...

УДЕЛ

За рубежи пространств родных
Не часто лётать мне случалось,
В отличие, скажем, от иных,
Которых тьма туда умчалась.

Полуразбитый свой шесток
Трудолюбиво проклиная,
Одни смотались на Восток,
Другим Европа как родная.
В лучах иль в пальмовой тени,
В Бахрейне где-нибудь иль в Риме,
Как дети, хвалятся они
Землёй, упроченной не ими.

Но почему-то мне родней
Удел бесхитростный и вечный,
Где до последних верных дней
Остался жить сверчок запечный.

Вся трель его летит во тьму,
Не дальше милого порога,
Поскольку некого ему
Хвалить и славить кроме Бога.

* * *

Вот оно!..
Изведённая мраком,
Стала пропастью звёздной вода;
Только шаг – и стнящим подранком
Упадёшь в пустоту навсегда!

Не без страха стою у предела,
Холод веет, пырей шевеля,
И мне дорого слышать, как тело
Притяжением держит земля.

С ДОРОГИ
В час утра туманно-предзорный,
Осилив дорогу ночную,
Открою свой дом беспризорный,
Открою и дверцу печную...

Уверенно пламя начнётся,
Взыграет, раздутое тягой;
Померкшее сердце очнётся,
Раскинется белкой-летагой.

Но груз утомительной ночи
Окажется вдруг неподъёмным,
И я – так оно и короче –
Исчезну за облаком дрёмным.

В тепло превращусь и уютность
И с волей прощусь законной...
А воля сквозь сонную мутность
Опять – о дороге бессонной.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Снегопад – и морозное солнце,
Этот день рассмеётся вот-вот!
Проблескного луча волоконце
Словно ось, а вокруг – хоровод.

Оснежённые пихты – как чумы,
Сердце дикое навеселе,
И кружатся хорошие думы
О зиме и о русской земле.

Эта крепкая в стужу дорога
Зазывает сверкающей мглой...
Вёрсты пёстрые, впадина лога,
Лес прозрачный вдали за рекой.

И прислушайся... там, у развилки,
Бубенцовый рассыпался звон:
Кто-то едет на бурой кобылке...
Мать честная, да это же – он!

* * *

Вышло в поле знойное
С молниями-косами.
Всё больное-гнойное
Исцелило к осени.

Чистым, светлым, горничным
Лето нам запомнилось.
Зверобоем солнечным
Да кипреем полнилось.

Полдни – море пряности,
Псы в тени валяются,
Добела, до крайности
Выси раскаляются...

Лето не напрасное,
С чайками, бекасами,
Обернулось, красное,
Зимними запасами.

Север, в поле шаркая,
Двинул силы пробные...
Канет память жаркая
В омуты сугробные.

Вьюга просыпается,
Всклочена, оскалена;
С неба осыпается
Белая окалина.

В ПОРУ ЦВЕТЕНИЯ ПАЛЬМ

Владимиру Молчанову

В самшитовой роще, у Чёрного моря,
Как вечер весенний, рубинно вино!
Я песню повёл, – по-грузински мне вторя,
Гортанно её продолжает Вано.

Тепло побережью в ленивом зюйд-весте,
Дельфин колесит далеко-далеко...
Мы в песне тоскующей странствуем вместе –
Могилку не можем найти Сулико.

Один у нас путь среди щебня и терний,
И небо над рощей и морем – одно.
Всю душу мы отдали песне вечерней,
И снова Вано разливает вино.

«Была бы вся жизнь без кровавого горя:
Зачем злая память и распрей напалм!..» –
Мы в том соглашаемся, даже не споря,
В самшитовой роще у Чёрного моря,
В чудесную пору цветения пальм.

* * *

Мятным дышится, закатным...
Солнце, здешнее пока,
Снизу блеском силикатным
Обливает облака.

В чистом полюшке росисто.
Отсыревший до небес,
Воздух глушит нежность свиста
Там, где птицы... там – где лес.

Всё – от лютика до клёна –
Даже в пору темноты –
Принимает неуклонно
Августовские черты.

Мир загадочно негромок,
Столько дум в душе и вне...
Просижу я до потёмок
На осиновом бревне.

* * *

Никуда мы лет своих не денем,
Их никто и даром не возьмёт.
Мы теперь спасаемся виденьем
И мгновений прошлых, и длиннот.

Дорогие призрачные встречи
Нашу кровь отчаянно живят,
Ей струиться радостней и легче,
Путь минувший чуть ли и не свят.

Но зола не вспыхнет, как солома.
Мимо рук и сердца миражи,
Ускользая, тают невесомо...
Тем сильнее ими дорожи.

Удержи с последним напряженьем!
Год промчится, месяц ли всего –
И разбитым в прах воображеньем
Не увидишь больше ничего.

* * *

Будь признателен бездорожью.
И в покое оставь педаль.
Подсыхающий воздух дрожью
Искажает лесную даль.
«Колокольчики, извините...», –
Так скажи луговым цветам.
Птицу жаворонка в зените
Не ищи – он невидим там,
Только слушай высокий, чистый,
Однозвучно звенящий зов
И нахваливай день лучистый,
Просто сердцем, без всяких слов.

Как по трассе летелось-мчалось!..
Поостыв, задремал мотор.
В кои веки тебе случалось
Вдруг увидеть вот т а к простор,
Эту всю красотищу божью,
В коей бег ничего не стёр?
Будь признателен бездорожью,
Молча на ночь готовь костёр...

Ирина Киселёва

Звезда голубая пала...

* * *

...Мы с тобой не разминулись,
Повстречались по весне.
Нас периметрами улиц
Город стягивал – тесней,
Чем орбитами знакомых,
Чем сообществом друзей...
В разных далях закоренных
Загоралось по звезде,
Притворяясь маяками...
Шли – на разные огни,
Только в Томске

 ну никак мы
Разминуться не могли.
Неуклонно уменьшалась
Площадь та, где были врозь.
Чья тут прихоть

 или шалость,
Только встретиться
 пришлось...
Грозовыми были ночи,
Были пасмурными дни.
Становились всё короче,
Все томительней они...
Только вдруг – вопрос лукавый:
– А могло бы?..
– Не могло! –
Был ответ.
И, боже правый,
Ах, как щёки обожгло!
Рассудить тут всяко можно:
– Эка невидаль!
– Беда:

Двое
 так неосторожно
Разминулись
Навсегда.

31 МАЯ

Ветви голые горестно вскинули

К небу серому тополя.

Ах, весна!

Поманила и сгинула.

Обнажённые стынут поля.

Где-то ливни бушуют над городом,

Где-то даришь кому-то цветы –

Загорелый, с распахнутым воротом,

Молодой, лёгкий на ногу – ты.

Иль бредёшь одинокой дорогою –

Вспоминая? тоскуя? любя?

...Ветер волосы холодно трогает.

Постарела я тут без тебя.

Снова ночь моей болью проколота,

До рассвета промаюсь без сна...

В мире холодно,

холодно,

холодно,

И никак не наступит весна.

* * *

Стелющийся шелест листопада,

Огненное кружево рябин...

Здравствуй, осень!

Или ты не рада?

Знобкий ветер лужицы рябит.

Соловей над речкою не стонет,

Оглушённый счастьем бытия...

Золотится на моей ладони

Карточка визитная твоя,

Осень!

То ли вспомнить что-то просит,

То ли колыбельную поёт...

Почему же грусть мою уносит

Листьев фантастический полёт?

Почему в преддверии мороза,

Зыбко, наяву или во сне,

Грезятся раскатистые грозы,

Что приходят в город по весне?

Почему, хоть это всё не ново,

Злую, не владевшую собой,

Отогреет вдруг –

Улыбка.

Слово.

Просто взгляд.

И утихает боль.

Тяжко платье облегло
дорогое...
Муж-то ласков, да сама
холодна.
Что же спел ты в этот вечер такое,
Прознобившее до самого дна?
Что-то в голосе твоём
полусказкой
Полусбывшейся
на сердце легло,
Неосознанной,
угаданной лаской
Прозвенело —
как звезда
о стекло.
Мы старинному послушны напеву.
Проводи —
я эту сказку люблю —
Белокурую свою королеву
К седовласому ее королю.
Тихо кончился —
весёлый ли? —
вечер,
Тихо начался —
счастливый ли? —
год.
Ах, король!
Сюжет печален и вечен.
Ничего твоя Изольда не ждёт.

Последняя истаяла звезда
В пределах досягаемости взора.
О, сколько было высказано вздора!
О, как легко проститься навсегда!
...Пока ещё не больно – горячо,
А боль подступит завтра.
Или позже.
Все аргументы спутает, низложит,
Исполосует душу, как бичом.
Она ещё отравит, истомит
В грядущие неласковые зимы...
Пока ещё постигнуть предстоит,
Как друг без друга нам невыносимо.

* * *

Брожу одна.
Вокруг – чужие, мимо.
Я жду любви. Дождаться не могу.
А время так летит неумолимо!
Пора остановиться на бегу
И отдышаться.
Или оглядеться,
Чего не получалось много лет –
Ведь, может, рядом бьётся чьё-то сердце,
Которому ответа тоже нет.

* * *

Миллионы дождей
Между мной и тобой прошумели.
Ты неведомо где.
...Еле видимо, слышимо еле
Проступаешь в ночи,
Незнакомой рубашкой белея...
Если хочешь – молчи,
Всё равно ощутимо теплее
Мой становится сон,
Угадавший твоё приближенье
По дыханию мне в унисон,
По твоим угловатым движениям...
Нет, присядь! Прикоснись!
Упрекни за бывшие романы,
Но слегка: все они
Безнадёжно бледны и туманны...
Дай поглажу вихор!
Ты был рядом со мною все годы.
Наш безмолвный ночной разговор
Будет – ясно же – не о погоде.
Что случилось с тобой?
Может быть, ты теперь мне расскажешь?
Неужели любовь –
Обязательно горечь и тяжесть?
Неужели нельзя?..
Впрочем, я говорила, ты знаешь.
...Ты отводишь глаза.
И опять исчезаешь.

* * *

Я знаю, что я пропала.
Назад меня не зови.
Звезда голубая пала –
И полно петть о любви.

Как будто согласно пели,
И жили почти в раю.
Да, видно, павлиньих перьев
Не нашивать соловью.

И ты не кляни, бледнея,
Отчаянную меня:
Мне, может, стократ больнее –
Черно в душе от огня.

Черно в небесах, озонно...
Бог знает куда лечу –
Ведь крылья – не по сезону,
И плащик – не по плечу.

ЛЮБОВЬ

Исхлёстана холодными ветрами
И горечью разлук напоена,
Весенней ночью громыхнула в ставни
Чумная, многолика – ОНА.
Не та, что робко мнётся у порога,
А та, что – не впусти –
и дверь сорвёт.
Мне жутко.
– Не входи! – кричу.
– Не трогай!
Рванулась прочь –
Она достала.
Влёт.

* * *

...Я поднесу ладонь ко рту,
Я даже вдох остановлю –
Так тяжко канет в пустоту
Лишь тень
От прежнего «люблю»...

Наталья Панычева КАК В ШКОЛЕ ЗА МИГ ДО ЗВОНКА...

ДЕТСТВО

Мама лепит пельмени.
Эти пельмени – словно тюлени.
Улягутся в ряд и ленятся,
Обвалявшись в муке,
Как в белом морском песке;
К боку бок притюленятся,
И под жёлтой лампой греются
На расписной доске.

* * *

В тумане
Потеряв рассудок,
Усну в полях.
Река-царевна
Прячет уток
В зелёных рукавах.

* * *

Лежу под ватным одеялом,
Как старый «Москвич» в сугробе –
Выбиты стёкла, салон разграблен,
И дети играют где-то внутри души...
Аккумулятордохлый. Не завести.
От твоего сердца дай прикурить.

РЕКА

Тишина... Реку распирает льдом –
Как грудь, наполненную молоком.

Как в школе за миг до звонка,
Что можно рвануться из класса!

И такая тишина
Перед первым дочкиным вздохом...

Деревья ждут взмаха флажка
И лопаются от сока.

Лариса Маркиянова

Рассказы

ПСИХОТЕРАПИЯ

– Кобыла тебя забодай! – в сердцах крикнула она. Тьфу, черт! Уж если не везет, так не везет!

Она пнула носком босоножки по разбившемуся горшку, махнула рукой и плюхнулась на стул. Старенький стул, не привыкший к такому обращению, жалобно скрипнул и угрожающе качнулся.

Что за день сегодня? Не заладился с утра. С того самого момента, как она спросонья сунула ногу в тапочек, что, как и положено, стоял у кровати, и прямиком вляпалась пяткой в еще теплую лужицу, не успевшую полностью впитаться в свалывшуюся стельку. Крошечный рыжий нахаленок по имени Пушок невинно моргал на нее зелеными глазенками, миролюбиво помахивая хвостиком, как бы говоря: «Привет, хозяйка. С добрым утречком. Давай рысью на полусогнутых на кухню, «Вискас» хочю. Али чем недовольна?».

Сгребла нахала в кулак, где он весь и поместился, только уши наружу торчат, понесла в туалет и легонько ткнула в тазик с песком.

– Вот место для этих дел. Понял, болван?

«Болван» отряхнулся, глянул на хозяйку: все, мол, воспитательная процедура окончена, – и невозмутимо потрусил на кривеньких тоненьких ножках на кухню впереди нее.

– Это ты быстро запомнил, зараза, – ворчала она, вываливая половину пачки «Вискаса» для котят в красную миску.

...Дождь хлынул как раз в тот момент, когда она выпрыгнула из автобуса. Разумеется, зонт она не взяла. Ведь глупо брать с собой зонт, когда с утра всю светит солнце, и синоптики по радио предупредили о том, что осадков сегодня не ожидается. А они, осадки эти, внезапно неизвестно откуда материализовались на абсолютно чистом до того небосклоне в виде солидной тучи, которая, конечно же, дождалась именно того момента, когда она выйдет из автобуса, чтобы моментально осесть в виде проливного дождя на ее голову. Тщательно уложенные в крупные локоны волосы моментально превратились в мочало, изображающее прическу «Я упала с самосвала, тормозила головой». Тушь само собой потекла. В довершение ко всему новейшие, первый раз надеванные дорогие колготки, «поехали».

– Кобыла вас забодай, – ворчала она в туалете, стягивая колготки с мокрых ног. Подумала, посомневалась и выбросила жалкий комок тряпки в урну. Вот тебе и лайкровое 20-деновое чудо за 70 рэ. Чудо в перьях.

Раз с утра не везет, то не фиг и браться за составление отчета. Отчет – дело серьезное, требующее сосредоточенности и просветленности ума. Нет, сегодня явно не отчетный день. Лучше уж не спеша доделыв-

вать кучу мелких второстепенных дел. И она погрузилась в рутинную работу. Но и второстепенные дела сегодня не желали делаться. Посидев бестолково над ними с час, она плюнула на все и решила, чтобы был хоть какой-то прок от сегодняшнего дня, заняться хотя бы приведением в порядок своего рабочего места.

Вывалив на стол содержимое всех трех ящичков стола, она с удивлением обнаружила среди прочего хлама зеленые варежки, которые потеряла еще в феврале, искренне порадовалась пятидесятирублевке, неизвестно каким образом затесавшейся среди бумаг, недоуменно похлопала глазами на две красочные открытки к 8 Марта, которые, как она твердо помнила, отправила своим близким подругам (совсем почта стала работать из рук вон плохо). Посидев над этой кучей минут пять и горестно вздохнув, она торопливо сунула как попало все обратно.

Решила хотя бы пересадить цветок, что чах в маленьком треснувшем горшке. Новый глиняный пузатый горшок с нарисованными на боку ромашками давно ждал своего часа. Она сходилась на улицу, копнула с клумбы немного земли в пакет, принесла в отдел и, расстелив газету, принялась за пересадку. Когда работа была окончена, и осталось только поставить горшок на место, он выскользнул из ее рук и плюхнулся на пол. Ромашки на пузатом боку разъехались по разным осколкам.

– Кобыла тебя забодай! – она пнула носком босоножки по разбитому горшку.

Вот так она и сидела на съехавшем набок стуле, когда в комнату заглянула из соседнего отдела подруга Калерия.

– Чего грустим-киснем? – бодро поинтересовалась Калерия.

– Все плохо. Абсолютно все. Просто хуже некуда.

– Так не бывает. Даже когда все плохо, что-нибудь да хорошо. Только надо суметь это хорошее разглядеть, – обнадежила Калерия.

– А у меня все плохо! – она стояла насмерть на своем. – Абсолютно все!

Калерия пододвинула другой стул к ней поближе, села на него, отчего тот также моментально съехал набок. Так они и сидели молча на покосившихся стульях. Наконец Калерия произнесла:

– Безвыходных ситуаций не бывает. И даже когда все плохо, должен наступить момент, когда все станет хорошо. Но мы не будем ждать милостей от природы! Страховой полис у тебя с собой?

Покосившись на Калерию и так и не поняв, при чем здесь полис, она кивнула.

– Тогда все в порядке. После работы пойдешь к психотерапевту, – и Калерия как о деле решенном и обсуждению не подлежащем, выдвинула нижний ящик письменного стола, выудила из него больничную карточку и вручила его хозяйке. – Завтра доложишь, что тебе сказал специалист и какое лечение назначил. Надеюсь, что ты еще небезнадежна.

Она задумалась. Никогда в жизни ей самой не пришла бы в голову мысль идти к психотерапевту. Никогда в жизни. А почему бы и нет, собственно говоря? Ведь для того и существуют психотерапевты, чтобы лечить психику людей, когда та дает сбой.

– Ты считаешь, что мне уже пора? Дошла до ручки?

– Дура! Я тебя не к психиатру направляю, а к психотерапевту.

– По-моему, это один хрен.

– Это разные хрены, – резонно возразила Калерия. – Психотерапевт откорректирует твоё психическое состояние, поможет переосмыслить жизненные цели и ценности и посмотреть на свою жизненную ситуацию со стороны, так сказать, свежим взглядом. Даст несколько ценных советов. Как Андрей Курпатов, например. Смотришь по телеку передачи с его участием? Не смотришь, а зря. А психиатр – это когда ты уже одной ногой на пороге желтого дома стоишь. По-моему, так. В общем, карточку и страховой полис в зубы и сразу после работы шагом-бегом марш в заводскую поликлинику. Кабинет 411. Без предварительной записи. Мне знакомая сказала, что неделю назад там появился штатный психотерапевт. Очень опытный врач. Мигом сделает из тебя человека.

– А сейчас я кто?

– Дед Пихто. Ты сейчас никто. Эдакое безликое, бесполое, безмозглое никто со вконец измочаленными нервами и опустившимися руками. Сидишь и талдычишь, как попугай, одно и то же: «Все плохо, все плохо, все плохо...». Короче говоря, завтра доложишь мне, как прошло твоё психолечение. А сейчас давай вместе уберем этот бардак. Ну надо же, какую красоту загубила! Лучше бы ты мне этот горшок подарила, балда.

...Она закрыла комнату, сдала на вахту ключ и медленно побрела в сторону заводской поликлиники, благо та всего в десяти минутах ходьбы от завода. Интересно, что ей сейчас посоветует специалист? Калерия говорила, что он очень опытный. Второй Андрей Курпатов. Она представила, как сейчас начнет выкладывать перед ним всю свою жизнь. Вывалит перед ним все, как сегодня вывалила содержимое ящиков на стол. Как они вместе будут искать причину её апатии, депрессии и неудач. Как он все рассортирует, разложит по полочкам, навешает ярлыки и этикетки. И все станет просто и понятно. Все встанет на свои места. И жизнь её опять озарится светом и смыслом, заиграет новыми красками. Может быть, он даже применит гипноз, чтобы выявить её подсознательные комплексы и страхи. А разве они есть? Вроде бы ничего такого она не чувствует. Но на то они и подсознательные, чтобы их явно не ощущать. Быть может, она узнает о себе нечто такое, что совершенно поразит её. А что такого она может узнать? А вдруг она страдает манией величия, эдаким комплексом Наполеона, и поэтому её не удовлетворяет её слишком приземленная и обыденная жизнь. Или вдруг дает себя знать нереализованная повышенная сексуальность, о которой она и не подозревает. И что тогда со всем этим делать? Стать британской королевой и завести себе кучу любовников? А вдруг все окажется еще глубже? Например, с помощью глубокого гипноза психотерапевт установит, что в одной из своих прошлых жизней она была преступником и загубила чью-нибудь невинную душу, а теперь этот грех мучает её совесть и требует искупления. Тогда она пойдет в церковь, поставит свечку за упокой души невинно ею убиенного, а потом пойдет в монастырь служить монахиней. Она остановилась. В монастырь идти не хотелось. На кого она оставит сын или, например, того рыжего нахаленка с зелеными моргалками. Может, лучше не ходить к психотерапевту и жить в сладостном неведении, чем с гнету-

щим чувством вины. И все-таки, она не будет уподобляться страусу, прячущему в песок свою голову. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И она решительно потянула на себя входную дверь поликлиники.

Перед кабинетом номер 411 никого не было. Видно, пациенты еще не узнали, какой опытный врач здесь появился. Или, скорее всего, называется наша российская привычка лечить тело, но не душу. Мы в этом смысле не похожи на американцев. Насколько она знает, практически каждый американец имеет собственного психотерапевта, которому с периодичностью пригородной электрички исповедуется в своих тайных страхах и нечистых помыслах. Раньше, в старину, наши предки хотя бы в церкви исповедовались, а сейчас мало у кого есть такая привычка. В лучшем случае подруге расскажешь о своих сомнениях и переживаниях. Но подруги не специалисты и рассчитывать на верный совет тут сомнительно.

Она постучала. Ответом было гробовое молчание. Она постучала громче. Тот же эффект. А может, там нет никого? Она толкнула дверь и заглянула в кабинет. За столом, склоняясь, что-то писал седой мужчина в белом халате. Он поднял голову, внимательно посмотрел на нее и жестом руки разрешил войти. Она вошла и, поколебавшись, уселась на стул перед столом врача. Он продолжал писать. Подумав, она не стала ждать наводящих вопросов и стала рассказывать. Её как прорвало. Она говорила о своем детстве, о том, как сильно в раннем детстве ей хотелось иметь большую куклу с закрывающимися глазами и настоящими длинными льняными волосами. Как она засыпала и просыпалась с мечтой об этой кукле. Какое прекрасное имя ей придумала – Лолейла. Как потихоньку от матери отрезала от тюля, висевшего на окне, лоскуток на фату для своей Лолейлы. Но мечте этой не суждено было сбыться. Быть может, отсюда в ней сегодняшняя неудовлетворенность жизнью. Так сказать, несбывшаяся мечта детства аукается. Хотя, вроде все в порядке. Неплохой муж. Непьющий и некурящий. Правда, молчун редкостный, но по ней пусть лучше молчун, чем болтун. Он сейчас в рейсе, он дальнотбойщик и поэтому в отъезде бывает чаще, чем дома. Но, может, это и к лучшему. По крайней мере, они не успевают надоесть друг другу. У них есть сынок Дима. Хороший мальчик. Беспроблемный мальчик. Неплохо учится. Сейчас он у бабушки в деревне отдыхает на каникулах. Каждый выходной она обязательно навещает его. На работе вроде тоже все в порядке. В общем, все нормально. Но чего-то не хватает. Как вы думаете, чего мне не хватает, а? А может, ко мне гипноз применить? Вдруг под гипнозом выявится что-нибудь такое. Как вы думаете, доктор? Может, мне какое-нибудь успокоительное попринимать? Но только легкое и натуральное, вроде валерьянки. Я транквилизаторы опасюсь принимать. А вдруг потом появится зависимость от них.

Во время ее тирады врач продолжал что-то писать: быть может, он записывал ее разглагольствования в свою тетрадь. Наконец, она замолчала. Он тоже прекратил писать. Захлопнул тетрадь. Открыл ящик стола, вынул из него слуховой аппарат, надел, достал из футляра очки с толстыми стеклами, нацепил их на нос и сказал, подслеповато посмотрев на пациентку:

- Так с чем вы ко мне пожаловали?
- ...Я?
- Да, вы. Имя, фамилия, отчество.
- Торопова Надежда Юрьевна.
- Возраст.
- 34 года.
- Замужем?
- Да.
- Дети?
- Сын 12 лет.
- Отношения в семье?
- Нормальные.
- На работе?
- Тоже.
- Как спите?
- Крепко.
- Вытяните руки перед собой, растопырьте пальцы. Теперь закройте глаза и коснитесь указательным пальцем правой руки кончика носа. Теперь левым указательным пальцем. Так. Что-нибудь тревожит?
- Не знаю. Вроде нет.
- Хорошо. Для профилактики попейте валерьянку или настойку пустырника перед сном.
- ...Это все?
- Все.
- До свидания.
- Всего хорошего.

Она вышла на улицу, вдохнула свежий воздух. Не спеша побрела в сторону автобусной остановки. В душе воцарились вселенский покой, мир и благодать.

Все-таки психотерапия – сильная штука.

ОСЕНЬ

Когда Валентина услышала от своей близкой подруги о том, что ходят упорные слухи, якобы у ее мужа, Виктора, есть любовница, это было для нее громом среди ясного дня. Чего-чего, но такого она от Виктора никак не ожидала. В ее понимании любовник должен быть скользким как угорь ветреным типом, выглядеть как лохотенный хлюст с намаженными прилизанными волосами, узенькими усиками, с наглым масляным взглядом, в дорогом костюме с искоркой, с хризантемой в петлице и тростью. Ее же Виктор был обыкновенным – спокойным, рассудительным, хозяйственным мужиком, с золотыми руками и таким же характером. Глава семьи, настоящий отец их шестнадцатилетней дочери, муж с восемнадцатилетним семейным стажем. И вдруг такой финт.

И все-таки сначала Валентина не придавала этому факту должного внимания. Конечно, царапнуло по сердцу, но тут же засомневалась, а по-

думав, успокоила сама себя: не может быть, ерунда, сплетни. Но когда она спросила его в лоб, было ли у него что-нибудь с некоей фифочкой по имени Маргарита, ни капли не сомневаясь в его ответе, что, мол, не было ничего, ни сном, ни духом, вранье все, брешут нехорошие люди, наговаривают, и вдруг услышала совершенно ошеломительное: да, все было, люблю другую, а раз ты все знаешь, то нечего и таиться, ухожу к ней. В тот момент Валя, пожалуй, впервые в жизни испытала шок. Она не закричала, не заплакала, не забилась в истерике, вроде бы даже ничто в ней не шелохнулось, только сердце как будто кто-то сильно сжал ледяной ладонью и долго не отпускал, так что ей показалось, что еще мгновение, и она умрет. И светлый день в окне вдруг померещился ночью. И потолок над нею вдруг уехал вбок, а батарея подпрыгнула и больно ударила ребристым чугунным боком по голове.

...Она лежала щекой на холодном пыльном линолеуме и думала о том, что вот с нею случился обморок, но какой-то неправильный обморок, без потери сознания. Сознание, наоборот, как-то странно обострилось и десятки дум одновременно думались. О том, что как теперь растить одной без мужа дочь. О том, что, оказывается, вся ее прошлая жизнь была неправильной, раз пришла к такому печальному финалу. О том, что уборку надо делать, вот под кроватью пыль лежит. О том, что Виктор ее и не любил никогда, и почему она была так уверена в обратном? И даже о том, что хорошо еще, что она успела сделать годовой отчет, а то как бы она его теперь делала в таком состоянии?

А Виктор ничего этого не видел. Он в это время в соседней комнате укладывал в большую дорожную сумку свои вещи, чтобы покинуть этот дом навсегда. Уйти в другой, где его ждет любимая женщина с красивыми серыми глазами и красивым именем Маргарита.

Валентина наконец с трудом встала, прикрыла челкой ссадину на лбу от батареи, оправила халат и пошла к Виктору.

– Где мой серый джемпер? – спросил Виктор.

– На балконе.

– Что он там делает? – удивился муж (пока еще муж).

– Сохнет. Я его выстирала.

– Нашла время, – буркнул он.

– Извини, я как-то не подумала, что ты можешь бросить нас с Алькой и уйти к любовнице. Отложи свой уход до завтра. К завтрашнему утру он высохнет.

– Сложи мне его в пакет мокрым.

– Сложу. Но только завтра. Тебе все же придется задержаться. Ты забыл, что завтра мы решили закупить картошку? Или это я должна ворочать мешки, грузить их в машину и потом ссыпать в погреб? Обеспечь нас с Алькой картошкой на зиму и иди на все четыре стороны.

Так Виктор остался еще на один день. Спал он в комнате дочери на Алькиной кровати.

На следующий день, как и было ранее сговорено с братом Виктора Аркадием, они втроем поехали за картошкой, удачно купили на рынке оптом десять мешков картошки, отвезли на грузовом такси в хозблок

в их дворе и ссыпали в подвал. Два мешка картошки занесли домой и пересыпали в деревянный, утепленный пенопластовыми листами, ящик на балконе. Валентина по-быстрому отварила новой картошки, открыла прошлогоднюю банку маринованных огурцов, выставила мужикам на чатую бутылку водки, собралась и ушла в магазин. Ей ничего не нужно было в магазине, просто не хотела быть дома сейчас. Наверное, подвыпивший Виктор сейчас рассказывает Аркадию, как ему надоела эта однообразная жизнь со старой женой. Как ему хочется все начать заново с молодой и красивой женщиной. Что ж, быть может, она сама виновата отчасти, что не сумела удержать мужа. Плохо ухаживала за собой, плохо ухаживала за мужем. Вот и результат. Было почему-то больше жалче Виктора, чем себя. Ей проще, она остается дома, в привычной обстановке, с дочерью. А Виктору в сорок шесть лет надо начинать все заново, принаравливаясь к вкусу и привычкам малознакомого, в сущности, человека. А ведь не мальчик уже, и здоровьишко уже не как у двадцатилетнего. А этой молодухе плевать, она его жалеть вряд ли будет, загонит еще насмерть мужика. Это Валентина его жалела, попусту не гоняла, давала в выходной отдохнуть после трудовой недели, сама все старалась сделать. Вот и достаралась. Альку жалко. Она еще не в курсе. Сейчас у нее практика в другом городе. Звонит домой каждый день, но Валентина, разумеется, ничего ей пока не скажет. Чего раньше времени девчонку расстраивать? Приедет, сама все узнает.

Валентина купила пачку соли, четвертинку черного хлеба (ей одной много не надо) и пошла домой. Она была уверена, что никого не застанет: Аркадий торопился домой, им с женой надо еще в деревню к теще смотаться, а Виктор, конечно же, воспользовался ее отсутствием, чтобы сходить к Маргарите, прихватив свой любимый серый джемпер с балкона.

Но Виктор был дома. Он домывал посуду, потому что терпеть не мог беспорядка и никогда не оставлял за собой грязную посуду.

– Картошка куплена. Джемпер высох. Я могу идти?

– Можешь. Тебя никто не держит. Но раз ты спрашиваешь – может быть, ты поможешь привезти с дачи банки с соленьями и вареньями? Тебе на машине сделать пару рейсов – раз плюнуть. А нам с Алькой потом две недели мотаться на автобусе да банки эти тяжеленные волочь.

Они едут в своих «жигулях» на дачу. Дача досталась Валентине от покойных родителей. Совсем недалеко от города, и автобус ходит регулярно. В свое время Валентина совсем не радовалась этому «дачному» счастью. Считала только обузой. Всем говорила, что ни в коем случае не будет, как дура, торчать по выходным на участке кверху попой, копаясь в земле как навозный жук. Но как-то быстро втянулась в огородно-дачные дела, тем более что рука у нее оказалась легкой (видно, в маму пошла), и все, что она сеяла и втыкала в землю по весне, росло буйно и радостно, давая щедрый урожай. Прямо на даче на газовой плите варила она варенья, тут же солила огурцы и помидоры и умудрялась даже закатывать салаты и всевозможные приправы. В этом году уродилось видимо-невидимо яблок. С несчастных четырех яблонь народилось столько яблок, что и повидло, и варенье наделали, и соков нагнали сорок литров, и вино яблоч-

ное сделали, и на зиму уложили в четыре ящика. Раньше проблем с доставкой не было: по мере необходимости Виктор садился за баранку и привозил все, что наказывала Валентина. Но теперь привозить будет некому и не на чем, поэтому, пока есть возможность, надо перевезти все домой и в погреб.

Машина катит по дороге. Погода исключительная – ясно, солнечно и тепло. Но это уже последнее тепло. Октябрь. Синоптики предупреждают, что со следующей недели ожидается резкое похолодание и проливные дожди. «Вот и лето прошло, словно и не бывало». Вот и жизнь проходит. Вот и счастье ушло... Валентина вздохнула и посмотрела за окно, на строй берез, что росли вдоль дороги. Тонкие, стройные, все как на подбор, маленькие желто-ржаво-яркие листочки как новенькие юбилейные рубли. Красиво. Но грустно. Завтра воскресенье. Завтра она ничего не будет делать – ни готовить, ни убираться, вообще ничего. А зачем? Мужа нет, дочери нет. Для себя, любимой? Ей и так сойдет. Дел, конечно, куча, да плевать. А то за всеми этими делами просмотрела главное – человека. Хотя, собственно, что она должна была делать, чтобы не просмотреть? Лежать рядом на диване, смотреть бесконечные футболы и спортивные соревнования, поглаживая его по головке да кормя с ложечки? Что случилось – то случилось. Главное сейчас для нее – выйти с наименьшими потерями из этой ситуации. А теряет она только одно – мужа. На квартиру он, похоже, не замахивается. Да и как ее делить: двухкомнатную хрущёвку? К тому же эта квартира досталась Валентине от ее бабушки. Подруга Валентины Женька, которая проинформировала ее насчет Маргариты, сообщила, что у Маргариты однокомнатная квартира, в которой она проживает вдвоем с котом. Теперь будут жить втроем – Маргарита, кот и Виктор. Странно все это. Ее муж Виктор и вдруг какая-то Маргарита. Странно.

До дачи доехали быстро. Валентине за ее думами показалось даже, что мгновенно. Пока Валентина возилась с банками, укладывая их в коробки, перекалывая старыми газетами, чтобы не побились, пока наполняла пакеты морковью и свеклой, Виктор, чтобы не простаивать, взял лопату и пошел перекапывать участок. Валя права, надо по возможности помочь напоследок переделать дела, а то потом им с Алей достанется. Он копал ловко, хоть и не спеша. Виктор по гороскопу был Тельцом, рожденным в год Собаки, и поэтому был нетороплив, но основателен во всем. Терпеть не мог недоделанных дел. Они занозой сидели в голове и не давали покоя. Когда год назад Валя отправила его в санаторий отдохнуть и подправить свое давление, которое стало то подпрыгивать, то падать, и подлечить гастрит, то, встретив там Риту, он сразу почувствовал в ней родственную душу. Рита тоже была Тельцом и по гороскопу, и по духу. С ней было спокойно, неторопливо. Не то что с Валею. У той все время аврал, все время тысяча неотложных дел, которые надо непременно переделать именно сегодня, именно сейчас, как будто последний день существует белый свет. Он привык к этому, и, если бы не встреча с Ритой, так все и шло бы дальше. Он по-своему любил Валею, очень любил дочку Алю, но любил теперь и Риту. Всех по-разному, но всех одинаково сильно. Жаль, что мораль современного общества не позволяет официально

жить на две семьи. Он бы сумел, не напрягаясь, жить и с Вале́й, и с Ритой. И все бы были счастливы. Хотя нет. Он бы сумел, Рита бы сумела, а Валя нет. Она максималистка, ей или все, или ничего. Со своим отношением к жизни ей и так нелегко приходится, а тут он еще нож в спину вставил. Виктору было тяжело от сознания, что он фактически предает жену и дочь, оставляя их один на один с проблемами. Он-то начнет жизнь заново, а им каково? Тем более что у Али сейчас переходный возраст, учеба в колледже на первом курсе далась нелегко, а он тут ей такую подножку ставит. Но, что делать, если все так сложилось, если карты так легли? Он копал и копал. Уже Валентина все сложила и погрузила в багажник и на заднее сиденье машины. Уже начинает смеркаться, а он все копает. Валентина вздохнула, взяла другую лопату и встала рядом. Глядя на них, никто бы не подумал, что эти люди собрались расстаться, так слаженно и красиво они работали, так гармонично смотрелись со стороны.

Дома они все разгрузили, расставили в кладовке. Виктор часть банок унес в погреб. Валентина приготовила ужин, молча поели. Когда она убирала со стола, а Виктор мыл посуду, вдруг с горечью сказала:

– Как я Альке скажу про тебя? Как обухом по голове девчонку. Ей сейчас поддержка нужна, а тебя бес в ребро ударил. Да и дел сейчас не впроворот. В ванной комнате ремонт надо делать, дверь на балконе утеплить, а то опять Алька мерзнуть всю зиму будет. Хотя бы сахар и муку по мешку с базы нам привез, чтобы на зиму хватило. А потом – черт с тобой, вали на все четыре стороны, к молодой под бочок.

В воскресенье было еще темно и, следовательно, совсем рано, когда Валентину разбудили непонятные звуки из ванной. В ночной сорочке босиком она прошла к ванной, тихо приоткрыла дверь, заглянула. Виктор в старом трико и штопаной рубашке мастерком скоблил стены, снимая с них остатки старого клея. Еще весной кафельные плитки в ванной комнате стали отставать и отваливаться. Пришлось их полностью снять. Ванная комната с тех пор смотрелась жалко и неряшливо. Уже и новые плитки были закуплены, и два мешка клея стояли в кладовке, ожидая своего часа, но все руки никак не доходили до ремонта.

– Ты что делаешь? – сипло произнесла Валентина еще не проснувшимся голосом.

– Ремонт, – лаконично ответил муж, – не вам же с Алей потом плитки клеить. Свари мне кофе.

Валентина сварила кофе, как любил Виктор, – чтобы крепкий, с молоком, много сахара, а сверху пышной шапкой пенка. Сделала бутерброды с маслом и сыром, позвала Виктора. Валентина посмотрела, как он с аппетитом ест, и вышла из кухни. Что ж, пусть поест напоследок в родном доме, пусть сделает ремонт в ванной. А потом пусть идет к Маргарите. Валентина не будет мешать ему начать новую жизнь. Пусть будет счастлив в той новой жизни, если сумеет. А они с Алькой постараются остаться счастливыми в этой жизни. Если сумеют. В чем Валентина была совсем не уверена. А если честно, то была уверена совершенно в обратном: счастье и покой лично ей уже не светит. Будет доживать дни. Только сейчас она остро поняла, как ей будет не хватать Виктора, как хорошо и светло было все раньше, как плохо и темно будет дальше. И почему она

этого не понимала? Вот уж воистину: имея, не бережем, потерявши, плачем. И Валентина пошла обратно к своей постели плакать, зарывшись в подушку, чтобы не слышал Виктор. Она наревелась вволю, потом тщательно умылась на кухне, выпила кофе. Надела старый халат, повязала волосы платком и пошла помогать Виктору. И опять работалось им слаженно.

К вечеру две стены были выложены. Ванна начинала приобретать благородные черты. Плитки были выбраны очень удачно: до половины стены темно-бежевые с разводами, потом бордюры с лилиями, а потом светло-бежевые.

– Если очень торопишься уйти, то иди, я сама доделаю, – неожиданно для себя произнесла Валентина. И не хотела, а вдруг сказала. И сама испугалась: дернул черт за язык, а вдруг действительно уйдет? Виктор промолчал, умылся, поужинал и пошел спать в Алькину комнату. В течение последующих пяти рабочих дней после работы они доделывали ванну. Работали практически молча. К выходным ванна была как новенькая: светлая, аккуратненькая, вся в бежевых тонах, вся праздничная, как курсант на параде.

В субботу с утра Валентина сходила в хозяйственный магазин, купила для ванной новую штору – бежевую с лилиями, новый светло-коричневый коврик и даже пару новых полотенец. Виктор тоже не сидел без дела. С утра на машине он сгонял на базу, привез два мешка сахара и мешок муки, потом снял с петель балконную дверь и стал утеплять ее.

Валентина поставила тесто, испекла пиццу. Давно она не делала пиццу, большой любитель до которой был Виктор. Молча возилась на кухне, руки сами знали дело, и поэтому голова полностью была занята думами. А думала о том, что зря она Виктора держит. Решил идти, так пусть катит к своей Маргарите. Всех дел все равно не переделаешь. А так резину тянуть – растягивать расставание, то есть растягивать боль. Лучше уж разом, отсечь одним ударом, поплакать и забыть. Забыть не получится – двадцать лучших лет жизни не вырвешь из жизни, как страницы из книги, – так хоть рана скорее затянется. Через десять дней приезжает Алька, до этого времени лучше, чтобы все разрешилось. Или она надеется таким способом оставить Виктора в семье? Подсознательно – конечно, надеется. Но умом прекрасно понимает тщетность этих потуг. Пусть идет с богом. Скатертью дорога. Усмехнулась, вспомнив рассказ Михаила Зощенко «Как жена не дала мужу умереть». Там жена, узнав от мужа, что он тяжело болен и собрался умирать, завопила, что сначала пусть ее обеспечит материально, а потом умирает. Мужик, еле волоча ноги, каждый день ходил деньги добывать, и, в конце концов, за заботой да работой окончательно выздоровел и остался на этом свете. Так и она, Валентина, видно, собралась мужа оставить рядом.

В соседней комнате слышен стук молотка: Виктор работает, обеспечивает тепло дочери. А мысли небось рядом с разлюбленной Маргариточкой. И откуда она только взялась на их голову? Ведь надо же быть такой дурёхой, чтобы лично, своими ручками, отправить мужа в санаторий. Женька ведь ее предупреждала, разные подобные случаи рассказывала, как мужья после санаториев да домов отдыха приезжали домой только

для того, чтобы вещички собрать. Но Валентина отмахивалась, не слушала, была твердо уверена, что с кем, с кем, но только не с Виктором... Не зря говорится: ни от чего нельзя зарекаться.

Валентина сунула в духовку картошку в горшочках, взялась за пиццу. Пусть мужик поест по-человечески. Еще не известно, какая эта Маргарита кухарка да хозяйка. Наверняка будет ходить голодный, да не обиженный. И надо ему с его зарплаты купить зимние ботинки, а то эти уже совсем развалились. Молодой жене будет не до ботинок мужа, наверняка все его деньги будет транжирить себе на бирюльки.

Зазвонил телефон. Звонила Женька.

– Твой еще не ушел?

– Нет пока. Балкон утепляет Альке.

– Хоть это догадался. Слушай, мне тут адресок дали: бабка колдует на возврат мужей, закрывает дорогу к любовнице. Нашепчет на соль, подсыплешь ее ему в еду и обратно приворожишь к себе Виктора. И недорого берет. Пойдем прямо сейчас?

– Не пойду я, Жень. Что будет, то будет. А то останется со мной, а думать будет о ней. И будет его душа рваться на части. Пусть идет, если решил.

– Смотри, как знаешь. Тебе жить. Только, Валя, обижайся – не обижайся, но я так тебе скажу: кроме белого цвета и черного цвета в мире существует еще огромная гамма цветов, тонов и оттенков. Слишком уж ты прямолинейная да бескомпромиссная. В твои то годы давно пора поумнеть.

– Значит, не поумнела.

– Да уж. В сорок лет ума нет – и не будет. Ну, как хочешь, подруга. Когда твой совсем уйдет – позови. Я примчусь тебя утешать, а ты мне будешь плакаться в жилетку. В себе держать беду нельзя, а то душа не выдержит и сердце лопнет.

– Лады. Позову.

Виктор все стучит. Уже и пицца испеклась, и жаркое готово. Валентина сделала салат из последних помидоров, что собрали на даче, накрыла стол. Позвала Виктора обедать. Сама за стол не села, потом поест. Пора отвыкать от совместных обедов-ужинов. Пора привыкать к одиночеству. Набросила плащ, якобы пошла в магазин.

Шла по ковру из опавших листьев, печалилась. Погода ей сочувствовала – плакала мелким, как пыль, дождем. Осень года совпала с ее осенью жизни, непогода – с ее душевной непогодой. Впереди зима, а значит, бесконечные студеные ночи, тоска, промозглый холод. И до весны – как до Америки. А весны в душе уже и не дожидаться никогда. В общем, полная безнадега. Эх, жизнь наша – жестянка. А ведь еще совсем-совсем недавно, буквально несколько дней тому назад, ее жизнь кипела, планов было громадье, и казалось, что впереди ее ждет много чего замечательного и прекрасного. Ладно, чего уж там. Наверное, это временная депрессия. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Солнышко еще выглянет. У нее осталось самое главное в жизни – Алька. Будут потом внуки, будет свет и в ее окошке. И все-таки ныло и ныло в груди, как зубная боль. Жить можно, но тошно.

Зашла в гастроном, купила себе шоколадку. Говорят, что шоколад повышает настроение. Вряд ли ей поможет, но попробовать стоит. Выйдя на улицу, развернула обертку, отломил кусочек, сунула в рот. Жевала машинально, не чувствуя вкуса: чисто глина. Остановила проходившего мимо мальчишку лет семи: «Хочешь шоколадку?» – и, получив утвердительный кивок, сунула в его ладошку плитку.

Едва вошла в квартиру, сразу почувствовала: Виктора нет. На полочке в прихожей лежали его ключи. Вот и все – ушел. Переделал все дела, дождался ее отсутствия, собрался и ушел. «У-у-у-у!» – завывала, как больная старая волчица, и тут же замолчала – стало стыдно. «Вот и лето прошло, словно и не бывало. Мне немало дано, только этого мало! Только-только-только-то-олько этого мало!» – запела-закричала отчаянно бравурно. Скинула плащ прямо на пол в прихожей, в сапогах прошла в зал по ковру, плюхнулась с ногами на диван. Пододвинула журнальный столик, сняла трубку с телефона.

– Женек, привет! Добрый день, говоришь? Кому добрый день, а кому и ночь беспросветная. Ушел мой! Совсем! Приходи слезы мои ясные вытирать, грусть-тоску мою развеивать. Купи вина по пути, гудеть будем! Фиг ли нам, красивым да одиноким! Жду!

Лежала на диване, смотрела в потолок пустыми распахнутыми глазами. Было ясно – жизнь ее закончилась. Теперь будет жизнь после жизни.

Женька примчалась мгновенно, Валентине показалось, что прошло не больше пяти минут. Подруга выставила на стол красивую бутылку какого-то вина, перевязанную коробку с тортом и полпалки колбасы.

– Валя! – взмахнула она руками. – Ты почему ходишь по квартире в грязных сапогах? Это ты-то, чистюля и аккуратистка! Не успел еще диван остыть после ухода Виктора, а ты уже покатишься в пропасть. Если так пойдет, то ты через месяц будешь бомжихой, старухой и алкоголичкой!

– Не буду, – успокоила ее Валентина. – Это минутная слабость. Я сейчас соберусь, и все будет как надо. Мне раскисать нельзя.

– Вот именно! У тебя же Алька еще на ноги не встала. Да и ты у нас женщина не старая, в полном соку. Как говорится, жить, да радоваться. Ставь быстро чайник, режь колбасу да рюмки доставай. Будем поправлять твоё настроение.

Через час, когда бутылка опустела, коробка тоже наполовину опорожнилась, две подруги сидели на диване рядышком, полуобнявшись, голова к голове, и вполголоса пели: «Сняла решительно, платок наброшенный...». Слаженный дуэт резко оборвал звонок в дверь.

– Кого еще черт принес? – недовольно пробурчала Женька. Валентина пошла открывать.

На пороге стоял Виктор.

Валентина растерянно посмотрела на него:

– Ты что-то забыл? ...Джемпер? – догадалась она.

– Ключи я забыл от квартиры, поэтому и звоню, – сообщил Виктор. – Да вы, я тут вижу, гуляете на пару, – заглянул он в зал.

- Гуляем! – подтвердила Женька. – А что? Имеем право!
- Имеете, – согласился Виктор, – Что за праздник, если не секрет?
- Именины у меня! – выпалила Женька. – Сегодня день святой

Женьки.

- Надо же, и такая святая есть, – удивился Виктор.

– А в жизни чего только не бывает! – сообщила захмелевшая Женька. – Например, мужья после двадцати лет совместной жизни от жен к молоденьким переменяются. И при этом раскрепасно себя чувствуют. И глаз бесстыжих от людей не прячут, как будто так и надо!

– Жень, притормози, – попросила Валентина и легонько подтолкнула Виктора в сторону кухни. Прикрыв за собой дверь, она спросила:

- Так за чем же ты все-таки вернулся?

– Ты знаешь, Валь, я чего подумал... Дел-то еще недоделанных куча осталась. Ремонт на кухне – раз. Обшить балкон вагонкой – два. И потом, крышу у дачи давно надо перекрывать, а то не сегодня-завтра начнет течь. Да дело и не в делах. Просто... В общем, Валя, никуда я не уйду.

- А... Маргарита как же?

– Мы с ней сейчас поговорили об этом. Она привыкла жить одна. А я привык жить с тобой и Алей. Да и вообще... Не знаю, как сказать... Просто я, как собака, чувствую, что мое место здесь, рядом с вами. Если ты не возражаешь, я бы остался. Совсем. Ты ведь не возражаешь?..

Виктор Коврижных**Просто выпало – дом и дорога...**

* * *

Ничего от удачи и Бога,
И от прочих таинственных сфер.
Просто выпало – дом и дорога,
Уводящая на карьер.

Здесь земля, что дала мне силы –
Рёв БелАЗов, отвалы, дым,
Если чем и была красивой,
То людьми и углём своим!

Но мечталось, и в люди вышел,
Овладел непростым ремеслом.
Ну а что соловьёв не слышал –
И сейчас не жалею о том.

Коль хватило любви мне и света,
Чтобы песнею стать и судьбой:
Экскаватору, пыльному ветру
И отвалу с полынной травой!..

Ничего от удачи и Бога,
И на случай не стоит валить.
Просто выпало – дом и дорога,
Просто выпало строить и жить.

БЕРЕЁЗЫ НА ОТВАЛЕ

Окраина тихого света над голым
Отвалом и рёвом машин и огней...
В душе защежит и пойму я, что голос
Природа дала мне, чтоб молвить о ней.

Пробились! Сквозь камни, пожары и пепел
Взошли! И родительский свет зазнобил.
И этот их детский, их лиственный лепет,
Я сам не пойму, отчего полюбил?..

Как будто они не могли не родиться,
И живы они словно лишь потому,
Чтоб нам, неразумным, не заблудиться,
Душой не ослепнуть в камнях и дыму...

* * *

Моему крану «КДЭ-163»

Милый друг, однако, постарел ты.
Стать не та, подшипники гремят.
Ты скрипишь так жалобно на стрелках –
Я тебя заездил, виноват...

По ночам с печалью суеверной
Твои окна в сны мои глядят.
И троса – натянутые нервы –
На ветру, наверное, болят.

Ты прости, что был к тебе вначале
Не совсем внимателен. Был строг.
Но зато мы столько поднимали,
Столько мы проложили дорог...

Был наш путь и праведным, и верным.
И клубит воспоминаний дым
Над стрелой с табличкою фанерной
Со служебным именем твоим.

Вывел в люди ты меня когда-то,
Я теперь в дома большие вхож.
Но скажу, что конь мой, конь крылатый
На тебя по-прежнему похож...

* * *

Безотчётно стремление озвучивать мрак
Родниками хрустального звона.
Но куда ни взгляну – всюду уголь и шлак
И дымящиеся терриконы.

Я умру и на вечный холодный ночлег
Лягут сумерки пепла и сажки.
От рассвета к закату – расхристанный снег,
Как ирония Чёрного Саши.

То ли камни в душе, то ли крик журавлей,
На все стороны вырваны двери!..
Я как будто бы сбился с дороги своей,
Ну а в Бога я с детства не верил.

Мой глагол озаренья, предчувствуя ложь,
Как трава пред породой сникнет.
И в коммерческом «храме» Спаситель похож
На заморский раскрашенный «Сникерс».

Вновь мечту безотчётно выносит строка
О снегах ослепительно белых!..
Так водою отравленной лечит река
Тракторами израненный берег...

ПИЛА

Сияют зубья от развода!
Как будто стройные стоят –
лицом к лицу – солдаты взвода,
слегка откинувшись назад!

Полно азартного томленья
в упругом теле полотна.
Дрожит, как девка в нетерпенье,
и в руки просится она.

И обессиленной приляжет
в сенях на полку и вдогон
слегка протяжный и вальяжный
с пилы соскальзывает звон.

* * *

Все перестроили в русском краю.
Только не трожьте деревню мою.

Тихие улочки Старобачат.
Ветры степные полынью горчат.

В купках черемухи и тальника
белую лебедь купает река.

Щука с Емелей и Черт с Водяным
мирно живут за окошком моим!

Звоны и ягоды в травах густых
помнят заглавия сказок моих.

Яви и вымысла зыбкая грань.
Здравствуй, лесная моя глухомань!

Тешьтесь вы, Господи, в вашем раю,
только не трожьте деревню мою!

Белая лебедь томится во мгле.
Трудно не петь мне на этой земле...

«А В Е М А Р И Я»

В этом доме когда-то я в детстве бывал,
там картина над спинкой дивана,
в темных плюшевых шторах изысканный зал,
в зале – книги и фортепиано.

Там сирень ароматом дышала в окно.
Был тот мир мне совсем незнакомым.
Мне казалось: там люди пришли из кино
вместе с садом, сиренью и домом.

Там вечерней порой пили чай при свечах
под нерусские песни с пластинки,
говорили о Шуберте и флюгерах,
о строительстве и Метерлинке.

Там красивая женщина – как ее звать,
я не помню... Лишь помню, как мило
улыбаясь, давала мне книги читать
и со мною на «вы» говорила.

И на фортепиано играла она!
Танцевали на клавишах руки.
Рассыпалась на тысячи звезд тишина,
звездам плакались нежные звуки.

Мне казалось, я сплю и летаю во сне,
сердце сладкой сводило истомой.
«Это «Аве Мария», – ответили мне
благородные жители дома...

В этот дом я когда-то, как в храм, приходил,
оставлял за дверями ботинки.
И я женщину эту наивно любил
вместе с Шубертом и Метерлинком.

Как мечтал я тогда тайны звуков познать,
овладеть музыкальной стихией.
Чтоб Великим маэстро, вернувшись, сыграть
этой женщине «Аве Марию»...

Они вскоре уехали строить мосты
на Восток. В дом вселились другие.
И я долго пытался найти в них черты
от божественной «Аве Марии»...

* * *

По токовинской дороге,
В сумрачном царстве болот,
В старой медвежьей берлоге
Филин столетний живет.

За гробовое молчанье
Прячется черная весть.
Страшно бывать здесь ночами –
Лешие водятся здесь.

Что за судьбу напророчит
Голос сокрытый, глухой?
Филин глумится, хохочет
Над человеческой тщетой...

Сказывал местный народец:
Мол, в этих дебрях беды
Спрятан заветный колодец,
Полный бессмертной воды.

Были герои, искали.
Да ничего не нашли.
Канули в топях, пропали,
Мохом следы заросли.

Где тот источник заветный,
Ключ от счастливых палат?
Леший да филин столетний
Вечную тайну хранят...

Слышишь, как воеет ненастье
Там, в токовинской ночи?
Это народного счастья
Ищут златые ключи.

Геннадий Скарлыгин

Как мало для радости надо...

* * *

Синие, синие ночи.
Белые, белые дни.
Что моя милая хочет?
Вот и остались одни.

Что моя милая знает?
Ласки твои не сберёг.
У деревенских окраин
Стынет забытый стог.

Всё ему одиноко
Там, где примята трава.
Речка была так глубока.
Так высока синева.

УТРО. ДЕТСТВО

Вместе с рассветом встаём,
Кажется, птицы летают.
Бабушка, что за окном?
Всюду земляца святая.

Бабушка, что же метель
Так заметает землю?
Чтоб белоснежна постель
Светом могла возродиться.

Бабушка, что так скрипят
Нынче опять половицы?
Это для малых ребят
Музыка – ведь им не спится.

Это для малых ребят
Скрылками петь половицам,
Чтоб им приснились опять
Светлые, светлые лица.

* * *

Как мало для радости надо.
Мелькнёт огонёк за окном.
Уж вечер: ложится прохлада,
Темнеет лесок за оградой,
И тянет с реки холодком.

А вот уже стадо у брода:
Пастух тихо щёлкнул кнутом.
Проедет с дровами подвода...
Старушки (опять взяли моду) –
Сидят-говорят обо всём.

* * *

Седая женщина, седая,
С глазами синими, что ночь.
Идёт, как осень золотая,
Ей всё по силам перевозмочь.

Она сносила терпеливо
Беду и мужнину любовь.
Ей всё легко, ей всё красиво.
Ей всё как будто вновь и вновь.

Она идёт, она летает,
Всегда послушная судьбе.
И первый снег в ресницах тает,
И первый холод по щеке.

И первым клином журавлиным
Её уносит вдаль и вдаль.
В мечтах, как в кружевах старинных,
Так далеко она... А жаль.

* * *

Сколько мудрости в песни народной.
Бесконечны напевы, легки.
То нахлынет струёю холодной,
Как дыханье могучей реки.

То, послушайте, у прибрежных,
Она шепчется в тальниках.
То зальётся мелодией нежной,
То затихнет. То снова, легка,

Полетит по бескрайнему морю,
По зелёным полям и лугам.
Сколько в ней освежающей боли.
Сколько грусти. И вижу – что там,

На далёких и прежних заставах,
Где тревожные ветры метут,
Мои предки встают не для славы,
Не для радости песни поют.

* * *

Мне для славы ничего не надо.
На весеннем бархатном ветру.
Приголубит лёгкая прохлада.
Вот и славно. Это как награда.
Чтоб теплело сердце на миру.

Чтобы вновь берёзового сока
Мне набрать бы в утреннем лесу.
Где проснулись травы. Из высока
Всё стрекочет радостно сорока,
Будто держит небо навесу.

Плавно над суровою долиной
Проплывает уток гоготок.
Этот день и радостный, и длинный
Мне напомнит гобелен старинный,
Там, где терем весел и высок.

* * *

В лесу упаду на колени
В сырую траву и листву.
А птиц пролетающих тени
В свинцовое небо зовут.

А запахи прели осенней
Сильнее, чем ближе отлёт.
И нет уже птичьих веселий,
А есть лишь холодный расчёт.

А есть лишь зовущие дали,
И в стаи сбивает тоска.
Хоть многое мы повидали,
Но ждут нас чужие места.

* * *

Одного достаточно прикосновенья.
Больше и не нужно, больше нет.
Этот бархат – ветра дуновенье...
Этот свет, огромный белый свет.

Никаких наречий, лишь касанье
Рук и губ, и снова – рук и губ.
Это долгожданное свидание,
Рук и губ, опять же – рук и губ.

* * *

Не нужен мне такой покой. А нужен
Небесный звук над головой. Послушай,
Вот он сквозь темень и пургу слетает.
А я проснулся и гляжу... Светает.

Светает в комнате, в окне, на ветке.
Слезами красными в снегу ранетки.
И всё как будто хорошо... Витая
Рябина чиркнет по стеклу. Светает.

Владимир Жолнеровский

Рассказы

ЩУЧИЙ ЗАВТРАК

Половинка лета позади. Наступило время густых туманов и обильных рос. Раннее утро. Солнце только проснулось, но уже вовсю работает, рисуя красочный мир. Река от берега до берега, как подойник после утренней дойки, до краёв наполнена белым туманом.

Выхожу из калитки. В одной руке у меня удилище, в другой – трехлитровый бидончик для рыбы. Пригорок, полого спускающийся к речке, в обильной росе, мои босые ноги, сбивая её, оставляют за мной тёмный след на траве.

В устье речки стоит запань, удерживая пришедший с верховий лес. Брёвна лежат на воде так густо, что мы, пацаны, ловко перебегаем по ним на другую сторону. Перебежал, отыскиваю место, где брёвна образовали прогал свободной воды. По опыту знаю, что на акватории резвится чебачья «шпана», а из-под брёвен за ней наблюдают жадные глаза щук и окуней.

Разматываю удочку, насаживаю червя, забрасываю, и тут же поклевка. Подсекаю и выдёргиваю неплохого чебака. Зачерпываю бидончиком воды и бросаю туда добычу. Поправив червя, забрасываю снова, и снова добыча в моей руке. Рыба словно ожидала моего прихода – жадно набрасывается на наживку. В моем бидончике вовсю булькает и брызгается шустрая рыбёшка, а клёв не прекращается ни на минуту. Время от времени на акватории, куда я забрасываю удочку, происходит волнение поверхности и всплеск – это хищная рыба хватается зазевавшегося чебака. Наступает короткая пауза, но уже через минуту-другую клёв возобновляется с прежним азартом. В бидончике уже «густо», и мой интерес к рыбалке несколько ослабеваает.

Меж тем солнце поднимается все выше, и меня начинают отвлекать детали утра. Появилась голубая стрекозка, которую почему-то привлёк поплавок, и она уселась на него. Поклёвка – поплавок уходит под воду, а стрекозка, взмыв, зависает в воздухе. Поплавок выныривает, и стрекозка вновь усаживается. Так повторяется несколько раз, и мне начинает казаться, что это игра.

Прилетела серая трясогузка, села на бревно, «постукивая» по нему хвостиком. Заметив маленькое насекомое, быстро-быстро перебирая лапками-ходульками, побежала по бревну и, кажется, поймала его. Сколько же надо поймать таких козявок, чтобы насытиться?

Неожиданный сильный всплеск заставляет меня вздрогнуть. Вокруг поплавка снова паника, несколько рыбёшек выскакивают из воды, затем снова воцаряется затишье.

Перезвожу взгляд с полавка в воду перед собой – там какое-то дви-

жение. Из глубины реки, от самого дна, прямо ко мне выплывает крупная щука, держа в своих челюстях поперёк туловища красноглазого чебака, словно кошка пойманную мышь. Тело чебака конвульсивно подёргивается. Хищница совсем близко у моих босых ног. Мне немного жутко. Небольшой слой воды позволяет мне видеть все тайнства щучьего завтрака. Замерев на некоторое время, она начинает двигать челюстями из стороны в сторону, разворачивая добычу головой в пасть. Несколько таких движений, и чебак развёрнут. Сейчас будет заглатывать. Я вижу, как двигаются жаберные крышки и нижняя челюсть, на которой у щуки язык. Хвост исчезает в пасти хищницы. Последнее движение. Всё, чебак в желудке. Щучий завтрак закончен.

Я неподвижен, и только мои глаза, как объектив съёмочного аппарата, фиксируют на плёнку памяти уникальные кадры. Постояв немного, хищница развернулась, изогнув свое длинное, сильное тело, и, махнув на прощанье хвостом, ушла в глубину.

Начисто забыв про рыбалку, сижу, замороженный увиденным. Звуки проснувшейся деревни возвращают меня к действительности. Поднимаю глаза, вижу свою хатёнку на другом берегу, из-за ограды которой поднимается отвесно струйка сизоватого дыма. Это бабушка готовит завтрак для всей семьи на уличном камельке.

Пора домой. Ставлю банку с червями за бревно в тенёк, сматываю удочку, выливаю из бидончика лишнюю воду и, подхватив его за ручку, тем же «макаром» по плавающим брёвнам перебегаю обратно. Подхожу к калитке, открываю. Меня встречает моя любимица, кошка Муська. Бросаю ей пару рыбёшек.

У камелька, согнувшись, хлопочет бабушка. Кастрюля с ослепительно-белой рассыпчатой картошкой сдвинута на край камелька, на плите в большой сковороде уже готова рыба, а бабушка, взбалтывая с молоком разбитые яйца, готовится запечь ее в яичницу. Увидев всё это, я вдруг ощутил жуткий голод.

Подхожу к бабушке, показываю свой улов. Взглянув, она произносит традиционное скупое «Ма-ла-дец!», растягивая слова по слогам.

Конечно, молодец. Я не отдал своё тело во власть лени, а самым ранним утром пробежался босым по росе, единым махом «перелетел» по качающимся брёвнам на другую сторону речки, наловил полбидона чебаков, подсмотрел в природе тайну бытия, которая жива во мне всю мою долгую жизнь до сего часа, когда я, закончив свой рассказ, ставлю точку.

УДАЧНАЯ ОХОТА

Вечерняя дойка на ферме закончилась около восьми. После постановки фляг с молоком на охлаждение доярки разошлись по домам. Пришел сторож и, обойдя вверенные ему «владения», сел на свое любимое место в красном уголке на диванчике перед телевизором. Зав МТФ еще что-то писал в своих бумагах, потом и он ушел. На ферме воцарилась тишина, изредка нарушаемая вздохами коров, каскадами низвергающей-

ся жидкости и тяжелыми шлепками о пол. Тускло горели лампочки под потолком, из красного уголка доносились приглушенные звуки работающего телевизора.

Вот тут и подоспели дружки с дробовичками и трехлитровой банкой свежей бражки. Заглянули к сторожу, перекинулись словами, посидели. Догадливый сторож отыскал стакан. Угостили сторожа, налили себе. Закурили. Ночной «хозяин» сосредоточенно глядел на пустой стакан. Наполнив его, дружки поднялись:

– Ну, мы пошли.

– Куда? – тоскливо переспросил сторож.

– На лабаз. Третьего дня нетель комбикормом объелась. Тракторист ее уволок в яму. А мы там на елке лабаз соорудили. Мишка должен заявиться.

– Удачи вам! – бодро напутствовал сторож.

За удачу выпили. Пожав руку повеселевшему сторожу, вышли из коровника. Красноватые лучи заходящего солнца, протискиваясь сквозь узкие щели между острыми пиками елей и пихт, освещали унылый пустырь, заросший бурьяном. Там, за пустырем, у самой кромки леса, в полукилометре от фермы, был могильник, точнее, глубокая яма, вырытая экскаватором. По мере наполнения экскаваторщик засыпал ее, копая рядом новую. Огромная ель, ветви которой были частично обрублены на витаминную подкормку коровам, как нельзя лучше стояла рядом. Толстые сучья, идущие от самой земли, служили лестницей. На этой ели дружки соорудили лабаз – помост из жердей и досок. Сюда они подняли ружья и вожделенную банку.

Как развивались события предстоящей ночи, сельчане узнали во всех подробностях через день.

А было так.

Бражка еще не кончилась, когда в захмелевшие головы дружков стали поступать с земли звуки, свидетельствующие о том, что зверь явился. Он шелестел травой, сопел, громко фыркал и, наконец, разразился таким утробным ревом, что разогретая было бражкой кровь застыла в жилах. Комья земли полетели в разные стороны. Дружки не на шутку растерялись. Но, отыскав в темноте ружья, приободрились. Хоть было и темно, но в слабой подсветке звезд сверху было видно, что кто-то большой и черный явно пытается подрыть корни и опрокинуть елку вместе с лабазом и его обитателями.

Наведя стволы на черную тушу, по команде «пли!» – дружно рванули курки на себя. Эхо сдвоенного выстрела потрясло воздух над спящей деревней. Встревоженные выстрелом, залаяли во дворах собаки. Зверь же после выстрелов бросился из-под лабаза в лес, круша все на своем пути. Потом до слуха донесся звук тяжело упавшего зверя.

– Убили! – дружно выдохнули стрелки и спустились на землю.

– Надо сказать бригадиру, – поделился мнением один из дружков, и они дружно зашагали к светящимся вдалеке дежурным огням фермы.

Бригадир жил в большом доме рядом с МТФ. Вбежав на крыльцо, окрыленные успехом, застучали в дверь. Вскоре на веранде вспыхнул свет, и показалась внушительная фигура хозяина, но, увидя сквозь осте-

вление вооруженных людей, бригадир остановился, а узнав своих охотников, решительно открыл двери. Бражный дух ударил бригадиру в нос.

– Опять напились! – шагнув на крыльцо, повысил голос бригадир.

– Да мы мишку убили! – дружно изрекли гости давно заготовленную фразу.

– За что? Где? – рявкнул бригадир, вплотную придвинувшись к незванным гостям.

– Там! – махнув руками в сторону фермы, признались дружки.

– Ясно! – раздраженно произнес бригадир, сдергивая с плеч растерявшихся мужиков дробовики и бросая их на пол веранды.

– Со мной, на ферму! – последовала команда, и, схватив за воротники окончательно сконфуженных стрелков, детина-бригадир повлек их за собой, на ходу объясняя намерения.

– В милицию сдам вас! Из рук в руки! Под суд!

– Может... не надо... суд... – едва поспевая за верзилой-бригадиром, лепетали ночные возмутители спокойствия.

– Надо! – открыв дверь пинком, бригадир втолкнул их в помещение красного уголка.

Под потолком горела лампочка, светился экран невыключенного телевизора. В воздухе висел густой бражный дух. На деревянном диванчике навывтяжку лежал неподвижно сторож Михаил. Шагнув к лежащему, бригадир оглядел его с ног до головы и, не обнаружив на нем следов насилия, тронул его за плечо. Тот открыл глаза и, увидев перед собой начальство, резво вскочил.

– Я не спал, я не спал, – забормотал сторож, оправдываясь, – вот только обход делал – полный порядок.

У бригадира отлегло от сердца, но лицо его стало наливаться кровью. Медленно развернувшись, он двинулся всей своей глыбой на дружков, зашипев:

– Вы шшто, гады, воду мутите? Да я вас..

– Так не его, не его, – залепетали дружки, предвидя скорую расправу, – мы медведя убили!

– Опять врете? – дав волю голосовым связкам, рявкнул бригадир.

– Ей-богу! – клятвенно заверили ночные возмутители спокойствия, – Мы слышали, как он упал.

– Где упал? – начальство требовало точности.

– Там, в лесу, недалеко от могильника, – уточнили стрелки.

– Так... – протянул бригадир, одарив дружков долгим испытующим взглядом, садясь на табурет и закуривая.

– Слушайте мою команду: до начала дойки чтоб весь коровник блестел! И ты, – бригадир обратился к сторожу, – тоже бери лопату, осваивай новую профессию. И чтоб никому ни слова! Ясно?!

– Ясно, товарищ бригадир! – по-солдатски отрапортовала тройка.

И, поднявшись с табуретки, уже примирительно добавил:

– Утром я приглашу охотника, настоящего, покажете ему свой трофей.

После ухода бригадира «тройка» дружно взялась за уборку стойл. Свет предстоящей «славы» уже слепил им глаза. Еще бы, медведя уби-

ли! Это придавало сил. Когда уборка стойл подходила к концу, разжалованный сторож заглянул к быкам. Стоило, где стоял черный бугай, оказалось пусто. На полу валялась цепь, которой он был пристегнут. Об этом сторож робко поведал друзьям. Те бросились к воротам, ведущим в тамбур, где лежала подохшая нетель, и откуда ее уволок тракторист к могильнику. Одна створка ворот была приоткрыта. Через тамбур по волоку шел четкий след «беглеца». Прошли через прогулочный двор, подсвечивая карманным фонариком. Волок через пустырь вел напрямиком к могильнику, а по волоку, не сворачивая, шел след бугая.

Тошноватый комок стал подкатываться к горлу «героев». Жизнь теряла радужные краски. Картина ночной «охоты» четко представляла в их сознании совсем в другом свете. Дружки тупо смотрели друг на друга, и в глазах каждого вставал один вопрос: «Как?!?!»

Утром их отыскал знакомый охотник и, увидя их мрачные физиономии, шутливо спросил:

– Никак, я вижу, вы еще не опохмелились?

– Не спрашивай, – отмахнулись приятели. – Не до похмелья.

У могильной ямы и под лабазом свежих медвежьих следов не оказалось. Зато вся земля была истоптана копытами бугая. Там и сям видневшиеся ямы красноречиво говорили о том, что здесь совершался «обряд» по «усопшей».

Крестьянам, имеющим дело с крупным рогатым скотом, давно это известно. Нередко в пастбищный период бывает вынужденный забой (объелась корова), или пала в местах выпаса. Коровы, обнаружив труп или останки, собираются всем стадом, нюхают землю, режут и роют копытами. Такой коровий ритуал.

Сразу от лабаза вели кровавые следы. Охотник шел впереди по следу, а за ним понуро брели «стрелки». Шагов через сто наткнулись на убитого бугая. Осмотрев его, охотник язвительно заметил:

– Метко стреляете, ребята. Обе пули рядом, в грудь. Мясо будет доброкачественным. Скорее потрошите и обдирайте, а я пойду «обрадую» бригадира. Пусть пришлет кладовщика с транспортом и пленкой, в холодильнике место, думаю, найдется.

Не буду описывать все превратности судьбы наших «героев», скажу лишь, что руководство совхоза в суд не обратилось. Поднесли им штраф по месячному окладу (в том числе и сторожу, за недогляд), а «стрелкам» по двадцать пять процентов платить до полной компенсации балансовой стоимости бугая.

Зато в совхозной столовой еще долго кормили рабочих «медвежатиной».

С ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ «ТОМСКИЙ КЛАСС»

Томская областная писательская организация после некоторого перерыва возобновила творческие семинары для молодых литераторов. Такие семинары прозы и поэзии состоялись в мае 2010 года в Доме искусств. С молодыми поэтами общались и работали томские писатели Владимир Крюков и Валерий Сердюк. Прозу разбирали томские писатели Александр Казаркин, Сергей Данилов, Татьяна Назаренко и Александр Рубан. Большую работу по организации «Томского класса» проделал поэт Александр Панов.

«Томский класс» показал, что среди нынешних молодых поэтов и прозаиков есть авторы, творчество которых заслуживает пристального интереса.

Инга Аверина

НАЛЕГКЕ

Рассказ

Назло всем захотелось фруктов...

Но едва поезд успел тронуться, как в вагоне запахло копченой курицей из душной фольги, рыбными консервами, колбасой... Всё это сервировалось на местные газетки, усеянные хлебными крошками коллективно-дорожного аппетита...

А мне мечталось о вкусных спелых персиках, сочных, сладких яблоках...

Кто-то разулся...

Кто-то разбавлял кипятком лапшу...

Ароматы клубились, густели, плавилась на жаре.

Вакханалия запахов смешивалась и кружилась над моей верхней плацкартной полкой, а я кожей чувствовала, как из тамбура тянуло кузовом и от соседа снизу несло перегаром.

Позвякивали подстаканники, остывали чай...

Мелькнула мысль о вегетарианстве.

В знак протеста собственному обонянию решаю голодать. Говорят, иногда даже полезно. Все-таки это где-то рядом... Не есть мясо и не есть вообще...

В дороге хочется почему-то оглянуться назад...

Помечтать. Будто нет этого настоящего, попутчиков, вони. Только

спокойствие проводников, сопровождающих твой транзит из прошлого в будущее...

Я вижу, как мама встречает меня на пороге, как плачет...

Как Боря, сосед, суетливо, нарочито смеясь, робко предлагает выпить за мой приезд...

Как подруга Нинка визжит от радости в телефонную трубку...

Как Эдик, художник, тащит меня в свою мастерскую посмотреть новые холсты...

И всё как раньше...

Раньше...

Когда это было?

И где теперь оно?..

Я возвращалась домой.

Без особого аппетита, свисая с верхней полки душного переполненного вагона...

* * *

Город наш небольшой. Его строили в придачу к нескольким особо стратегическим заводам. Жить здесь, если не интересоваться криминальными сводками, в целом уютно. Послевоенные бараки, панельные пятиэтажки. Памятник Ленину – единственная достопримечательность, устоявшая на главной улице этого самого лучшего места на земле...

И всё вроде бы спокойно и размеренно.

Отцы-дебоширы вкалывают на заводах, матери продавщицами, кому повезло – отсиживаются в бухгалтериях. Отпрыски, если не намазывают портянки, то сидят на лавочках или в подъездах на корточках. Особо пытливые учатся простым пэтэушным специальностям. Есть и отчаянные, которые уезжают в райцентр, почти за тысячу верст. Остаются там единицы, в основном возвращаются... Потом долго пьют... А после, с девяти до шести, – в магазинах, на заводах, бухгалтериях... если повезет, конечно.

Жизнь понятна и место в ней указано.

Бронзовой ладонью мудрого Ильича...

Мне казалось – где-то можно по-другому.

Где не травятся спиртягой. Где пьют шампанское.

Где не хрипит из открытых машин шансон, а играет легкая музыка.

Где вместо дешевого курева головокружительные табаки ароматных сигар.

И разговаривают там о чём-то... другом и непонятном...

Говорю:

– Боречка, успокойся...

А он:

– Вот Толика посади-ли-и... Надо ему передачку передать... А как? Пацан-то ого-го какой... а посадили... передать... надо...

Он так живо мусолил эту тему, мне даже показалось, что и я скоро буду скакать по тюрягам с сухарями, только уже за Боречкой...

– Борь, давай шампанского сёдня попьем, а?

– Ты чё, с ума сошла? У меня от него изжога на фиг. И дорого! Нет, ну хочешь – пей, я не буду. Я лучше к тётё Маше вечером...

Тётя Маша торговала спиртом. Жила, как водится, на первом этаже. Особо страждущим наливала в кредит. Сначала ее муж, дядя Коля, ездил на «пятерке», потом на «девятке», а сейчас на иномарочке, не новой, конечно, но тётя Маша на жизнь не жаловалась. Она знала, кому и сколько. Вот участковому, например, всегда пожалуйста, самого наицистейшего, как слеза. Бригадиру дяди-Колиному тоже завсегда. А вот соседу, сварщику, сто грамм с утра, не больше.

Все ходили к тётё Маше. И даже поговаривали, что глава города знал её в лицо.

Ну а Боря... Боря переживает. Толяна-то «закрыли». Сам в застенках не был, но всё равно волнуется. Фетиширует. Ведь каждый уважающий себя пацан должен интересоваться, как там его невинно укравшие, или случайно упо-тре-бив-рас-про-стра-нив-шие, кем-то подставленные братаны. Как они там? Без носков теплых? Без папиросок и женщин? Сидят... когда всё тут без них... и весна... и лето... и сланцы, и семечки, и водяра... мимо проходят...

А ведь было же лето. Шел Толик по району поддатый, лузгая семечки. И стало ему вдруг как-то больно или обидно: то ли от жизни такой, то ли выпить еще хотелось, а денег – один свист. Короче, настроение хоть вой. И вот идет он, Толик, и видит: мужик навстречу ему. И у мужика-то вроде все клеится, и барсетка вроде не пустая, и харя буржуйская, и дело к ночи. Хлоп, и развернулся Толик на сто восемьдесят градусов. Проводить мужика чуток до дому. А тут и переулок темный... и звезды ласково светят на скользком Толиковом пути. Ну как здесь ножичек не достать? Как телефон не позаимствовать? Барсетку не одолжить? Только не знал Толик, что мужик этот ментом окажется. Хвать его, пьяненького, и всё. Вот тебе и жизнь на сто восемьдесят градусов повернулась одним местом, Толян...

Боря суетился из-за этой истории ещё и потому, что боялся. Где-то в подкорке у него, конечно же, мелькала страшная мыслишка: ведь на месте Толяна может оказаться любой, и он в том числе. Нет, не то чтобы Боря нарушал закон, грабил, он просто знал, что по пьяни, да с пацанами, не подумав, можно и украсть, и виноватым остаться и сесть. Он знал это и боялся, что не сможет вовремя остановиться, сказать «нет»... Тогда могут и свои затравить. И неизвестно, что страшнее.

Вообще, Боря был человеком очень мягким, он считал это страшнейшим недостатком и скрывал его, как мог. Ещё в детстве он записался в секцию по боксу. Не помогло. На первой же тренировке ему выбили передний зуб. Комплексов только прибавилось. Теперь он ещё и шепелявил. Со спортом было покончено.

Со школы Боря уяснил, что если он не прибьётся к стайке «правильных пацанов», то станет изгоем. Поэтому курить и трясти мелочь с малолеток начал сразу. К выпускному он уже ничем не отличался от своих друзей. Чуть сгорбившаяся фигура, черная кожаная куртка, кепка, семечек кулак... Конечно, Боря был реальным пацаном. Он ржал с широко раскрытым ртом, сидел на корточках, харкал в подъездах. И в сво-

ей пацанячьей жизни он был безупречен: уважал Ржавого, честно бухал, женщин угощал пивом...

Единственное, что отравляло Борину жизнь, – это когда мать начала его пилить.

– Тебе работать пора. Хватит на шее сидеть, сынок, – говорила она.

– Ну, чё ты, ма? – доносилось из комнаты.

Боря был увлечен своей компьютерной игрушкой. Несколько лет, несмотря на то, что уже вдоль и поперек все ее уровни пройдены и выучены. Он выстраивал свой виртуальный город. Уверенно щелкая мышью, возводил здания, больницы, дороги. Потом всё это рушил и начинал заново.

– Вот, – распахивала дверь в его комнату мама. – Ты же умный мальчик, с головой. Вон, смотри: в компьютере своем понимаешь, так и шел бы куда-нибудь, работал. Щас кто в компьютере понимает, им знаешь, как платят!

– Ну, ма! – гнусавил Борин затылок.

Дома, вдали от пацанской жизни, Боря чувствовал себя ребенком. Тем самым. Закомплексованным, без переднего зуба. Он, конечно, думал о работе. Но о какой? Дворником? Сторожем? Он же ничего не умел... а у реальных парней должна быть реальная работа, а лучше никакой работы.

А звонки типа «слышь, есть тема три косаря поднять» Боря внимательно выслушивал, кивал... и возвращался к компьютеру или телеку.

Борино чувство проснулось ко мне давно. Мы жили с ним на одном этаже семейного общежития. Виделись, здоровались. Но по-настоящему пересеклись у кого-то в гостях. Если по-пацански, то на хате. Пили. Слово за слово... И всё...

У Бори любовь.

А у меня... непонятное стечение обстоятельств...

Он мне тогда сказал:

– Блин, я, короче, не знаю, как сказать... Короче, это, ну когда я видел тебя, ну у нас там на этаже, я прям, знаешь... Всегда думал, что это, ну клёво было бы – забухать с тобой... Ты ваще клёвая. Мне нравятся такие.

– Какие? – спрашиваю.

– Ну такие, короче... Да чё ты, вон у Ржавого спроси, он скажет, я отвечаю.

Я тогда Борьке на слово поверила. Просто так расслабилась и поверила. Даже романтичным показалось... сосед с этажа... Будем на лестнице встречаться или в кухне... Хотелось всё-таки, чтоб кто-то «спокойной ночи» желал, был, в общем, чтоб хотелось...

В тот день, когда посадили Толика, Боря напился очень сильно тёти-Машиного спирта. Денег мне на шампанское у него не хватило. Я тянула весь вечер пиво. Со временем я стала замечать, что от пива у меня начал расти некрасивый живот. И вообще как-то незаметно пришло понимание того, что стала чаще пить. С Борей мы практически не встреча-

лись без «визита» к тётё Маше. С подругой Ниной тоже одним «полтинником» не обходилось. А к Эдику, художнику, я ходила в мастерскую каждый день, пока не кончилась его канистра домашнего коньяка с юга.

Пили у нас. Пили много. Пили все. Беспросветно. Трезвея только на работе. Или когда здоровье откажет. Но даже и тогда грех не поддать с утраца стограммового лекарства. Алкоголь сначала равнял праздники и будни, тоску с радостью, потом чётко делил всю нашу жизнь на периоды, превращая её в суррогат действительности...

Период первый, «портвейный» – это детство безденежное. Кстати, в распитии портвейна есть у подростков какой-то свой шик. Особенно у тех, кто в конфликте с «реальными пацанами», то есть с основным обществом. Они пьют из горла, не закусывая. Разговаривая порой на непонятные темы, о книгах, например. Какой-то вызов, претензия на оригинальность примешивалось к этому пойлу.

Те, кто прошёл период портвейна, обычно к нему после шестнадцати больше не возвращаются.

В зрелом возрасте пьют его, в основном, такие, кому терять уже нечего, этим и тётя Маша уже не нальёт – толку ей от них уже никакого... только репутацию портить... в общем, период этот удивителен тем, что с него всё как начинается, так и может закончиться...

Период второй, «пивной» или «коктейльный» – юность. Слабоалкогольная универсальность этих напитков позволяет употреблять их дешево и не морщась... Они идут «на ура» на самых главных праздниках: дне города и Дне Победы. Многие, правда, и салюта потом не помнят... а кто вообще его ни разу не видел...

Вечером во дворе, у телевизора, да и так просто бутылочка, другая... Или в выходной...

Скажем, в воскресный день в парке культуры и отдыха заняты все лавочки: мамы с колясками прихлёбывают из горлышка какой-нибудь мутный джинс с тоником, папы глыкают пиво и потом, как партизаны, прячутся за деревьями. К вечеру в парке нечем дышать, а из кустов сирени или шиповника доносится что-то вроде: «Ты меня уважаешь?».

Период третий, «водочный» или «спиртовой» – это зрелость. Водку пьют все: мужики и бабы, работающие и бездельники. Вечером в пятницу или каждый день. Чистейший продукт – полезнее не придумаешь. Бельями реками он течет и разливается почти в каждом доме по бутылкам, стаканам, глоткам... В зрелости не пьют пиво, им, в основном, запивают. Кухонные разговоры грубеют, тяжелеет печень, больная душа всё чаще даёт о себе знать...

А коньяк, вино, шампанское... Это редко. На большие праздники... Для них нужно особое настроение, обстановка. Может, жизнь даже поменять надо... Да много и не выпьешь. Не по карману. Всё равно закончится водярой. Незачем душу травить, она и так уставшая и озлобленная...

* * *

– Можно сумочку свою закинуть наверх? – обратилась ко мне женщина с нижней полки. – А то тесно...

Я приподнялась, она ловко перекинула свою огромную бесформен-

ную сумку через меня. Устроив её на третьей полке, она подмяла её для надёжности. В какой-то момент наши взгляды поравнялись:

– А вы отчего не кушаете? Не стесняйтесь, я вот тут подвинусь, немного... Спускайтесь к нам, – улыбнулась она.

– Спасибо, – растерялась я.

Ей явно было скучно. Её муж, источник перегарного запаха, давно спал. Она давно уже свернула свои газетки с остатками курицы, попыталась почитать...

– Может, колбаски? Надо скушать, а то испортится... – предложила женщина.

– Ой, спасибо, но я не хочу... – памятуя о своём вегетарианстве, отказалась я.

– У меня есть яблочки! Хотите? Свои, сами растим... – Она достала из-под стола мешок. Пахнуло летним августовским садом.

Женщина протянула мне маленькое яблоко... Я вдохнула. Оно было спасением. Крохотным маяком в этом вагоне копчено-жирного удушья...

– Из города едете? – оживилась женщина.

– Из города... Домой... – ответила я ей сверху.

– А в городе чего? В гости?

– Поступала...

– О! – всплеснула она руками. – Какое дело-то серьёзное! Поступила небось?

– Не-а. Провалилась. Не взяли...

Женщина сочувственно покачала головой:

– Бывает, бывает... А мы вот гостили у свекрови. Тоже теперь домой...

Разговор как-то скис. Запах яблок всё ещё висел в воздухе, напоминающая о доме... Я никогда не уезжала так далеко и надолго... От этой мысли даже что-то защемило в районе груди... Почти две недели в огромном городе. Если честно, то я даже рада, что всё получилось именно так... Что не поступила, не осталась в общежитии, и с работой не вышло... Дома всё-таки спокойней и проще... А шампанское... Шампанское лучше в Новый год...

Профессор спрашивает:

– В каком месяце началась Великая Октябрьская революция?

Отвечаю:

– В октябре, наверное...

– А что ознаменовало её начало?

– Залпы с корабля.

– Какого корабля? – хитро щурясь, спросил профессор.

Я пожала плечами:

– Броненосец «Потёмкин»...

Не получилось, в общем...

С этого экзамена по истории я вернулась в общежитии расстроенная.

Я жила в одной комнате с третьекурсницей Ольгой. Она, мягко говоря, такому соседству была не совсем рада. Относилась ко мне с лёгким пренебрежением. Да мы с ней и не общались.

Она пропадала где-то ночами, днём приходила спать. Обычно она выглядела замученной и уставшей. Но этим утром мы всё-таки столкнулись почти в дверях. Увидев моё расстройство, утомлённо она вдруг произнесла:

– Чё, не сдала?

– Не-а.

– Да не плачь. На следующий год поступишь.

Конечно, она просто обрадовалась тому, что я скоро освобожу её комнату... Но мне захотелось хоть какой-то поддержки и я, скорее от обиды и бессилия, спросила:

– И чего теперь делать?

– Работу ищи или домой...

«Как же домой?! – думала я. – Со всеми попрощалась, а тут... приеду, что подумают?.. Не смогла... Слабая...».

От этих мыслей я зарыдала в голос. Ольга, до этого имеющая непримиримый вид, вздрогнула.

– Ну чё ты? Ну? Ты думаешь, я с первого раза поступила? Да я целый год полы драила и историю учила. Чё, он тебя про Октябрьскую революцию спрашивал?

– Угу...

– Это его любимый вопрос. Зануда он порядочная, конечно... Ладно тебе. Могу с работой немного помочь...

– Спасибо, – выронила я.

– Спасибо? Ты что, думаешь, тебе вот так с неба всё упадет? Всё и сразу? Нет, милая, за всё надо платить...

– Что ты хочешь?

– Ну, денег у тебя нет, – протянула она. – Но ты, допустим, мне серёжки свои можешь презентовать... В знак благодарности за заботу...

– Я не могу, это... подарок...

– Ну смотри сама, я тебе помочь хотела... – моментально потеряла интерес Ольга.

Серьги мне дарила мама. Давно. Мне было лет десять... Это были алые гранаты на серебряной застёжке. Прозрачные камни при дневном свете, казалось, имели глубину. Какое-то достоинство и совершенство покоилось на их пурпурном дне. Серьги я почти никогда не снимала. Они напоминали мне о том времени, когда мы жили с мамой вдвоём. Когда не было отчима. Когда я чувствовала себя маленькой девочкой, маминей дочкой... Они были чем-то вроде символа моего беззаботного девичества... детства... я не могла... просто не имела права...

Мама моя работала продавцом. В универмаге. Это самый большой магазин в нашем городе, где можно купить всё – от хлеба до телевизора. Она продавала как раз хлеб. Всю жизнь. И до сих пор носит тщательно накрахмаленный колпак и приходит домой с булочками...

Мама всегда мне говорила, что нужно хорошо учиться, чтоб потом не стать, как она, «булочницей».

Папа... трудился в мясном, грузчиком... Не знаю уж, за что его полюбила моя мать, но в итоге получилась я.

Отец, как узнал о том, что мать на сносях, ушёл сразу. Сунул денег для приличия и исчез. Говорили, уехал куда-то на север. Не заладилось там. Спился...

Мать ждала его долго. А на отцовы деньги купила стиральную машинку, модную тогда «Малютку».

И мы жили вдвоём. Стирали, булочки ели по утрам... Было хорошо жить так...

А в один прекрасный день я пришла из школы домой, а там был совсем незнакомый мне мужчина. Мама вышла в коридор и объявила:

– Это дядя Серёжа. Он теперь будет жить с нами.

– Мой руки, садись за стол, – сказал он мне и хмуро добавил:

– Отметить надо.

Мать, растерянно улыбаясь, достала запотевшую бутылку. Было что-то в этом инородное. Наверное, потому что у нас никто не пил...

И всё у нас стало как у всех... Мужик в доме и бутылка, которая стала возникать всё чаще и чаще...

К нам принялись по вечерам наведываться дяди-Серёжины друзья, в основном, мужики с этажа. По ночам заспанные раздраженные супруги их утаскивали по своим комнатам.

Мать молчала. Иногда плакала. Больше всего боялась Дня пограничника. Отчим служил когда-то там радистом...

Я всегда удивлялась маминому молчанию. Такому stoическому и страшному. Она делала вид, что не замечает происходящего. Это было даже не молчанием, а добровольной слепотой. Она в упор не замечала пьянство отчима и мою неприязнь к нему...

Однажды он замахнулся на меня пьяный, кричал:

– Мразь, и мать твоя мразь! Ненави-и-и-жу вас, падлы!

Мать стояла рядом. Молча. Но мне казалось, что она очень далеко. Может быть, даже в другой стране или на другом континенте, или вообще вне времени, пространства, мира. Она не видит, что происходит в нашей семье, общаге, городе... Она не знает, а следовательно, и не защитит...

На следующий день я сообщила ей о своём отъезде. Именно ей. Мы с отчимом всегда общались через мать. Тогда она сказала:

– Зачем? Есть же училище. И рядом...

– Мам, я не хочу...

– Надо рубить дерево по себе, – отрезала она.

Я знала: она, конечно же, не мечтала всю жизнь продавать булки...

Но раз так сложилось... Деваться некуда. Могло ведь быть и хуже...

Так думала она...

И она старалась... симулировать счастье, семью, любовь... это было для неё так же естественно, как есть булочки по утрам...

* * *

Не выдержав Ольгиной надменной паузы, спрашиваю:

– А что за работа?

– Да нормальная работа, каждый день по «косарю» платят. Видала деньги-то такие, а?

– Может, я тебе что-нибудь другое отдам? Ну там, колечко, напри-

мер? Возьми, я его сама покупала, у нас в универмаге, на выпускной... дорогое...

– Чё мне твоё колечко? Мне серьги нужны... – Ольга была непреклонна.

– А правда там столько платят?

– Правда. Если работать хорошо будешь...

Я задумалась: а может, это судьба? Удача? Может, это и есть та жизнь, о которой я так мечтала? Может, там пьют шампанское и слушают джаз? И там некуда торопиться, потому что всё уже есть?.. А что у меня сейчас? Деньги тают с каждым днём. Со дня на день должны выселить из общаги. Страшно... Но почему-то мне хотелось верить в то, что в этом большом городе, пусть и не столице, всё-таки найдётся для меня местечко...

Я сняла серьги... И почему-то по всему телу прокатилась дрожь и ощущение, что эти камни... такие глубокие и мудрые, хотят мне что-то сказать... Что-то, о чём я ещё не знаю...

А может, и не хочу знать...

Ольга тут же их примерила.

– Симпатичные, – сказала она, разглядывая их в зеркало.

– Что за работа? – резко спросила я, скорее, от того, что мне неприятно было видеть на ней мои камни.

– «Амазонка». Ночной клуб. Туда нужны девушки. Ну, ты понимаешь?

– Нет.

– Ты вообще откуда взялась такая? Танцевать, раздеваться красиво надо, за деньги, сечёшь?

– Я не умею.

– А что тут уметь? Сиськи есть? А за такое бабло ты и «цыганочку» на потолке отплясывать научишься!

На тот момент в ночном клубе я не была ни разу. У нас из развлекательных заведений только «шашлычка» «Лиана», что стоит на выезде из города. Там обедают дальнбойщики, а по ночам отдыхают местные... Её хозяин, узбек, облагородил свою забегаловку караоке и линолеумом, убрал пару столов в пользу танцпола, и потянулись к нему со всего города: ребята в спортивных костюмах, девчонки в мини-юбках. Так у нас и появился свой ночной клуб. Там знакомились, танцевали, дрались, напивались... Гуляли, в общем. По-своему...

А про стриптиз у нас толком-то никто и не слышал. Ну, соседка с Нинкиного подъезда раз пьяная попыталась раздеться – запуталась в своих рукавах. Вся «шашлычка» до сих пор вспоминает... смешно очень было.

Мне стало не по себе... Я представила: танцевать перед жующими ртами... раздеваться... Какой позор!

Ольга умышленно убрала волосы за уши, чтоб мне было видно серьги.

Выпрямила спину, будто томившаяся на солнышке кошка, и неуверительно зевнула, как делают, чтобы заполнить паузу в неприятном разговоре...

Я посмотрела на серьги. Прошлые, казалось, больше мне не принадлежало...

Моё детство, воспоминания, принципы понемногу уходили от меня, оставляя один на один с Ольгой, с выбором, с городом... Назад дороги не было, и я решилась:

– Что надо делать?

– Вечером пойдёшь в клуб, спросишь Людмилу Михайловну. Скажешь: на работу пришла от меня...

Я почувствовала какую-то непонятную резь. Внутри. Будто что-то откололось и кровоточило. И всё это отражалось, сверкало и переливалось дневным светом в таких чужих, далёких и багровых камнях граната...

* * *

Я топталась у дверей этого клуба, долго не решаясь туда войти.

Проще было, наверное, карабкаться по отвесным скалам без страховки, чем переступить этот порог. Ко мне подошла пожилая женщина лет пятидесяти:

– Чего стоишь? Заходи!

Я не успела ей ничего ответить, как она снова спросила:

– Новенькая?

Я с некоторым облегчением кивнула.

– Тогда пошли, – улыбнулась она.

Сначала мы оказались в небольшом фойе с огромными тяжелыми шторами с кистями. За ними сразу зал... Он походил на игрушечный Барби-дом, где крошечные диванчики лоснились мягкой розовой тканью, на карликовых столиках лежали симпатичные салфетки в форме губ, а в небольшую сцену, напоминавшую скорее подиум, уверенно врезался невысокий шест.

Казалось, что вот-вот сюда зайдёт галантный и улыбающийся Кен, подойдет к бару заказать немного виски, и любезная Барби, тоже вежливо улыбаясь, в розовом переднике с кружевной отделкой нальёт ему полста грамм, добавит колы со льдом, и они будут смотреть друг на друга, бесконечно улыбаясь... Он закажет ещё. И ещё... Сначала он будет просто весел, потом немного неуклюж, но в конце концов нажрется, его галстук съедет набок, он будет нести всякую чушь, просить у Барби телефончик, предлагать ей уехать с ним... Она всё-таки зарядит ему пощечину и, как порядочная кукла, обидится, а может, даже всплакнёт...

– Ты от кого пришла? – спросила женщина.

Я вздрогнула от неожиданности.

– Вообще, я от Ольги... – робко начала я.

– От Эммануэль, что ли? Вот засранка! Передай ей, что она денег в бар задолжала.

– Мне нужно поговорить с Людмилой Михайловной.

– Я Людмила Михайловна. Размер груди у тебя какой?

Я растерялась...

– Не знаю, – говорю.

– Ну-ка, а повернись попой... угу... ну вроде ничего...

Она напоминала мне врача-терапевта: «Раздевайтесь до пояса, дышите...».

– Короче, условия следующие, – начала она. – По правилам клуба клиенты не имеют права прикасаться к тебе... Но мораль устанавливаешь ты сама. Однако имей в виду: все чаевые пополам. А если хочешь денег... в общем, думай...

– А у вас в баре шампанское есть?– спросила я.

– Есть. Но на него заработать сначала надо.

Голова кружилась. От страха и волнения. Переодетая в чье-то платье, я сидела на одном из крошечных диванчиков. Чувствовала себя огромной неуместной брошью. Зал заполнялся. За столиками сидели мужчины разного возраста... Среди них был один. С усами. И жадно исподлобья косился в мою сторону. Его взгляд обдал меня холодом... Чего он хотел?

Девочки сменяли друг друга, кружась на шесте. Легко и изящно. Нимфы. Я даже немного позавидовала их женственности. В нашем городе таких нет. Холёных и нежных. Нашим девкам летать и кружиться некогда – надо замуж, время не ждёт. Потом местечко в бухгалтерии. И ребенка в детский сад...

Было неловко. Неуклюже. В этом чужом платье. Я боялась шеста. Боялась сцены. И ждала своей очереди как приговорённая...

– Выйдем, – неожиданно над ухом шепнула Людмила Михайловна.

– Короче, вон тот мужик, – показала она мне на усатого.– Хочет приватный танец с тобой. Знаешь, что такое?

– Не-а.

– Я тебя сейчас в комнату провожу, ты будешь его там ждать. Он придет, а ты медленно, красиво разденешься. Ясно?

– За деньги?– почему-то спросила я.

– Глупая, кто ж сейчас бесплатно сиськи показывает?

Комната отделялась от зала плотными шторами. В ожидании своего Кена я уселась на диванчик как можно красивее. Выпрямила спину, коротко отрепетировала вежливую улыбку.

Усатый вошел в комнату. Хозяином сел в кресло.

– Новенькая?– спросил.

– Да, – как можно любезнее ответила я.

– Ну, давай!

Мои руки вмиг онемели. Ноги отказывались меня слушаться. Сердце выпрыгивало из груди... Я начала как можно медленней расстегивать платье. Усатый усмехнулся.

– Сядь!– отрезал он и притянул меня к себе.

– А как же танец? – испугалась я.

– Х... с ним...

Звякнула пряжка на его ремне.

– Извините, но гостям бара нельзя прикасаться к танцовщицам...

– Насрать! Давай по-быстренькому.

– Его руки больно сдавили мне грудь. Не помню, как оказалась на его коленях...

– Не трогайте меня!– только и успела закричать я.

– Заткнись, сука...

Началась возня. Почти драка. Я защищалась локтями. Он двинул мне коленом... Просто чудом я выскользнула из его клешней, вылетела в зал полураздетая... Невыносимо душили слёзы... Господи, как было стыдно... как было стыдно...

Сидящие в зале от неожиданного шума обернулись в мою сторону.

Они так смотрели... что мне тут же захотелось разреветься.

Горько от внезапно накатившей невероятной жалости к себе...

И рассказать всем, что всё вышло ужасно глупо.

И я не такая. Ну, то есть стриптиз этот...

И про революцию Октябрьскую я помню... просто разволновалась, наверное...

Я учиться хотела. Работать потом... Жить... Нормально... А тут...

Где-то ведь есть люди? Они пьют шампанское, а не пиво, от которого растёт брюхо... Носят белую обувь, потому что на их улицах чисто... Путешествуют... Слушают лёгкую музыку...

Слёзы катились...

Усатый бежал вслед за мной, на ходу застёгивая ширинку:

– Люда, Люда, что за шалаву ты мне подсунула? Где ты её взяла?.. – кричал он.

Людмила Михайловна стояла ко мне спиной. Её фигура выражала спокойствие и властность. Она резко обернулась и по-змеиному прошипела мне прямо в глаза:

– Я же предупреждала тебя, тварь...

Когда я вышла из злополучной «Амазонки», было ещё темно. Денег оставалось ровно на билет до дома. Город не спал. Улицы сверкали огнями и рекламами. Всё походило на один сплошной праздник. Будто потоки веселья выливались на улицу с людьми, машинами, суетой.

Слёзы катились...

Я шла в сторону вокзала, стараясь не оглядываться...

«Домой», – вот о чём я думала.

Плюнула я, в общем, на этот райцентр. Если в техникум не возьмут – на фабрику пойду или продавцом к маме... С Нинкой, как раньше, вино пить будем, в «шашлычку» ходить...

Замуж выйду. За Борьку. А что? Привыкну! Цепочки, колечки золотые носить буду...

Хорошо заживём, нормально...

Темнело. За окном поезда вырисовывалось сплошное однообразие. Леса, поля, станции. Пейзажи монохромными слайдами сменяли друг друга. Хотелось забыть всё поскорей. Нырнуть под одеяло, как в детстве. От проблем. От будущего. От стыда за своё возвращение.

Зато Борька обрадуется. Он так депрессировал из-за моего отъезда...

И мама. Только как я расскажу ей про серьги?..

* * *

Нинка говорит:

– Ну чего они от нас хотят ещё? Ну чего? Я ему пожрать пригото-

вила. Рубашку постирала. Погладила. Он, сволочь, пьяный пришел. Да кого там? Приполз, гад. И телефон дрыньк-дрыньк, дрыньк-дрыньк. Беру трубку, а там, бля, Наташа... Высралась, сука. Бывшая евоная.

– Да на хрен он тебе вообще нужен?– спрашиваю.

– Ну как... Мужик же... Какой никакой, а мой... Сидячий, правда. Ну ничего, говорит, по молодости, по глупости. Исправиться обещал...

– Думаешь, больше не будет?

– После последнего раза – всё, говорит, завязал. Прощенье просил, бес, мол, попутал. Клялся... Женится даже на мне, сказал, представляешь? – Нинка благостно улыбнулась.

– И чего, не ворует больше?

– Не ворует, неделю уж как не ворует... Вот только эта скотина... Узнаю – убью её на хер!

В чём-то Нина была права... Как самка, которая просто боролась за своё самкино счастье. Она была, пожалуй, моей единственной подругой. Столько лет секретов, любовей... Ещё со школы... Она жила в соседнем доме. Ходили друг к другу. Вино пить. Болтать о женском...

Кстати, женского в Нинке было хоть отбавляй. Её идея фикс – поскорей выйти замуж, порой приобретала странные формы. Вокруг неё вились мужчины... Солдаты-срочники, уголовные персонажи, сильно пьющие грузчики, дворники, трактористы... Их внимание Нинка расценивала как искреннее отношение или даже чувство... Замуж, правда, никто не звал. Нинка напирала сама. Мужчины исчезали.

Сама же Нина была маляром-штукатуром при жэке. Почти художник. Красить стены тоже искусство, считала она, а ещё это тяжёлый физический труд. И вредно.

А свою штукатурную зарплату она почти всю тратила на передачи в тюрьму или воинскую часть. На проходных её в лицо узнавали. Носки, конфеты, сигареты блоками. Всё это она умело распределяла среди своих потенциальных женихов.

И чего она только не делала на пути к своему самкиному счастью! Волосы перекрашивала, отчаянно беременела и даже, обнаружив как-то на себе венец безбрачия, неустанно чистила карму...

А однажды даже с работы уволиться пришлось.

Сдавали новый объект. Пятиэтажку. Строители ещё не успели разобрать свои вагончики. Нинке сразу приглянулся тракторист Витька. Она и так к нему, и сяк. А он лыка не вяжет уже который день.

А потом... Прораб хватился – ни Нинки, ни Витьки целый день нет. С утра вроде были... а сейчас... В общем, не нашли. Прораб ругался. Прогул даже поставил. А вечером мужики переодеваться пошли в вагончики, а там... Водка, консервы и тракторист на Нинке...

А ведь Нинка влюблялась действительно, как ей казалось, по настоящему. И каждый раз у неё всё было всерьёз. Даже если этот раз длился всего двадцать минут...

В каких она принцев верила? За каким призрачным женским счастьем гналась?

Одному богу известно...

Эх, Нинка, Нинка опять влюбилась. Она ему сим-карты в хлебе та-

скала полгода. Он письма писал из колонии. Свидание даже одно было... Чем не любовь?

Живёт теперь у неё, на работу не берут... Как-то пошел за пивом в магазин с утра. Вернулся поздно вечером пьяный, с двумя телефонами, сказал, что нашел... И цепочку золотую. Нинке подарил...

Нинка промолчала... Совсем как моя мать...

Это чисто местная черта характера... Городское равнодушие. Форменный эгоизм.

У нас принято было так. Создавать видимость того, что всё идёт просто замечательно. Перекрашивать гнилые заборы. Похмелье прикрывать безобидным недосыпанием.

Традиции в нашем городе чтили. На работу приходиться уже с утра не в настроении. Понедельники ненавидеть. Курицу по праздникам есть. В телевизор пялиться целыми днями.

Примерно к двадцати пяти годам жизнь устаканивалась. Появлялись обычная вялость, размеренность. Дети появлялись.

Скупые события тянулись за жалкой вереницей дней. Зимой стояли лютые морозы. В межсезонье слякотно и грязно. А лето такое короткое, что никто его и не помнил.

Любовь? Это только поначалу. Редко какая девушка дожидалась своего суженого из армии. Оно и понятно, времени в обрез...

Счастье? Оно есть где-то, конечно... Морские побережья, залитые солнцем песчаные пляжи... Воочию всё это видели единицы, предприимчивые сотрудники кадровых отделов, главбухи, которые сумели выпарать себе путёвки ещё при Советском Союзе. А те, кто помладше, глазуют на это счастье только в телевизоре или на дне бутылки, сидя воскресными вечерами в парке культуры и отдыха...

Деньги? От зарплаты до зарплаты, в основном. За исключением больших начальников заводов и директора универмага. Им ещё в девятые улынулась фортуна.

Зато в день зарплаты город гудит. Поэтому её дают строго по пятницам. Милиция дежурит с усилением. Рынок работает до позднего вечера. Там подвыпившие мужики покупают своим жёнам новые сапоги, жёны выкраивают себе на духи, дети выпрашивают на чипсы и колу. Деньги разлетаются за несколько дней, оставляя после себя немного окорочков в морозилке, полуфабрикатных котлет, пару десятков яиц да маломальски какой-нибудь крупы или макарон...

Праздники? Отмечаются с особым размахом. На дни рождения собираются, в основном, родственники, поесть, повздыхать, выпить. Дарят разное, недорогое, но крупное. Вот мне на прошлый день рождения подарили бессмысленную зеленую вазу из толстого стекла. Такие дарят на значительные юбилеи.

На прошлый мой день рождения гости сломали унитаза. Нинка то в кухне на этаже, то в душевой весь вечер уединялась с очередным принцем, у которого из-за наколок не осталось на теле ни одного живого места. Сначала их застукала комендантша, потом и вовсе душ закрыли.

Они заперлись в женском туалете. И вот как результат – не работающий уже полгода бачок.

День рождения всегда был для меня скучным праздником. Пить скучно. Есть не хочется. Но традиция такая: каждый год я должна выставить большой стол, изнасиловать лимоном курицу, колбаски порезать, селедочку под шубой придумать. А потом?

Потом посуда грязная, и подарки сплошь крупные да символические...

На Новый год всё как положено: ёлочный «оливье», запой до Рождества, скандалы и ругань за стенкой, драка на лестничной площадке...

Да, в общем, кого это всё волнует? Живём же... По квартирам хрущёвкам, комнатам общажным... Верим чему-то... Только вот плевать всем друг на друга, каждый заточён в своём четырёхстенке...

Город погружён в густой туман равнодушия и эгоизма.

В тумане ничего не видно, можно легко заблудиться...

Но жители нашего города приспособились и привыкли лениво верить, что всё у нас будет хорошо...

Просто замечательно...

* * *

Он говорил:

– Кон-це-пту-а-льно-о, – медленно растягивая звуки после качественно выкуренного «косяка травы». – Ван Гога тоже никто не понимал.

Эдик – художник. Самоучка. Улыбающийся такой. Его иногда ловят на улицах пьяные подростки. Бьют. А он смеется...

Сумасшедший...

Писать Эдик начал сразу маслом. Сначала он изводил огромные холсты цветными пятнами. Брал краски те, что поярче, и мазал ими сверху донизу, реже поперёк... потом Эдик взялся за «концептуальную живопись». Сразу написал две новые картины. Первая называется «Зае... ли». Так и написано неровными буквами на темно-синем фоне, изображающем что-то вроде неба... Одинокая буква «и», не влезшая в основную часть живописного полотна, узкой каплей болталась где-то в нижнем углу картины. Но даже и без неё всё и так было понятно.

Хоть эта работа особого успеха не возымела, Эдик решил темп не сбавлять. На следующем своём холсте он изобразил забор, на котором тоже было написано...

– Понимаешь, – объяснял мне он. – Наступил чудесный солнечный день, и у всех превосходное настроение, люди, улыбаясь, спешат на работу... Мир им кажется прекрасным и дружелюбным. И вот идут они и видят забор, над которым высится голубое-преголубое небо, снизу растёт зелёная-презелёная трава и тут... рррааз! А на заборе написано х...! Это же какое столкновение! Какой конфликт! Х... с небом!

Мы всегда сидели в его мастерской, что находилась в подвале. На первом этаже этого же дома жила тётя Маша. По утрам она выходила кормить бездомных собак. Жалела их.

Только людей травила. Палёным спиртом.

Эдик мечтал уехать.

– Представляешь, – говорил он. – Откроем свой магазин. Будем картины продавать. Или нет, галерею, к нам будут приходить известные люди: художники, музыканты, поэты...

Он знал, что этого никогда не будет. В своё время он тоже не поступил на факультет изобразительного искусства, и его пятнистые холсты утончённые сотрудницы райцентровских галерей, пожимая плечами, мягко отставляли в сторону...

Эдик успел закончить всего семь классов. Он был из неблагополучной семьи. Мать-алкоголичка и три маленькие сестры ютились на окраине города в старом деревянном доме. В доме постоянно толкалась опухшая от спирта алкобратия. Засохшие корки хлеба, уличные коты, выбитые окна... Когда сестёр забрали в интернат, Эдик ушёл из дому, поселился в подвале, назвал его мастерской... Ему хотелось оторваться от этого мира. Хоть на несколько сантиметров. Не иметь ничего общего с его обитателями, разговорами, запахами... Увлёкся искусством скорее даже ради того, чтобы доказать всем свою непохожесть. В среде, откуда он был родом, не знали Ван Гога. Поэтому его и тянуло, как он считал, в эстетику. Его эстетикой стал бесконечный вызов всем. Эпатаж ради эпатажа. Но всё чаще его можно было встретить раскуривающим весёлые табачки или спящим на лавочке в парке...

Среда его побеждала, а импрессионисты со временем становились и вовсе ни при чём...

Эдик лет пятнадцать уже носил кожаную «косуху», как символ свободомыслия.

Он подрабатывал на стройках. Денег у него не было никогда.

Какая галерея?

В каком мире все это сбудется?

Да что там... Под окнами тёти Маши он проводил больше времени, чем в своей мастерской...

Боря всё-таки устроился на работу. Охранником в наш парк культуры и отдыха. Особая профессия, тоже, кстати, популярная в нашем городе. Эти люди в чёрной форме перегораживают тебе путь, куда бы ты ни шёл, говорят «не положено», что бы ты ни делал, грубят, если ты пьян, могут и побить, если сильно им не нравишься, а иные и ограбить... Такой, получается, гоп-стоп в форме... И не поделаешь ничего, охранники...

Боре эта профессия совсем не подходила, он – человек мягкий. Но всё равно он решительно надевал форму, застёгивал портупею и шёл «наводить порядок» на парковых аллеях. С ним ещё пара пацанов, все с одного двора. Витёк по кличке Романтик, так его прозвали за то, что он на своём посту по ночам охранял мир и покой граждан каждый раз с новой девушкой, а то и сразу с двумя. И Миха, больше известный как Голова. То ли потому, что он, в основном, бил головой, то ли потому, что считался умным, так как его частенько можно было застать с книгой, с привокзальным детективчиком каким-нибудь. Банда, одним словом.

Домой почти с каждого дежурства неслись трофеи: цепочки, телефоны, перстни...

И Боря тоже «калымил»... Все «калымили», и он тоже... Чтоб не быть белой вороной...

Мне было неприятно...

Он так сильно пил, ругался матом... становился агрессивным... Так и норовил нагрубить кому-нибудь на улице...

– Мужчина должен драться, – говорил он мне.

«Глупости», – думала я, но возражать не стала. Когда Боря «быкует», нужно с ним во всём соглашаться как с душевнобольным во время обострения.

Это стало порядком надоедать.

А ещё больше меня выводил из себя его непроницаемый вид, когда он рассказывал о драках, нападениях, грабежах... Чаще всего во всём этом виноваты были сами охранники. Но, по его словам, они выходили жертвами...

– Ты понимаешь, – говорил Боря, – если человек пьяный, то это уже не человек, а свинья... И его нужно проучить...

Вот и носил Боря украденные перстни и цепочки как следствие своего воспитания.

– А если ты будешь пьяный и к тебе подойдут вот так же, проучить? – спросила я.

– Не подойдут, – сделался вдруг серьезным Боря. – И вообще, не лезь не в своё дело.

Он боялся...

Поэтому говорил так...

Это был День пограничника. Все лавочки и кафешки в парке были заняты уже с утра. Для Бори и его напарников день обещал быть суетливым и в целом наживным.

Пограничники ходили толпами, в обнимку. Сутулясь, горько вздыхая, перед тем как глотнуть из пластикового стаканчика водки. За пацанов. За тех, кто не с нами. Обычная программа.

К вечеру, как водится, все разбрелись по кустам. Начинались лёгкие стычки.

Боря отсиживался на своём посту. В драки не ввязывался, никого не разнимал. Охранник, одним словом. Да и зачем? Поорут, силу померяют да и сами разойдутся. А если кого сильно побьют или ограбят, так это уж не его дело. Этим милиция пусть занимается.

Но вдруг он услышал душераздирающий женский крик. Боря вздрогнул, откуда-то неподалёку донеслось:

– Помогите!

Возникло напряжение. Сделать вид, что не слышал? Помочь? Боря не знал, что делать. Время шло...

– Помогите! – послышалось совсем близко.

Боря осторожно открыл дверь поста. Высунул голову. Никого. Вышел на крыльцо, достал сигарету. Тишина. Закурил.

«Тем лучше...», – подумал он и зашёл обратно на пост, для надёжности подперев дверь стулом.

Он уже и забыл про происшествие, как вдруг в дверь кто-то сильно бухнул.

– Открывай, – послышался мужской голос.

Боря привстал. Отодвинул стул. Дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина. Лицо его было в крови, одной рукой он прикрывал глаза, другой хаотично размахивал.

– Слышь... помоги, там женщина!.. – прохрипел он.

– Ну, чё ещё? – с неохотой спросил Борис.

– Сумку отобрали... помоги... брат...

Мужчина был сильно пьян. Лицо его Борису показалось знакомым. Это был недавно вышедший из тюрьмы Сиплый. Наркоман со стажем.

– А я-то чё сделаю?..

– Блин, я заступился... она шла просто... потом как заорёт... я за ними... шакалы... нос, кажется, сломан...

– Понятно, но это не ко мне... – пожал плечами Боря.

– Ну, братан, ты чё? Как же так-то? Как же так?

Боре показалось на мгновение даже, что Сиплый не просто посмотрел на него, а ударил его взглядом, исподлобья, с обидой и вызовом. В его окровавленном лице была какая-то боль, смешанная с негодованием. Нет, не сломанный нос... Что-то другое...

– Да пошёл ты! – кинул напоследок ему Сиплый.

И вышел.

Боря с облегчением вздохнул. Обошлось.

«Сучья работа», – подумал он. Закрыв дверь и снова приставил стул.

* * *

Боречку было жалко. Он мягкий человек. Как бы кого не задеть лишний раз... Но ведь съедят же. А он татуировку себе для храбрости сделал. Синюшную... Чтoб к своим-то поближе. Пацанам.

И пить стал... От какой-то неистребимой русской тоски... И о любви ни слова не говорил без водки...

Хлоп полстакана и целоваться лезет...

Я ему:

– Ты чего?

А он:

– Не могу без тебя, – говорит, – пропаду... Не уезжай...

Про судьбу что-то несёт. Неужели влюбился, думаю. Так, по-серьёзному. И вдруг как-то страшно стало. А что если мне всю жизнь придется прожить с ним, детей от него иметь...

Я представила нашу свадьбу в столовой, где пахнет котлетами. И как немолодая тамада поёт народные песни. И подвыпившие родственники кричат «Горько!». Наливают водку, а может, даже и шампанское...

А Толяна посадили всё-таки на пять лет. Ох, Борька переживал! Я не могла понять, почему все ему так сочувствовали.

Почему никто не подумал про того, на кого напал Толян и хотел ограбить, кого ножом чуть не пырнул за лишнюю сотню на пузырь...

С Эдиком я тоже как-то скомканно попрощалась.

Захожу к нему, а он выдувает очередную самокрутку с «травой».

– Вдохновение просто так не приходит, – говорит он мне.

Через некоторое время его взгляд становится пустым, он поднимает с пола вымазанную в масляной краске кисть, подходит к какой-то фанере и черным мажет полукруглую полоску, потом опускает кисть в жёлтую краску и рядом выводит ещё одну полоску, потом в красную и так далее...

– Что ты делаешь? – спрашиваю недоуменно.

– Моя радуга, – отвечает он, не отрываясь от процесса.

– В радуге нет таких цветов...

Он повернулся в мою сторону, но смотрел куда-то мимо, как бы сквозь меня:

– Дура ты...

Стало страшно. Такой мутный взгляд... Эдика будто подменили. Тогда я подумала, что это от «травы» такой эффект... И ушла... Он этого даже не заметил...

Перед глазами до сих пор стоит эта жуткая радуга...

Странно как-то всё это было...

А от Нинки жених её всё-таки ушёл. И телевизор с микроволновкой прихватил заодно.

Она с работы приходит – и нет никого.

Звонит мне, плачет:

– Он же обещал не воровать больше, скотина... – всхлипывала Нинка. – Ты там в райцентр када поедешь, ищи себе приличного, присматривайся хорошенько, чтоб не сидел, не пил... а то будешь, как я... – завывала она. – И суши попробуй обязательно. Говорят, можно одной наестся. Расскажешь потом...

– Дура ты, Нинка! – говорю. – И фэн-шуй тебе не поможет!

– Ну чё ты начинаешь? Я, мож, те завидую, ты хоть поживёшь там по-человечески...

А маме скоро на пенсию. Она стягивала по вечерам штаны с пьяного отчима. Он рычал, как животное, не в силах даже материться. А она тихонько и покорно пристраивалась рядышком на их тесной софе, стараясь не занимать много места, не помешать, не обидеть... И так всегда, как черепаха в панцире... Маленькая такая, хрупкая. Изо дня в день крахмалила свой колпак и приговаривала:

– Нормально живём тут... а чего? Может, даже и повезло...

Похоже, она действительно в это верила...

* * *

Поезд шёл тихо. Запахи понемногу успокаивались, засыпали...

Хотелось есть. Мяса хотелось. Курятины копчёной в фольге...

Колбасы докторской...

Мне не спалось всю ночь...

Вспоминалась аллея в нашем парке... Узенькая тропинка, над которой нависают мохнатые лапы стройных сосен... Мягкая пожелтевшая хвоя под ногами... Мы идём по ней с мамой, я бегу впереди.

Маленькая девчушка лет пяти. Подул лёгкий ветерок и сорвал с моей головы белую косынку. Я побежала за ней. Бегу, бегу, а она всё дальше от меня. И вот я уже свернула с тропинки куда-то вглубь парка. На мгновение даже показалось, что деревья сомкнулись надо мной... Страшно...

Плачу... Думаю, мама заругает, что косынку обронила... Я уж и из виду её потеряла... а всё бегу и бегу...

Чуть не заблудилась тогда...

И сейчас вот чувствую – гонюсь за чем-то... За чем?

Поезд прибыл совсем рано, на рассвете. Солнце ещё поднималось, и потому было прохладно. Я выгрузила свой единственный чемодан на перрон. Вдохнула. Как всё было знакомо на этой маленькой узловой станции.

Ещё в детстве мы прибежали сюда смотреть, как останавливается здесь всего раз в неделю пассажирский поезд. За эти две минуты стоянки я разглядывала чужих людей, уставших с дороги, едущих издалека, с неведомых мне городов... У них была какая-то другая, совсем не похожая на мою, жизнь. И с последним, скрывшимся из виду, вагоном состава она манила меня всё сильнее, увлекая в свою неизвестность с запахом пропитанных битумом шпал...

На вокзале меня никто не встречал, да я никого и не предупреждала о своём возвращении.

Я шла вдоль дороги, за мной катился чемоданчик.

Сегодняшний августовский день обещал быть тёплым...

Ближе всего к вокзалу жил Эдик. К нему я решила зайти первым делом.

В его дворе стояла какая-то неправдоподобная тишина. Никто не выносил ковры, чтобы их выбивать, не вывешивал бельё. Даже под окнами у тёти Маши ни души.

Низкая подвальная дверь была, как всегда, открыта. Я зашла, потом затащила свой чемодан.

– Эдик! – кричала я. – Ты спишь ещё? Это я, Эдик! Я приехала!

В подвале было темно, и я шла на ощупь... Спустившись с лестницы, я оказалась на маленьком еле освещённом пятачке. Где-то в глубине подвала что-то зашуршало.

– Кто? – хрипло донеслось из темноты.

– Эдик, это ты? Я приехала!

– Нет его здесь, – сказал незнакомец.

– А где он?

Сквозь тусклый свет лампочки я разглядела чью-то фигуру. Фигура привстала, чтобы тоже на меня посмотреть... Это был Сиплый.

– В психушке он лежит, я теперь за него, – ответил он.

– Как же так?

– Как, как... Голоса слышит, разговаривает с ними, зовут они его...

– Куда зовут? – не поняла я.

– Чё непонятливая-то такая? ТУДА они его зовут! ТУДА! – выпрямился Сиплый в полный рост. – Повеситься он хотел. А я случайно шёл-шёл, дай-ка, думаю, зайду. Спускаюсь, а он петлю крутит. Зовут, говорят, идти надо. Теперь в психушке он, а я здесь! Ясно?

– Ясно, – тихо сказала я. – Пойду, наверное...

Я вышла из мастерской. Как-то не верилось. И что-то было всё равно не так... Надо мной висело какое-то напряжение...

Какие голоса? Откуда? Может это он после своей «травы»... Или Сиплый его чем угостил?

Постояв немного, я пошла в сторону своей общаги. Растерянная, миновала несколько пятиэтажек, рынок. Мой чемодан на крохотных колёсах то и дело подпрыгивал на кочках и заваливался набок.

Ощущение было такое, что весь город просто вымер. Ни людей, ни машин...

Не то что бы меня никто не ждал... Просто этот город точно больше не принадлежал мне... Не было у меня ни серёжек с гранатом, ни булочек маминых, ни татуировки Бориной... и Эдика теперь тоже будто не существовало...

Уже подходя к своему двору, сквозь эту постороннюю тишину я вдруг услышала звонкий собачий лай. Навстречу мчался огромный лохматый беспородный пёс. Сзади него, с трудом удерживая его на длинном поводке, бежала Нинка. Запыхавшись, она кричала собаке:

– Стой! Фу!

Псина неотвратимо неслась прямо на меня... Наконец, совсем приблизившись, чуть не сбивая меня с ног, собака начала подпрыгивать, виляя хвостом, не давая сделать мне ни шагу.

– О!– увидев меня, почти вскрикнула Нинка. – Ты чего, приехала, что ль?

– Как видишь...– пожала я плечами, вообще уже ничего не понимая.

– На каникулы, да? – всё ещё тяжело дыша, спросила она.

– Почему?

– А-а-а – протянула она с хитрой усмешкой. – На нас посмотреть и обратно... Пёс продолжал путаться под ногами и дёргать за поводок.

Я не успела ничего ей ответить, как она затараторила:

– Ой, а я вот решила собаку завести. Как мой от меня ушёл, сразу думаю: пса заведу. А тут и тётя Маша: забери, говорит щеночка. Вот и забрала. Живём теперь... С работы приходишь, встречает тебя – приятно... Хоть кто-то...

– И что, замуж больше не хочешь теперь?

– Да ну их, у меня теперь Рекс... Чем не мужик? Пожрать, поспать, да погулять! Только «на выпить» разве что деньги не трясёт... А у тебя-то как?

– Да нормально...

– Суши пробовала хоть?

– Пробовала... – зачем-то сказала я.

– Ну и как?

– Невкусные...

– Вот, блин... Наврали, значит, в телевизоре... – вздохнула Нинка. Собака дёрнула поводок и потянула её в сторону. – Ладно, побежали мы... Заходи вечером!

– Хорошо, – ответила я уже удаляющейся Нинке.

– А ты уезжаешь-то когда? – крикнула она мне вдогонку почти через весь двор.

Я обернулась... Я не знала, что ей ответить... Просто стояла как вкопанная и смотрела на Нинку, на её собаку...

– Ладно, – махнула она рукой. – Некогда...

* * *

Общага потихоньку просыпалась. По коридорам уже бегали соседские дети. Хлопали дверьми. Галдели. Томно вытягивая лапы, выходили занимать свои места на подоконниках коты. Женщины выносили тазы с бельём. Я поднимала чемодан по ступенькам. Еле дотащив его до своей секции, позвонила в дверь.

На пороге меня встретил отчим, дядя Серёжа. Заспанный, в одних трусах:

– Рановато ты чего-то... – не скрывая своего удивления, сказал он.

– Нормально, – огрызнулась я. – Вставать уже давно пора.

– А мы тебя лет через пять ждали... После института, а ты... опочки! И через неделю – всё, на, отучилась!

Я, не разуваясь, прошла в свою комнату. Села на софу. Вздохнула... Никак не приходило ощущение, что я наконец дома.

– Где мать? – крикнула я из комнаты.

– Поливать на огород поехала – сёдня воду дают, – с неохотой ответил отчим.

Его фигура тут же появилась в дверях:

– Ты надолго к нам? – сдвинув брови, произнёс он.

Я снова, как в ступоре, ничего не смогла ответить. Просто смотрела на него, стоящего в дверном проёме, и отчего-то молчала.

– Ты ж так? Погостить? Знаешь чего... короче... ты картошку помоги нам с матерью выкопать и езжай себе, учись дальше... Мы тебе ещё в придачу ведёрко дадим...

– Я не поступила, дядь Серёж... – неожиданно выскользнуло у меня.

– Ну, тем лучше... – совсем не удивился отчим. – Работать поезжай, там в райцентре работы-ы-ы... до хрена, только успевай! Не то что у нас...

Меня словно что-то резануло. Отчим замолк. Повисшая между нами пауза электризовала воздух. Его лицо... спившегося работяги... оно было чужим... Ничего в его взгляде не принадлежало мне... Я так сильно это почувствовала, что отшатнулась... Это не моя жизнь...

Не моя...

Хотелось исчезнуть, чтоб не видеть его посторонний взгляд, и я сказала:

– Я к Боре зайду, а то он ещё не знает...

– Борю твоего в армию забрали, – с некоторой усмешкой бросил дядя Серёжа. – Всё, на... в горячую точку! Хана ему теперь!

Я остолбенела: Борю? в армию?

– И чего теперь? – спрашиваю.

– А ничего... Может, вернётся, а может, и нет. Проводили, да и всё. Ну, мать евоная поплакала...

Ответить было нечего.

Страшная мысль вдруг больно кольнула сердце: меня никто здесь не ждал... Уехала – значит, возвращаться не должна... А я... ещё и с чемоданом... на колёсах...

Мама вошла тихо, незаметно проскользнув в приоткрытую дверь. Она всегда всё делала так. Не привлекая внимания, молча...

– Ой! – всплеснула она руками, увидев меня из коридора. – Хоть бы предупредила! У меня ж не готово ничего...

– Да я ненадолго, ма...

– А чего?

– На вас вот приехала посмотреть, и обратно...

Мама глянула на отчима. Их взгляды пересеклись, стали натянуты. Струнами. Между ними сквозило недосказанностью... Бледные маминны губы вздрогнули... Будто она не решалась что-то выговорить... произнести что-то такое, о чём она молчала всю жизнь...

– Ты поезжай, дочка, – тихо сказала она. – Чего тебе здесь делать?..

– А картошку кто копать будет? – грозно спросил отчим.

– А картошки нынче немного, сами справимся... Поезжай... – произнесла мама, как всегда так, словно сама в это верила.

Во мне не было ни тоски, ни сожаления...

Я кинула взгляд на чемодан... Он стоял у входа, точно верный пёс, дожидаясь меня...

Маме на пенсию скоро, Нинка с собакой теперь, Боречке уже не помочь... Одному Эдику хорошо...

«Уезжаю», – пульсировало у меня в висках.

Без счастья и шампанского, без прошлого и картошки...

Так уезжаю...

Не оглядываясь.

Налегке...

Алена Хлестунова

ПОД ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

Мои родители – тираны. И это не бред воспаленного воображения, это правда! Они постоянно меня критикуют, во мне им не нравится все. Как я одеваюсь, крашусь, ем, говорю... Все, что хоть как-то имеет отношение к подросткам, они воспринимают в штыки. Мне нельзя ходить на концерты любимых групп, в кино с друзьями, нельзя приглашать их до-

мой. Да что там! Мне даже в Интернете сидеть не разрешают. Тотальный контроль и полное отсутствие свободы. Если мне звонит кто-то из родителей, а я не беру трубку дольше пяти гудков, то все! Скандал!

Мама даже из дому боится уходить надолго. Она и не работает, все взвалила на папины плечи. Он, бедненький, горбатится на двух работах, ребенка видит раз в неделю, если не реже! По причине огромного количества свободного маминого времени я даже уроки делаю под ее присмотром. А еще мне почти не дают денег на карманные расходы. Многие мои друзья (которых, кстати, совсем немного из-за кастинга, устроенного дорогой мамочкой) удивляются, что я еще не взвыла от такого обращения.

А я и взвыла. Ведь начались летние каникулы, а значит, бдение стало круглосуточным.

И тут Оксана рассказала мне про лагерь «Вифлеемская звезда». Это что-то из Библии. Вроде Вифлеемская звезда привела трех волхвов к младенцу Иисусу. Путеводная звезда, вроде так. Вот он, выход! Уехать туда, где отдыхают подростки совсем не моего круга, сельские ребята, дети из детдомов. Почему-то мне казалось, что нормальных городских детей там должно быть очень мало.

Да еще религия. Ведь главный человек в этом лагере – священник. Я бросаю вызов своим родителям-атеистам!

Моя месть будет сладкой! Только как вынудить родителей отпустить меня в лагерь? Уговорить? Или попросту сбежать?

Все-таки второй выход более реален, потому что на мою нормальную человеческую речь родители вообще не реагируют. И я начала приготовления.

Мне везло. Мама отправилась на почту получать какое-то письмо, а я, «отмазавшись», осталась дома. Вытащила с антресолей старый дорожный рюкзак. Его там еще лет пять не хватятся.

Вторая проблема: куда теперь его спрятать, чтобы можно было спокойно собираться. И меня осенило: Оксана!

Следующие несколько дней я незаметно от родителей таскала из дома вещи. И меня, видимо, охраняли силы небесные, потому что удалось ни разу не попасться и даже подозрений не вызвать.

Наконец настал «день X». Я дождалась, пока папа уйдет на работу, мама в магазин, и ушла к Оксане. Просидела у нее аж четыре часа, пока мама, судя по всему, примеряла очередную кофточку-юбочку-блузочку (нужное, что называется, подчеркнуть).

В 14.00 наш автобус отправлялся от городского храма. Подъехал допотопный микроавтобус. За пять минут до отправления я позвонила маме и сладким голосом заявила:

– Мама, я стою около церкви. Что делаю? Уезжаю в лагерь. Да, ставлю в известность. Не успеете вы приехать. Всё. Мы отправляемся. Пока! – И, пока мама не перезвонила, выключила телефон.

Почти два часа тряски по проселочным дорогам, и вот мы тут, высаживаемся посреди неизвестной деревни.

Я стояла на траве, беспокойно оглядываясь на пасущихся совсем близко коров и думая о том, что же я все-таки здесь делаю.

Сзади раздался властный голос:

– Все быстро встали по тройкам!

Я обернулась и увидела мужчину в армейских ботинках, камуфляжных штанах и зеленой футболке.

– Это кто? – поинтересовалась я у Оксаны.

– Ты что, это же батя! А для тех, кто в бронепоезде, батя – это отец Михаил.

– Это он?!!!

– Челюсть с пола подними, а то грязь собираешь.

– Да... С ним явно не соскучишься... – шепнула я Оксане, все еще немного в шоке.

– Все встали по трое, – повторил тем временем отец Михаил. Мы закинули на плечо рюкзаки и покорно встали в тройку с каким-то мальчиком. Священник ушел вперед, во главу колонны, и повел нас по улице. Наконец сельские дома остались позади, мы перешли дорогу и оказались около речки, поросшей неизвестной травой. Хотя больше она была похожа на узенькое болотце. И, что странно, симпатии как-то не вызывала.

– Кто готов пойти вброд? – громко спросил отец Михаил. Какие-то смельчаки подняли руки. Мы с Оксаной нервно засмеялись, надеясь, что это шутка.

– Ну что, пошли? – произнес тем временем отец Михаил. Мы панически переглянулись. Весело каникулы начинаются! Права была я в своих убеждениях – к словосочетанию «детский лагерь» нужно прибавлять приставку «конц».

– Внимание, я пошутил.

Я с облегчением выдохнула, и мы двинулись мимо речки

– Какое счастье, – усмехнулась я.

С двух сторон тянулись высокие кусты, высоко в синеве неба падало солнце, пели птицы. Настоящая загородная природа, не испорченная еще присутствием человека! Тропинка завела нас в лес, а я некстати вспомнила последние городские байки про маньяка, который прячется в лесу. Отгоняла ненужные мысли одним аргументом: тут люди. Много. И идут они рядом.

Но и тайга когда-нибудь должна, по идее, кончиться. Вот и мы вышли из бора на большую поляну. Оказалось, что нас ждут. Впереди стояли какие-то девочки с воздушными шариками. Вожатые?..

Я огляделась. В голове снова мелькнула мысль: «Господи, и что я здесь делаю? спасаюсь от своих родителей...».

Я, дитя города, стояла в ступоре. От вида огромных армейских палаток, большого футбольного поля, волейбольного поменьше, речки и маленького деревянного здания неизвестного назначения у меня задержался глаз. Добили виднеющиеся вдалеке деревянные туалеты. К нам подошла незнакомая девушка. Сначала я приняла ее за еще одну жертву лагерного режима, но, когда она заговорила, до меня дошло, что это все-таки вожатая.

– Вы тут впервые?

Не в силах говорить, мы кивнули.

– В шоке? – улыбнулась она. – Ну ничего, скоро вы поймете, как мало нужно человеку для счастья. Если что, меня зовут Настя.

– Лагерь, на поляну!

Нас всех, а это примерно 90 человек, собрали на футбольном поле.

– Разделитесь на группы по два человека и подойдите к любым вожатым за заданиями.

Я беспокойно оглядывалась по сторонам.

Где же Оксана? Не одной же мне задание выполнять! Но тут подруга уже ко мне подбежала с листочком в руках.

«Какой рост у Севы?» – гласила надпись на нем.

– И кто такой этот Сева? – воскликнули мы в один голос. Кто-то посоветовал нам бежать на вожатский. В ответ на наш непонимающий взгляд нам было показано то направление, откуда мы пришли в лагерь. Сказали, что мы увидим кострище, и Севу нужно спросить там. Мы сломя голову понеслись туда. Запыхавшаяся, я подбежала к отцу Михаилу, который как раз оказался там.

– Кто такой Сева? – спросила я.

Он чуть-чуть подумал, а потом произнес:

– Пятьдесят приседаний.

– Что?

– То, что слышали. Я скажу, где Сева, если вы присядете.

Моя гордость сначала взбунтовалась, захотелось все бросить и уйти. Но, поняв, как глупо это будет смотреться, я подчинилась. Воспользовавшись тем, что он не сказал присесть по 50, мы сделали по 25. Хотя это будет по-моему. После окончания нашей экзекуции отец Михаил крикнул кому-то:

– Ваня, где Сева?

На радостях мы побежали к Ване. Тут нас тоже подстерегал сюрприз.

– 30 приседаний.

Еще по пятнадцать...

– Сева! – заорал Ваня.

И тут из палатки вылезает дяденька метра так под два. На всех парусах я подлетела к нему.

– Вы Сева? Какой у вас рост?

– Ну что с вами делать... по тридцать приседаний каждая.

Мы дружно застонали. Но пришлось подчиниться.

– Мой рост, – торжественно объявил Сева после того, как мы с трудом поднялись на ноги, борясь с желанием сесть и дрожью в коленках, – 189 см.

Мы кое-как побежали обратно, доковыляли до вожатой и протянули ей бумажку с ответом. Тут к нам присоединились еще двое.

– Теперь вы команда, – улыбнулась девушка.

Постепенно нас становилось все больше, народ прибывал.

– Стоп-игра! – объявила вожатая.

– Ну и что теперь? – поинтересовалась я.

– Теперь? Теперь вы отряд, а мы вожатые, – сказала только что подошедшая девушка, – меня зовут Юля, а это Катя. Наш отряд – второй.

В первую ночь в лагере поспать нам не удалось. Действительно, ну какой человек будет спать на новом месте, где притом еще и двадцать не-

знакомых под боком шумят, греются и поднимают себе настроение. В общем, каждый сходит с ума как может. А если честно, нам просто было ХОЛОДНО! Мы с Оксаной прижались друг к другу как можно ближе и начали понимать, что зря взяли одно одеяло на двоих. Было ощущение, что во внешнем мире, то есть вне одеяла, температура под минус двадцать. И вообще непонятно, как мальчики-дежурные еще не умерли или хотя бы не превратились в сосульки.

А в полшестого утра какой-то «умник» начал колоть дрова. Я, конечно, все понимаю, холодно всем, согреваются люди разными способами, но это уже чересчур.

Утром нас, холодных и голодных, пустили помогать поварам при условии, что мы не съедим все припасы кухни. Выбежали из палатки в свитерах, постояли секунд пять и на крейсерской скорости понеслись за теплыми куртками. Умылись потом очень холодной водой. В умывальнике к тому же еще и какая-то фигня плавала. Что, из речки набрали?!

Мы кидали-кидали голодные взгляды на повара, не выдержали и подошли к нему.

– Доброе утро! Мы помогать, – сказала я.

– А-а... – протянул повар, – ну идите чистить картошку.

Мы переглянулись. Странно, тут что, еще и работать нужно?

– Эх, была не была! – я присела на корточки возле большого мешка, наполовину набитого картошкой. И удивилась сама себе. Что-то нутро не собирается поднимать бунт на корабле.

– Это что, все почистить надо?! – истерически воскликнула Оксана.

– Ага, – беззаботно произнес повар, – это еще мало, всего на суп, а вот если картошку на гарнир давать... там целый мешок будет.

– Так что нам еще повезло, – съехидничала я.

Но через полчаса мне пришлось прервать занятие, потому как я порезала палец. Ну а кто ж виноват, что мама за все годы моей жизни даже картошку чистить не научила?! Я пошла искать в своей сумке пластырь.

В палатку залетела Оксана.

– Приехали твои родители, – сообщила она траурным голосом. Только похоронного марша не хватает! И добавила: – Похоже, они построены воинственно.

Я застонала. Мне так не хотелось возвращаться домой! Если они тут, то мне тут делать больше нечего.

– Пожалуйста, – жалобно сказала я, – попроси отца Михаила, чтобы он с ними поговорил. Уж его-то они должны послушать. Я домой не поеду! И вообще видаться с ними не буду! Тут останусь. Должны же они когда-нибудь уехать!

Но любопытство все-таки пересилило. Минут через пятнадцать я рискнула высунуть нос из палатки и проверить ситуацию.

Вдалеке я увидела своих родителей. Они стояли и разговаривали с отцом Михаилом. Могу поклясться, что я видела улыбки на их лицах. Да и разговор, судя по всему, носил вполне мирный характер. Решив не испытывать судьбу, я юркнула обратно в палатку, куда как раз вернулась Оксана.

– Вроде все довольно мирно, громить лагерь и вызывать наряд ОМО. На они не собираются, – пожала плечами подруга в ответ на немой вопрос в моих глазах.

Через полчаса отец Михаил зашел в нашу палатку.

– Я поговорил с твоими родителями. Почему ты мне не сказала, что сбежала из дома?

– А вы бы меня тогда взяли в лагерь?

– Нет, конечно.

– Вы сами дали ответ на свой вопрос, – рассмеялась я, – а что, они еще здесь?

– Нет. Уехали пять минут назад.

– Как? И даже не захотели промыть мне мозги на тему уважения к старшим? – съязвила я.

– Они тебя любят. Они хотят, чтобы ты была воспитана правильно, просто не могут выразить это иначе, чем строгостью, – заметил отец Михаил и вышел.

– Да, если Бог есть, то он на моей стороне, – тихо сказала я себе под нос.

Думая о событиях прошедшего дня, на вечерней молитве, что оказалось обязательным мероприятием для всех, я про себя несколько раз повторила: «Спасибо, спасибо, спасибо!».

– Значит, так, – произнес отец Михаил на следующий день на утренней линейке, – я посмотрел на количество бычков в туалетах и понял, что мальчики, а их семьдесят, курят меньше девочек, а их двадцать.

Все удивленно переглянулись. Кто ждал такого поворота событий? Что, и тут будет, как у меня дома?

– Я все понимаю, поэтому просто говорю вам: подойдите ко мне и один на один признайтесь. В противном случае тех курящих, кого увижу, выгоню из лагеря лично. И не надейтесь, что родители не узнают.

Через несколько часов всех снова собрали на поляне. Отец Михаил объяснил, что на границе с живой природой оборудовали курилку. Теперь все было вполне легально.

Но через несколько дней кто-то из вожатых заметил, что курильщиков стало гораздо меньше. Тут я кое-что поняла. Запретный плод сладок.

А утром следующего дня за завтраком я услышала гениальную фразу, сказанную подругой:

– Слушай, поехали сюда и на следующий год, а?

Я обещала подумать, ведь мне начинало здесь нравиться.

Все было бы хорошо, если бы не одна напасть. Отец Михаил дал моим родителям номер своего мобильного, и у них появилась возможность меня донимать по телефону. И вот однажды я вышла из себя.

– Мама! Не надо приезжать! Меня хорошо кормят, я не голодаю. И забирать не надо! Не соскучилась я по дому. Точно. Абсолютно. Мне нужно идти. Зовут. Ты и так все деньги на телефоне потратила. Хватит звонить! Каждый день по сто раз. Надоело! Пока.

Рядом со мной на скамейку в трапезной села девочка.

– Как же они меня достали... – пробормотала я.

– Кто? – заинтересованно спросила она.

– Родители. Постоянно меня контролируют, шагу спокойно ступить не дают! Да лучше б их вообще не было! – вырвалось у меня.

– Мне бы хоть каких-нибудь, – тихо произнесла девочка.

– В смысле?

– Я из детского дома. Моих родителей лишили родительских прав. Я не знаю, где они сейчас. Мы уже восемь лет не виделись.

Я притихла. Ну что тут скажешь?

И вдруг в голову пришла ошеломляющая мысль: «А как это, без родителей?».

День за днем пролетал сезон. Вроде все было хорошо. И в волейбол играли, так радуясь победам и огорчаясь из-за поражений. С иностранцами заезжими познакомились, которым долго объясняли русские традиции. Картошку чистили весь сезон, конкурсы веселые проводили, мероприятия готовили. На молитвы ходили. И проводили «огоньки», на которых плакали и смеялись все вместе, и дежурили, на костре ночью сидели, и проводили дискотеки. Знакомились, общались, ссорились, мирились, спорили. Здесь я нашла новых замечательных друзей. Жизнь кипела. Но... однажды я поняла, что чего-то не хватает. Только вот чего?

Какое-то время смутное чувство скребло мне душу, и наконец я сообразила! Уже три дня, как мне не звонили родители, не донимали меня дурацкими советами, не требовали вернуться домой. Здесь что-то не так.

Изображая равнодушие, я подошла к отцу Михаилу и вскользь спросила о родителях. Священник загадочно улыбнулся и протянул мне свой телефон: звони, мол. Я набрала номер. Руки немного дрожали. Я прижала трубку к уху и стала ждать. Гудок, второй, третий. Наконец слышался взволнованный мамин голос:

– Да. Отец Михаил, что случилось?

От волнения я сначала не нашлась, что ответить, а потом произнесла, что первое пришло в голову:

– Мама... я тебя люблю.

Несмотря на то, что мне очень этого не хотелось, но день закрытия приблизился все-таки слишком быстро.

Я решила не грустить, хотя и вплотную приблизилось то время, когда дети расстаются друг с другом, и возможно, навсегда... Я подошла к отцу Михаилу:

– А есть свободные путевки на второй сезон?

– Для тебя – точно найдется, – заверил меня он.

Я подумала, что теперь нет причины для грусти.

Закрытие прошло «на ура!». На финальной песне вожатых многие плакали. Но меня ждал впереди второй сезон.

... Мы стояли около храма все вместе. Такого никогда не было раньше. Папа придерживал рукой старый дорожный рюкзак. А я просто светила.

Подошел отец Михаил, пожал руку отцу, поприветствовал маму, и они ушли в церковь, оживленно о чем-то разговаривая. Я расслышала только два слова мамы: «Спасибо вам».

Они долго не возвращались, а я сначала здоровалась со знакомыми, а потом бегала и просила всех затащить в автобус мой рюкзак.

Наконец наступило время отправления. Родители вдруг возникли непонятно откуда.

– Ладно, дочь, удачи тебе, – мама нелепо перекрестила меня, благословляя. Потом обняла.

Папа тоже обнял и засунул мне в карман небольшой сверток.

– Откроешь в автобусе. Иди.

Я махала родителям из автобуса, они улыбались мне, стоя снаружи. Мама вдруг протянула руку к стеклу и нарисовала пальцем сердечко.

Через несколько минут я вспомнила про вещь в кармане.

Сорвала бумагу и долго разглядывала маленькую икону-книжку. Вот это да! У меня самые лучшие родители!

Лариса Мареева

УРОДЦЫ

Пролог

Лет шестнадцати я догадалась, что во мне есть какое-то уродство. Поначалу я, правда, полагала, что это талант. Потом, разочаровавшись, надеялась, что, быть может, я смертельно больна. Но потом поняла, что это всего-навсего уродство.

Мне сказали, что надо как-то учиться с этим жить. Неумело, непутёво я училась жить со своим уродством.

А ещё я всё-таки выучилась на врача. Все думали, что я хотела помогать людям, но единственное моё желание было – понять собственное уродство.

Узнав о своём уродстве, я тут же обнаружила его и у близкой своей подруги.

– Ты уродец, – сказала я ей. – В тебе есть уродство.

После этого я получила над ней совершенную власть. А вскоре она стала моей ассистенткой.

Внутри у неё был домик для ветра, и это было её уродством. Но она знала об этом домике только с моих слов и полностью мне доверилась. Звали её Христиной.

Мы с ней много путешествовали по свету и встречали много уродцев. У одного человека при рождении была из глаз ампутирована мысль. У другой девушки было горе вместо косы. Мы хотели помочь ей, но она заплакала, распустила свою заплетённую беду, и мы увидели, как это красиво, и не стали ей помогать.

1. Дорога на Тальпехор

Однажды мы встретили двоих детей – странного мальчика в большой шляпе и красивую девочку, которые, взявшись за руки, грустно бре-

ли по дороге. Мы спросили их, кто они и куда идут совсем одни. И они рассказали нам удивительную историю. Рассказывала сначала одна девочка, а мальчик, как будто не слыша, апатично смотрел в землю:

«Среди детей издавна ходит страшная легенда, гласящая, что все они когда-нибудь вырастут и станут взрослыми. Легенда эта нигде не записана и передаётся только от одного ребёнка к другому, причём на ухо и шёпотом. Но дети никогда в это не верили.

Нам её рассказал как-то Олехандро. Все у нас говорили про него: «Странный человек этот Олехандро». Если бы у нас когда-нибудь видели взрослых, то, может быть, решили бы, что он взрослый. Но он не был взрослым. Однако и нормальным ребёнком его тоже нельзя было считать. В общем, все у нас говорили, что чёрт знает, что с ним не так, с этим Олехандро. А уж когда он нам принимался рассказывать истории, все смеялись, думали – врёт.

Однажды, когда его попросили в очередной раз рассказать какую-нибудь страшную историю, какая-то девочка сказала:

– Помнишь, ты что-то упоминал про демографический кризис? Расскажи, что это за страшилка.

Олехандро долго отказывался, но все поддержали девочку, и он неохотно сказал:

– Это значит, что дети больше не будут рождаться, а все, которые были, вырастут и станут взрослыми и...

– погоди, – нахмурился кто-то. – Как так вырастут? Хорош заливать.

– Ну, вырастут и вырастут. Обыкновенно, – ещё более неохотно ответил Олехандро, и больше из него в тот день никто и словечка не выдавил. Да и не поверил ему никто: помнили, как конца света ждали. И уж слишком это казалось невероятным.

Поэтому, когда всё это началось, поначалу никто ничего не понял.

Просто однажды к Доктору пришли две девочки: их звали Косица и Повариха, прозванная Поварихой за то, что была неподражаема в искусстве выпекания песчаных куличиков. Повариха пожаловалась Доктору на Косицу и сказала, что та ведёт себя как-то странно. Доктор, сторонник альтернативной медицины, славился тем, что все болезни всегда лечил конфетами, и ужасно гордился тем, что за всю свою врачебную практику не знал ни одного поражения: конфеты всегда помогали. Однако тут он вдруг заинтересовался и спросил, что же такого странного делает Косица.

– Да девчонки нашли вчера в песочнице яйцо динозавра и хотели его греть и высиживать, и баюкать, и в одеяло кутать, а она стала кричать, что никакое это не яйцо динозавра, а просто камень... – объяснила Повариха.

– Ну что ж, ясно... – сказал удивлённый Доктор, которому вообще ничего не было ясно.

Он принялся осматривать Косицу и пришёл к выводу, что она здорова.

– А ещё, – продолжала Повариха, – я обратила внимание на то, что она стала по-другому улыбаться. Вы видите, Доктор? Прямо кисло-

сладкий соус, я уж думала, не подать ли как-нибудь обед под её улыбкой. Получилась бы китайская кухня.

Доктор присмотрелся повнимательнее: Косица и впрямь улыбалась очень странно: как-то ядовито.

– Кисла... – подтвердил он, а потом спросил неуверенно: – Конфетами пробовали?

– Все домашние средства, – кивнула Повариха, а потом удручённо покачала головой:

– Плюётся!

У Доктора очки на лоб полезли:

– Плюётся? Конфетами?

– Ну да, – подтвердила Повариха, а потом шёпотом добавила: – Говорит, мол, если считаете, что я серьёзно больна, дайте мне нормальных лекарств.

– Нормальных лекарств? – переспросил Доктор. – Плохи же её дела.

Он походил немного по своему кабинету, рассеянно принял дозу успокоительного – две ириски и столовую ложку варенья – и тут его осенило:

– Всё ясно! – резюмировал он. – Она просто отравилась улыбкой.

– И что же делать? – спросила Повариха, которую очень беспокоила участь подруги.

– Надо обратиться к Аптекарю. Он поможет сцедить яд, – подумав, ответил Доктор и побежал за Аптекарем, который был, по совместительству ещё и кондитером: продавал больным прописанные Доктором конфеты.

Аптекарь был сначала ужасно удивлён, но с готовностью согласился помочь.

– Тут нужно сначала понять, из-за чего всё так получилось, – глубокомысленно произнёс он, осмотрев Косицу. – У меня есть одно предположение: может быть, она грустила о чём-нибудь, долго грустила, и улыбка у неё на губах умерла? Ну, умерла и протухла? То есть разложилась. То есть мы имеем дело с трупным ядом. В общем-то, мне кажется, я знаю способ сцедить такой яд. Следует сделать так, чтобы она долго смеялась. Так сказать, пустить ей смех. Тогда плохая улыбка сойдёт с её губ, и родится новая, хорошая.

Повариха и Доктор восхитились этой идее, и они все вместе принялись смешить Косицу, дурачась и показывая ей разные смешные штуки. Но Косица почему-то не смеялась, а скучала.

– Плохо дело, – сказал, в конце концов, Аптекарь, сдаваясь. – Как бы мы не сделали хуже. Если она будет и дальше так скучать, то улыбка будет разлагаться и протухать всё сильнее и сильнее, и трупный яд будет отравлять её всё больше и больше...

– Коллега, – вдруг сказал ему, нахмурившись, Доктор. – Можно вас на пару слов?

– Разумеется, – ответил Аптекарь, и они вышли. Доктор, кусая губы, сказал:

– Я, конечно, не могу быть уверен, но... Помнишь, что рассказывал Олехандро? Быть может, она начинает взрослеть?..

– Вы спятили! – взорвался Аптекарь. – Предположить такое! Вы хоть и сторонник альтернативной медицины, но всё-таки учёный! А это, в конце концов, просто антинаучно. Ребёнок не может вдруг ни с того ни с сего начать взрослеть!

– Я просто подумал, что, может быть, это так проявляется, – сухо заметил Доктор.

– Чушь! – уверенно заявил Аптекарь.

– Как знаете, – пожал плечами Доктор.

Они оба вернулись к Поварихе и Косице, и Аптекарь вымученно произнёс:

– Мы с коллегой пришли к заключению, что каких-либо дополнительных мер не требуется... Это само пройдёт.

Но само это не прошло. Косице, что ни день, становилось всё хуже и хуже. Уже все стали замечать, что с ней что-то происходит. Она стала сама не своя: раздражалась, злилась. Однажды девочки, подобрав на улице котёнка, принесли ей его поиграть и утешиться, но она закричала, что в жизни к нему не прикоснётся, потому что он блохастый. И никакие логические доводы девочек о том, что такой хорошенький котёнок просто не может быть блохастым, на неё не подействовали. Тут уж все решили, что Косица опасна для общества, стали поговаривать о странных симптомах. Наконец, обо всём этом услышал Олехандро и тут же примчался поглядеть на Косицу.

– Говорите, стала гадко улыбаться? – недобро спросил он, заглядывая Косице прямо в лицо, а потом обратился к Поварихе: – Вы ведь Повариха? Вы-то как могли не догадаться? Это у неё молоко на губах свернулось. Скоро оно вообще высохнет, то есть обсохнет, и тогда... – сказал он мрачно и значительно, – она окончательно вырастет.

– И... и что же делать? – растерянно спросили его.

Он поморщился. Тогда-то мы впервые и услышали про Тальпехор – легендарное место, куда все взрослеющие дети должны идти умирать. И по мере того, как Олехандро рассказывал о нём, всем начинало вдруг казаться, что они уже когда-то слышали об этом месте и всегда о нём знали. Откуда взялось это чувство, никто сказать не мог, но в этот раз Олехандро просто не посмели обвинить во лжи.

– Ты должна уйти в Тальпехор, – сурово сказал кто-то Косице, и она принялась громко плакать от ужаса...

Тут мальчик, который, как мы поняли по нескольким взглядам, брошенным на него девочкой, и был тем самым Олехандро, словно ожил. Глаза его загорелись, и он, перебив девочку, продолжил рассказ:

«И тут из толпы детей вышла Матильда – самая... самая красивая из всех девчонок, – он кивнул на свою спутницу, – и сказала громко:

– Да вы с ума сошли! Это же наша Косица! Как она могла повзрослеть вдруг ни с того ни с сего? Куда вы её хотите прогнать?

Кто-то неуверенно поддержал её из толпы, что Косица пока никому ничего плохого не сделала, и её решено было оставить с испытательным сроком.

Однако очень скоро она сказала одному мальчику, которому Доктор прописал от зубной боли конфет, что от сладкого зубы у него будут бо-

леть ещё сильнее. Тогда уже все решили, что ей больше нельзя оставаться с нами, и её прогнали: не помогло даже Матильдино заступничество. Косица очень плакала и просила кого-нибудь пойти с ней, но никто не решился: всем неизвестный Тальпехор внушал безотчётный ужас.

Избавившись от Косицы, все вздохнули спокойно, но не тут-то было. Вскоре заболел Архитектор – очень талантливый мальчик, возводивший чудесные города и замки из песка. Однажды он разрушил свои постройки и, зло топча их ногами, кричал, что хочет построить настоящие дома из камня и бетона. Он так и сказал: настоящие.

И снова история повторилась: Архитектора хотели прогнать, но Матильда заступилась за него, и его пока оставили. На Архитекторе лица не было от страха, он ходил ни жив, ни мёртв, словно его подстрелили в игре в войнушку. Все это замечали, но спускали до поры до времени. Но скоро все убедились в том, что он явно болен – больше не могло быть никаких сомнений.

Прогнали и Архитектора в Тальпехор. И снова никто не пошёл с ним...».

Мальчик к концу речи говорил всё медленнее, а потом и вовсе умолк. Матильда, бросив на него беспокойный взгляд, продолжила:

«С тех пор не стало нам спокойной жизни. За Косицей и Архитектором последовали другие, много других. Взросление невозможно было скрыть: оно обнаруживалось немедленно. Доктор отказывался выходить к пациентам, даже к тем, у кого просто голова болела, а уж тем более к взрослеющим, их он вообще боялся, как огня. Он всем объявил, что это заразно, и теперь тех, кто обнаруживал в себе малейшие признаки взросления, немедленно отправляли в Тальпехор. Меня никто не слушал.

Все мы очень боялись и каждую минуту со страхом искали в себе признаки взросления, как люди в зачумлённом городе ищут на себе чумные пятна».

Тут она осеклась и вновь взглянула на Олександро. Он кивнул и продолжил историю:

«А потом это случилось с Матильдой. Все давно уже заметили, что она ходит какая-то тихая и грустная, но все думали, что ей просто жаль тех взрослеющих детей, которые ушли в Тальпехор умирать. Но однажды случилось вот что. Был среди нас один такой мальчик, по прозвищу Геркулес, который славился своей храбростью, силой и иногда от нечего делать совершал подвиги. У него набралось уже целых семь подвигов, и вот, в обстановке всеобщего смятения, он задумал совершить восьмой. Он решил, что проведёт всю ночь в тёмном шкафу с призраками и чудовищами. И провёл. Наутро все чествовали его как героя, и одна только Матильда громко засмеялась и сказала, что все дураки, а Геркулес – во все никакой не герой.

– Подумаешь, – сказала она, – ночь в шкафу! Какие монстры? Это же шкаф! Просто шкаф!

– Ничего себе, – обиделся Геркулес. – Ты даже не представляешь себе, какие ужасы я пережил. И, между прочим, в кармане твоего пальто, оказывается, живёт такая монстрячая гадость...

Матильда оглушительно фыркнула. Геркулес ещё хуже оскорбился

и важно сказал, что он, как тот Геркулес, которого называли в его честь, совершит двенадцать подвигов.

– Так тот-то был настоящий Геркулес! – возразила Матильда. – Он вычистил конюшни, добыл золотые яблоки... А ты что? Это же надо думать такую глупость! Монстры в шкафу! Какой ты Геркулес! Ты даже на овсянку не тянешь!

Никто не засмеялся, все мрачно переглядывались.

– Так что, – спросил кто-то у Матильды. – В шкафу чудовищ нет?

– Нет! – фыркнула Матильда убеждённо.

– В Тальпехор её! – решили все.

Вокруг Матильды уже собралась целая толпа, но Матильда не плакала, как другие, а только стояла какая-то потерянная. Никто не сказал, чтобы её оставили, что это же наша Матильда, что она не могла просто взять и повзрослеть.

Матильда, преодолевая гордость, тихо попросила:

– Кто-нибудь, пойдёте со мной? Нет, даже не так... Разве вам не надоело выгонять всех в Тальпехор? Пойдёмте все вместе и выясним, что это такое.

– Почему же, – язвительно спросил кто-то, – ты не пошла ни с кем из тех, кто ушёл раньше?.. Они ведь тоже очень боялись!

В этом месте мы заметили, что Матильда беззвучно плачет. Олехандро, бросая на неё обеспокоенные взгляды, продолжал:

«Я протиснулся сквозь толпу и сказал:

– Она права. Подумайте, ведь вы, видя, как взрослеют дети рядом с вами, будете постепенно выгонять и выгонять их в Тальпехор, пока не останется кто-то один... Но этому одному, который, в конце концов, останется... Кто ему сможет сказать, что он повзрослел? Кто сможет выгнать его в Тальпехор?

Все в смущении меня слушали.

– И вообще... Кто вам сказал, что детей вообще нужно туда выгонять? – спросил я. Тут уже кто-то не выдержал и закричал:

– Да ты! Ты же сам нам это сказал!

– Но вы же не верили мне, – пожал я плечами, – когда я рассказывал другие истории.

– Всё равно, – нахмурился кто-то. – Тальпехор – другое дело. Мы и сами знали про это, мы знаем, что это правда. И вообще: почему ты говоришь это только сейчас? Почему не сказал, когда мы отправляли в Тальпехор всех других?

Я очень смутился. Они намекали, что я влюблён в Матильду. И я сказал, что я пойду с ней.

– Куда? – поразились все. – В Тальпехор? Ты что, дурак? Ты же не болен? Ты же не взрослеешь?

А я сказал, что всё равно пойду. Все принялись уговаривать меня, но я, никого не слушая, схватил Матильду за руку и потащил её за собой.

Олехандро замолчал, переводя дыхание, и Матильда, улыбнувшись, приняла эстафету:

«Он потащил меня куда-то за собой, однако очень скоро, едва успев

исчезнуть из поля зрения всех детей, он пошёл медленнее, а потом и вообще остановился, с ужасом глядя вперёд, потом сел на землю и сказал:

– Нет... я не могу идти...

– Что? – растерялась я. – Но ты же сказал, что пойдёшь? Или ты только для других сказал?

Я очень боялась, что он бросит меня одну.

– Нет. Просто я думал... Подожди. Сядь, – попросил он меня, и я опустилась рядом с ним на траву. – Ты слышала, что я говорил о том, что, в конце концов, останется кто-то один, который, выгнав всех в Тальпехор, не будет знать, что он вырастет? Так было со мной. Там, где я жил, тоже сначала никто не знал ничего ни о взрослости, ни о Тальпехоре, а потом, когда это вдруг началось, все вдруг узнали... Никто никогда, разумеется, не видел Тальпехора, или даже тех, кто хоть одним глазом его видел: те, кто уходил туда, никогда не возвращались. И никто даже не мог точно сказать, откуда он знает про Тальпехор: все просто знали – и всё... И у нас тоже постепенно стали выгонять детей, одного за другим. И, в конце концов, остались только я и мой лучший друг. Но однажды, когда мы с ним вдвоём играли в войнушку, и я направил ему в грудь ружьё и готовился выстрелить, он стоял прямо, даже не пытаясь спрятаться, и смеялся. Я восхитился его смелости, а он сказал, что ему нет никакого смысла прятаться, потому что палка никогда не выстрелит... Я всё понял и прогнал его в Тальпехор, как остальных. И остался один. Я был один много-много дней, и всё это время думал, что теперь мне некому сказать, вырасту я или нет, и некому прогнать меня в Тальпехор. Мне было одиноко, и я очень страдал. И мне стало так невыносимо, что я решил, что пойду в Тальпехор... Куда идти, я не знал, но ведь и никто не знал. Никто из тех, которые уходили... Поэтому я просто пошёл... Ты не представляешь, какие ужасы я видел на этой дороге... Я никогда, никогда больше не хочу этого видеть!

– Так вот откуда все эти твои страшные сказки? – спросила я.

– Да, да... Но я вам рассказывал только совсем немного...

Но возвращаться нам было нельзя, и я принялась просить Олехандро не оставлять меня, а пойти со мной.

– Мы не пойдём в Тальпехор, – решительно сказала я. – Мы свернём на первом же повороте.

– Но ведь никто не знает, какая дорога ведёт на Тальпехор, – возразил он, – это может оказаться любая дорога, в том числе та, на которую мы свернём. Если бы так легко было избежать Тальпехора, туда бы, конечно, никто не пошёл. Но нам никуда не скрыться от Тальпехора: куда бы мы ни пошли, мы придём туда. Все дороги, в конечном счете, ведут на Тальпехор.

Но всё-таки он поднялся с земли и, взявшись за руки, чтобы было не так страшно и не так одиноко, мы продолжили путь.

Тут-то вы нас и встретили», – заключила она.

– Как интересно, – сказала я, выслушав этот рассказ. – Вы знаете, я ведь специалист по уродствам. И что-то во всём этом есть... в этом взрослении... Думаю, вам нужно принять его в себе как своё внутреннее уродство. Как я приняла своё.

– А какое у тебя уродство? – спросила Матильда.

Я сделала вид, что не услышала вопрос, и быстро сказала:

– Пойдёмте вместе. Меня заинтересовал этот Тальпехор. Думаю, я смогу изучить там эту разновидность уродства как следует. Взросление: надо же!

2. Госпиталь

Мы шли довольно долго, пока Олехандро не заметил возле дороги знак, на котором было написано: «Осторожно! Бродячие родители!». Мы не обратили на него внимания и шли дальше. И вдруг на нас в лесу налетела целая стая этих родителей, схватила нас и потащила к своему поселению... Мы видели много, много несчастных детей. Их страшно мучили. Например, там был один мальчик, который рисовал пятиногих котов. Взрослые, увидев это, страшно озлились и стали отбирать у него рисунки, не давая рисовать пятиногих котов, принесли книжки о животных, тыкали мальчика носом в рисунки котов, принесли настоящего кота и заставили считать ему ноги, потом поставили перед ним чашку и заставили рисовать чашку...

Видя всё это, Матильда и моя подруга Христина испуганно плакали, а я качала головой, думая о том, что в этом месте из детей специально делают уродцев чёрт знает зачем.

Я уже не могла уйти оттуда. Когда остальные предложили мне бежать, я отказалась. Место это казалось мне неисчерпаемым колодезем разных извращений, изъянов и уродств. Уйти отсюда было выше моих сил. Учёный во мне восстал против этого.

Все решили остаться вместе со мной. Мы организовали госпиталь для больных детей. У нас отлёживались те, кто был совсем плох; мы делали перевязки и вообще всё, что нужно, пока они не выздоравливали, а потом возвращали их на новые мучения.

Однажды мы стали свидетелями жесточайшей публичной пытки. Бродячие родители согнали всех детей на одну поляну, а посреди поляны посадили фокусника. Дети обрадовались было, что мучения их закончены, что родители сжалились над ними и хотят немного повеселить их и поэтому попросили фокусника показать им чудеса. Но не тут-то было. Фокусник показывал фокус, например, доставал из своей большой шляпы кролика, или выпускал из ладони голубей, или тянул из рукава бесконечные шарфы... Но, показав фокус, объяснял, как он это делает. И дети узнали про все эти отвратительные вещи: про двойное дно в шляпе, про всякие потайные внутренние карманы, про лишние фишки в том фокусе, когда фишки как бы просачиваются сквозь стакан, про то, что летающие предметы на самом деле привязаны верёвками, и много ещё про что. И с каждым фокусом они разочаровывались и переставали верить в волшебство.

Как-то к нам принесли малыша в истерике. Он бился, рыдал и вырывался. По его красному сморщенному лицу ручьями текли слёзы. Кое-как успокоив его, мы попытались выяснить, что с ним случилось.

– Они... они сказали мне... – задыхаясь и икая, начал он, – чтобы... чтобы я не закатывал глаза... а то... если мне дадут по голове... у меня

так и останется... а ещё! А ещё!.. Ляле они сказали, что... что если... она! будет! много! говорить!... то, если её стукнут, она заикаться начнёт... но никто... не сказал!... почему нас обязательно должны стукнуть!

И малыш снова зашёлся захлёбывающимся плачем; потрясённые, мы молча переглянулись. С подобным мы встретились ещё раз, когда к нам прибыл ребёнок в шапке. Родители пытались заставить его снять шапку, но он отказывался, плакал и убегал куда-нибудь. Мы спросили его, почему он наотрез отказывается расстаться с шапкой, несмотря на жару, и он ответил:

– Мне сказали, чтобы я не ел много сладкого, иначе у меня отвалятся уши. А я не могу не есть! Я надел шапку и ел. Много-много сладкого! Конфеты, печенья! Но теперь я не хочу её снимать! Я не хочу видеть, что у меня уши отвалились!..

Я была в бешенстве. Мне долго пришлось объяснять ребёнку, что родители ошиблись, что уши и желудок связаны лишь постольку, поскольку всё в организме человека связано, но отнюдь не до такой степени, чтобы они могли просто взять и отвалиться. Мне пришлось прочитать ему университетский курс анатомии только затем, чтобы убедить его в этом, и только потом, когда он уже знал её на уровне выпускника медицинского факультета, он признал мою правоту и всё-таки согласился снять шапку, хотя и не без внутренней дрожи. И первым делом он побежал к какой-то своей маленькой подружке, которой родители запрещали втягивать живот на том основании, что он может прилипнуть к спине, а спереди будут торчать кости, и объяснил ей, что это невозможно, оперируя новыми знаниями. И только потом он с чувством выполненного долга благополучно забыл всё, что я с таким трудом ему вдалбливала.

Однажды к нам поступила девочка – худая и замученная, с необычайным истощением всех сил. Она рассказала нам, что её, как и всех детей, бродячие родители поймали в лесу и ужасно над ней издевались.

– Они били тебя? Истязали? – с состраданием спросила её Матильда. – Ты, наверное, ходила вся в синяках и в царапинах.

– О нет, – печально улыбнулась девочка, – они умеют бить так, чтобы не оставалось следов. Снаружи. А внутри... Они нас так обижают, так издеваются над нами... Другие дети как-то со временем всё это забывают, причём довольно быстро, у них заживают внутренние раны, а у меня почему-то ничего не заживает. Кровь всё течёт и течёт и никак не останавливается. Я видела, какие ужасные вещи делают они с детьми – в ранки попала грязь, и у меня было заражение души.

Матильда обняла девочку, а я, заинтересовавшись, протянула:

– Душевные раны, говоришь, не закрываются? Интересно, интересно... душевная гемофилия! Я думала, что у женщин её почти не бывает! Только в единичных случаях.

– Не совсем так, – возразила девочка, – это обычной у женщин почти не бывает. Но душевной все могут болеть.

– Нет, не все! Это такое редкое и прекрасное уродство! – торжествующе возразила я. – Ты даже не знаешь, как тебе повезло!

– О нет, – возразила она. – Я очень несчастна из-за этого.

– Глупости, – пренебрежительно отозвалась я. – Если думать толь-

ко о себе, то конечно... Но на свете, в конце концов, есть вещи поважнее счастья.

– Например, уродства, не правда ли? – язвительно произнесла Матильда.

– Например, они, – невозмутимо отозвалась я.

Но как же поражена я была, через некоторое время признав в этой новой пациентке коллегу. У неё действительно постоянно душой шла кровь, но она относилась к тому редкому и глупому подвиду психологов-рыцарей, что нынче так мало встречается в природе. Везде она видела и примечала только страдания, но это не ожесточало её душу. Напротив, где бы она ни встретила чужой боли и мучений, неутомимо стремилась она облегчить и умерить их. А боль и мучения для неё были везде. Страдая сама и истекая кровью, захлёбываясь в боли, она считала, что и остальные так же мучаются, как она. Даже ожесточённость бродячих родителей казалась ей вполне объяснимой: она думала, что они так злы потому, что очень несчастны, и потому ловят и мучают чужих детей, что их собственные бросили их на произвол судьбы бродить по свету, и во всех детях им мерещатся лица их детей.

Совершенно покорённая её необычайным уродством, я не чувствовала в себе сил ни на мгновение расстаться с ним. Я следовала за ней по пятам, боясь пропустить малейшее проявление её уродства. Она, кажется, считала меня столь же сострадательной, как она сама, и прониклась ко мне симпатией, тем более что со мной она могла обсуждать столь любезную ей медицину. Правда, она не понимала, что я, как учёный до костного мозга, вижу в медицине всего лишь науку, область знания, тогда как девочка, больная душевной гемофилией, воспринимала её как наиболее эффективный способ дать больным облегчение.

Я, узнав её, поняла, что ничего не понимаю в медицине. Я волновалась, чувствуя себя на пороге знаменательных открытий, и упорно ломала голову над её уродством, измышляя самые разнообразные способы лечения. Одна из моих гипотез заключалась в том, что её боль следует воспринимать как некую опухоль, которую нужно удалить хирургическим путём, то есть попросту вырезать, но я очень быстро отказалась от неё. Однако на смену ей пришли другие.

– Как думаешь, – спросила я как-то Христину. – Может быть, мне попробовать гомеопатический принцип лечения подобного подобным.

Я пришла к выводу, что лечить её следует непременно болью.

Выслушав всё это, Христина заметила:

– Ты любишь её.

– Она – мой пациент, – возразила я живо.

А Матильда добавила ядовито:

– Она любит не её. Она влюблена без памяти в её уродство.

Христина покачала головой и ответила мне словами девочки, больной душевной гемофилией: «Любимых лечат сердценоложением».

Через некоторое время я пришла к выводу, что в душе этой больной, как и в теле, есть что-то вроде кругов кровообращения. Ей больно повсюду, и кровь несёт боль к сердцу от всего её тела, потом каким-то необъяснимым образом боль эта насыщается любовью – и обратно наполня-

ет и питает каждый её орган. Но из-за её болезни любовь всё сочится и сочится и никак не останавливается. Ей нельзя было ушибиться, ей нельзя было пораниться, иначе, как я подозревала, вся любовь должна была постепенно вытечь из неё. И чтобы избежать всего этого, она должна была сидеть на одном месте и беречься, а не бежать к каждому страдающему существу, принимая на себя чужую боль. Видя, что я всячески стараюсь найти предлог, чтобы не допустить пациентку к страдающим, Христина сказала мне:

– Неужели ты так и не поняла? Сердце её подобно дойной корове. Его нужно доить, им нужно любить. Постоянно, помногу, утром и вечером. А любви всё не убывает. И её слишком много. Куда ей было бы деть столько любви? Её гемофилия – не горе, а дар небес. Излишки любви покидают её организм, иначе бы она умерла от перенасыщения. А по страдающим она не зря бегает. Иначе бы её сочащаяся из ран любовь пропала зря. Ей пришлось бы любить просто в пустоту. Подумай, ведь когда молока много, его тоже некуда девать. Ну, в кашу там и вечером перед сном, а остальное? И приходится просто выливать, поливать им поля. А жалко же! Если бы она не была больна, её любимые бы не выдержали. Они бы сбежали – любви было бы слишком много. А она бы чувствовала, что сходит с ума, и что её сердце, если им продолжать и дальше не любить, взорвётся совсем.

Я понимала это умом, но у меня в душе всё переворачивалось, когда я видела, как она вся сплошь кровоточит. Но она сама как-то сказала мне: «Некоторые люди так больны! И из них любимые – самые больные. Но только иногда они почему-то не хотят лечиться, они хотят болеть. Они не позволяют мне накладывать сердце. Я бы хотела помочь всем, если бы могла, но в случае самых любимых всегда разбиваешься о стену боли».

Я знала, к чему она всё это говорит. Она хотела бы вылечить меня, как я хотела вылечить её. Но я отказалась от своих замыслов, и ей не дала себя исцелить. Когда она попыталась приложить к моим ранам сердце, из них потёк гной, и я так испугалась, что вырвалась и убежала от неё – баюкать и жалеть своё уродство. А она пришла ко мне и сказала торжественно: «Хорошо, я не буду тебя лечить. Я нарушу клятву Гиппократу, я позволю тебе причинять себе вред, ради самых любимых это можно. Я не досказала тебе. Некоторых людей я люблю так, что они – единственные, которым я, даже через собственную боль, позволю портить себе жизнь, позволю не лечиться. И не буду ничего делать и буду держать своё сердце подальше».

Но совсем ничего не делать она не могла. И ещё более рьяно взялась за всех остальных. Однажды она рассказала мне про Людоеда, который жил неподалёку от поселения бродячих родителей. Бродячие родители пугали им детей, чтобы те не думали убежать – иначе Людоед поймаёт их и съест.

– Он правда ест людей? – спросила я девочку, больную душевной гемофилией. – Это не очередная неумная страшилка?

– Нет, это правда, – ответила она. – Как думаешь, почему он это делает?

– Возможно, у него сознательно или подсознательно действуют какие-нибудь верования диких каннибалов. Например, если он съест мозг умного человека, то станет таким же умным.

– Не знаю, – покачала головой моя собеседница. – Это не очень похоже на правду. Мне кажется, он просто очень страдает.

– Страдает? – взвилась я. – И поэтому ест людей? Да у тебя все вокруг страдают!

– А разве это не так? – пожала она плечами. – Ему очень больно, наверное. Он хочет разрушить себя, и в каждом съеденном человеке он съедает себя, торжествует над своей болью.

Я не поверила девочке, больной душевной гемофилией. И лишь при личном знакомстве с Людоедом убедилась, что она была не так уж неправва. Людоед действительно оказался несчастнейшим и страдающим существом. У него обнаружилось страшное уродство. Внутри у него была чёрная дыра, которая стремилась затянуть в себя всё вокруг. Личность Людоеда была уже практически разрушена. Чёрная дыра разъедала его изнутри, она высосала из него уже всю боль, которую могла, и Людоед подкармливал свою чёрную дыру за счёт других людей, топил её в чужой боли. От этого она, конечно, только разрасталась, пожирая Людоеда и требуя всё новых и новых жертв.

Я довольно быстро поняла, что не смогу это вылечить, но девочка, больная душевной гемофилией, взяла себе за правило довольно часто бывать у Людоеда. Это было сродни благотворительным посещениям. Она отдавала его чёрной дыре всё, что могла, она всё-таки была неистощимый родник любви и боли, но никто из нас не знал, что делать с этим дальше. Если бы Людоед мог, он бы полюбил её, но он не мог.

Среди своих пациентов того времени не могу не вспомнить ещё Молчунью. Её привела мне девочка, больная душевной гемофилией, и сказала, что я должна её посмотреть. При этом вид у неё был торжествующий и счастливый, как будто она дарит мне подарок – такой вид у неё был всегда, когда она находила для меня новые любопытные уродства.

Проблема Молчуньи была в том, что она презирала людей и никак не могла полюбить. А ещё она считала Христину счастливой и мечтала радоваться жизни, как она. Не то чтобы она и правда была счастлива, просто Молчунья всегда была так серьёзна и мрачна, что Христину в её присутствии всегда так и подмывало показывать ей, как легко и безмятежно у неё на душе. К тому же у неё было уродство в виде домика для ветра внутри.

Христина была моей ассистенткой, и я делилась с ней своими медицинскими наблюдениями.

– Почему она презирает людей, если их не знает? – размышляла я вслух. Христина отвечала, что и правда обратила внимание на то, что у Молчуньи это презрение сочетается с крайней неопытностью и наивностью.

– Это странно, – строго сказала я. – И она не имеет на это права.

Мы недолго молчали, а потом я сказала:

– Ей бы влюбиться. И пусть её сделают счастливой. Или бросят хотя бы, разобьют сердце.

– Зачем? – удивилась Христина. – Чтобы она имела право на презрение?

– Не только, – усмехнулась я. – Она просто что-то совсем неразвита. Меня от её пустого ума уже тошнит.

– Ты её считаешь глупой? – спросила Христина.

– Как раз наоборот, – возразила я. – Умной, умнее меня.

– Тогда в чём дело?

– Я и калькулятор считаю умнее себя. Он умеет перемножать трёхзначные числа. Но как же сложная организация человеческой души? А тут один только пустой ум, который от нечем себя занять скоро весь желчью вытечет.

Тут в наш разговор вмешалась девочка, больная душевной гемофилией.

– Не судите её строго, – проговорила она. – Душу нужно развивать, как и все остальные мускулы. Качаться. Существуют же какие-то специальные упражнения на разные группы мышц? Ну, так чтобы развить эту самую душу... или как правильнее сказать?... – ей хотелось выразиться как можно анатомичнее: – ... сердечную мышцу, нужно любить. Ты – она указала на Христину, – это рано поняла и влюблялась и дарила любовь направо и налево. Так? А Молчунья даже не влюблялась ни разу. Наверное, у неё эта самая сердечная мышца какая-то уж очень тугая. И ей нужно помочь.

– Ты хочешь сделать её такой же, как я? – спросила Христина.

– Нет, совсем нет, – смущённо возразила девочка. – Ты тоже... в этом смысле... не атлетка. А скорее нечто прямо противоположное. Ты слишком много влюблялась...

– А! – я поняла, что она имеет в виду, но была более беспощадна. – Это как если бы она ела слишком много анаболиков, да? Ей хотелось быстрее, быстрее. И в итоге мы видим исключительно видимость. Где её внутренняя работа? Она инвалид, который в плане эмоций, пожалуй, ничем не лучше Молчуньи, но никто этого не понимает: всех завораживает вид раскачанной сердечной мышцы.

Христина ничего не ответила, и мы вернулись к обсуждению Молчуньи.

– Ты уверена, – спросила я девочку, больную душевной гемофилией, – что мы не можем использовать тебя в качестве донора? Мы бы могли не мучиться и просто сделать ей переливание любви.

– Я бы с удовольствием помогла ей, – отвечала она мне, – но ведь это не выход. Такое же придётся делать постоянно, она окажется привязана ко мне, как к какому-то искусственному аппарату. Лучше научить её справляться самостоятельно.

– Ты, конечно, права, – согласилась я. – В общем, ей надо слегка подкачаться. Это полезно для душевного здоровья. И для гармоничного развития. В конце концов, это красиво, если ты понимаешь, о чём я.

И мы стали тренировать Молчунью. Но, как это часто бывает, мы переусердствовали.

Ей надо было теперь любить постоянно, непрерывно, чтобы поддерживать сердечную мышцу в форме, иначе у неё начинались невыноси-

мые боли. Мы не излечили её уродства, но переплавили одно уродство в другое, возможно, ещё более страшное. С тех пор я отказалась от самой идеи лечения уродств. Не в силах выносить зрелище страданий Молчуньи, в которых я была повинна, я трусливо бежала из поселения под покровом ночи, бросив всё на произвол судьбы и взяв с собой всех моих спутников – Христину, Матильду, Олехандро и девочку, больную душевной гемофилией.

И мы снова пустились в странствия.

3. Герцог

Через некоторое время мы увидели высокий замок, вставший на нашем пути. Расспросив в округе, что это за замок, мы узнали, что это замок Герцога – поклонника красоты и искусств, и что слава о его прекрасном саду-музее распространилась далеко за пределы его владений. Услышав всё это, Олехандро пришёл в страшное возбуждение и сказал, что мы непременно должны побывать в этом замке, потому что он действительно слышал во время своих странствий об этом Герцоге и о разных неведомых чудесах, которые скрывает его замок.

Герцог принял нашу компанию гостеприимно и сам повёл нас показывать нам свой замок. Сад его и вправду оказался прекрасен и был полон невиданных цветов и деревьев.

– Посмотрите на это растение, – сказал Герцог, указывая на зонтики звёзд, цветущие на длинных покачивающихся стеблях. – Когда придёт время, ветер сорвёт эти звёзды и поднимет их высоко к небу, а потом люди увидят звездопад. Звёзды засеют небосвод, и через некоторое время из них вырастут далёкие вселенные. Хорошо, что это многолетнее растение.

Но самым прекрасным в саду были статуи: изящные фигуры прекрасных юношей, девушек и детей, застывших в причудливых позах. Одни выглядели танцующими, другие влюблёнными, детей запечатлели играющими в разные игры. Складки их свободных одежд были высечены так искусно, что казались лёгкими и развевающимися на ветру.

Восхищённые их красотой, мы спросили Герцога, кто же создал их, как имя скульптора. Герцог, улыбаясь, отвечал, что никто, кроме самой природы, не в силах создать такой красоты, и что это живые люди.

– Но украшать сад живыми людьми! – закричали мы в недоумении.

– Я покупаю их у работоторговцев по всему миру, – пожал плечами герцог. – Выбираю самых красивых и плачу за них огромные деньги. Украшать мой сад куда лучше, чем надрываться на тяжёлой работе. Они знают, как им повезло, я обращаюсь с ними хорошо, никогда не бью и не мучаю и ни разу не причинил зла ни одной девушке. А ведь любая из них (он указал на группу девушек в костюмах лесных нимф, застывших неподалёку в грациозных позах) могла бы украсить гарем какого-нибудь восточного вельможи. Когда они постареют и подурнеют, я дам им денег и отпущу с миром на свободу. У меня здесь даже есть те, кто работает по найму. Они не рабы, они свободные люди и сами соглашаются на это, а иногда даже приходят ко мне, потому что я предлагаю достойную плату, если они действительно красивы и достаточно хороши для того, что-

бы украшать этот мир и мой сад за деньги. Так что, как видите, я не тиран, а просто любитель прекрасного.

– Но как это всё-таки странно! – воскликнула Матильда, с каким-то отвращением глядя на человеческие фигуры, изображающие статуи, которые уже перестали казаться такими прекрасными. Создавалось впечатление, что Герцог украсил свой сад трупами.

– Расскажите мне про это, – попросила я Герцога, смутно подозревая здесь нечто для себя любопытное.

– Я, если угодно, со странностями, – принуждённо улыбнулся Герцог. – Не могу чувствовать, как другие. Не знаю ни любви, ни ненависти, ничего. В душе моей живо только одно чувство – чувство прекрасного. Когда я смотрю на людей, я вижу только, красивы ли они или неприглядны. Это всё, что меня волнует. Поймите, в душе я художник, но совсем не умею рисовать, поэтому просто собираю вокруг себя всё красивое. Когда я смотрю на красивые лица, тела, движения, я испытываю ни с чем не сравнимое наслаждение.

– Какое интересное уродство! – воскликнула я взволнованно.

– Что вы имеете в виду? – недоумённо спросил Герцог.

– Да у неё болезнь вроде вашей, – неприязненно ответила ему Матильда. – Она в людях видит какие-то гадости и странности, интересуется только ими и называет это изучением уродств.

Герцога всё это очень заинтересовало, и он потребовал, чтобы я подробно рассказала ему обо всём, что знаю об этом. Я рассказала о нашем путешествии, обо всех тех уродствах, которые встречала и изучала в пути, объяснила ему об уродстве каждого из моих спутников.

С этого дня Герцог стал моим соратником. Он загорелся идеей и организовал в своём замке нечто вроде Кунсткамеры – музея уродцев. С той же страстью, с какой прежде он коллекционировал красоту, он принялся коллекционировать безобразие. Я посоветовала ему выписать Молчунию, Людоеда и ещё некоторых своих прежних пациентов, и теперь они с гордостью показывали всем свои уродства.

Я вообще стала чем-то вроде консультанта Герцога и одновременно одним из экспонатов. Я была счастлива: изо дня в день в Кунсткамеру прибывало всё больше и больше уродцев со всех концов света, и это был такой простор для изучения, о котором я прежде и мечтать не могла. Кстати, все мои спутники остались со мной и тоже выступали в роли музейных экспонатов. Я увлекалась всё больше и больше, лелея в глубине души надежду рано или поздно всё-таки повстречать уродца, который позволит мне понять собственный изъян.

Среди прибывающих экспонатов порой попадались действительно интересные: тут были образцы всех возможных областей странности, причудливости и уродства.

Однажды к нам прибыл человек, на чьём лице, словно письма на камне, навек запечатлелось страдание.

– Кто вы? – спросила я его. – И в чём ваше уродство? Мне нужно занести вас в каталог.

– Я поэт, – отвечал он тихо. – У меня никогда не было таланта, более того, я был совсем бездарен, но я так мечтал написать что-нибудь осо-

бенное, что однажды решил содрать с себя кожу. С тех пор я не могу найти ни покоя, ни облегчения, потому что каждый самый лёгкий порыв самого нежного ветерка причиняет мне невыносимую боль. Но я всё это записываю, и стихи получаются жестокие и болезненные, но гениальные. Поэтому, хоть я и мучаюсь, я, несомненно, самый счастливый человек на земле.

– Вы счастливы, потому что знаете, как и я, что на свете есть вещи и поважнее счастья! – воскликнула я, внимательно выслушав рассказ поэта. – Оставайтесь здесь, я знаю человека, который поймёт вас!

И я познакомила его с девушкой, у которой была душевная гемофилия. Они поняли друг друга и полюбили. Оба они постоянно жили в мире своей боли, и прийти в гости в соседний дом боли и пожить там немного было для них утешением. Они даже разговаривать друг с другом боялись, чтобы никак не повредить друг другу, боялись прикасаться друг к другу, даже смотрели друг на друга редко, потому что взгляд был для их чувствительных натур равен прикосновению или слову и тоже мог быть ранящим и жестоким. В общем, это была чрезвычайно странная любовь, и порой я подумывала, уж не родилось ли, в виде этой любви, от союза двух уродств некое новое уродство. Так было экспериментально доказано, что уродства размножаются в неволе.

На эту мысль меня натолкнул Олехандро, который пришёл ко мне однажды в страшном волнении.

– Запиши, запиши меня в свою картотеку! – сказал он мне, задыхаясь.

– Почему? – спросила я с удивлением. – А главное, зачем? Ты ведь и так у меня на примете. Я, правда, не совсем ещё разобралась с вашим с Матильдой уродством, всё руки не доходят подумать и классифицировать, но можешь не сомневаться, уж наполовину-то ты точно уродец.

– Нет, я целый! – воскликнул Олехандро. – Я уродец хоть куда! Безответная любовь – это самое большое уродство! А, кроме того, ещё и страшное унижение! – горячо произнёс он, после чего стремительно удалился, и я поняла, что он опять поругался с Матильдой.

Правда, потом они, конечно, помирились и однажды вдвоём пришли ко мне и сказали, что им пора.

– Но куда вы пойдёте? – удивилась я.

– В Тальпехор. – ответили они.

– Вы с ума сошли! – возмутилась я. – Одни? Но я ещё не поняла вашего уродства! Можно я пойду с вами?

– Нет, – возразил Олехандро, – мы пойдём туда одни. Мы уже не боимся и хотим пойти и всё-таки взглянуть на этот Тальпехор своими глазами.

– Но я...

– Оставайся здесь, – сказала Матильда. – Изучай уродства, раз они тебе по душе, лечи людей...

– Я больше не хочу их лечить, – возразила я. – Я не забыла Молчунью. Я даже Герцога лечить не буду, хотя их с Молчуньей уродства и похожи.

– В любом случае для начала – разберись в себе, – посоветовал Олехандро. – А то нехорошо. Ты собрала нас всех, ты бросаешься на каждо-

го встречного уродца для того, чтобы понять своё собственное уродство, а до сих пор не можешь... Оставайся. Может быть, когда-нибудь ты найдёшь кого-нибудь с таким же уродством, как у тебя, узнаешь и поймёшь. В Кунсткамере тебе легче будет это сделать. Зачем тебе Тальпехор? Там все на одно уродство.

Я согласилась с ними, и они ушли, а я осталась в Кунсткамере. Дни проходили за днями, и всё больше уродцев прибывало в Кунсткамеру. Я осматривала их и разговаривала с каждым из них. Попадались довольно интересные случаи, но я никак не могла найти никого, похожего на меня, и всё больше отчаивалась. Мне осточертела любимая когда-то работа, и осточертели эти бесконечные ущербные уродцы, уроды и уродища.

Но однажды в замок Герцога постучалась девушка. Сначала мы решили, что она уродец и пришла, чтобы остаться в Кунсткамере, но оказалось, что она просто искала работу. Герцог устроил её садовницей в своём саду, который немного одичал, потому что его совсем забросили с тех пор, как у его хозяина изменились эстетические представления.

Однажды, в задумчивости прогуливаясь по саду, я увидела, как новая садовница сидит на земле, запрокинув голову, открыв рот и опустив в рот нитку, конец которой держала в высоко поднятой руке. Она сидела почти совершенно неподвижно, и только глаза её перекатывались от напряжения.

– Что ты делаешь? – спросила я у неё.

Она вздрогнула и, вытянув изо рта нитку, которая оказалась длиннее, чем я предполагала, ответила спокойно:

– Рыбачу.

– Рыбачишь? – удивилась я. – Ты что, ела рыбу на обед и теперь пытаешься выловить её обратно?

– Да нет, я не так сказала. Я не рыбу ужу.

– А что?

– Я... я... – садовница смутилась. – Я пришла к господину Герцогу, потому что слышала о том, что он очень любит красоту. Я слышала об этом саде, о его музее живых людей, прекрасных людей... И я так мечтала на всё это посмотреть! Я ведь тоже очень люблю красоту, я и подумать не могла, что смогу жить здесь, ухаживать за садом... Я была поначалу так счастлива! Но оказалось, что красота тут никого не волнует, что все заняты этой дурацкой Кунсткамерой, наполненной какими-то уродцами. Зачем смотреть на безобразие, когда можно наслаждаться красотой?

– Ты ничего не понимаешь... – начала я было спорить, но сама себя оборвала и спросила:

– Так что же ты всё-таки ловишь, и при чём здесь это всё?

– А, ну да. Я увидела всё это своими глазами. Ну, сад. И прекрасных людей. И я подумала, что это так несправедливо, когда какие-то люди так прекрасны, в то время как другие так уродливы, а ещё какие-то – и вовсе никакие. И я подумала, что если буду долго сидеть и терпеливо искать, то, в конце концов, выужу из себя хоть немного красоты... Я не могу быть никакой, когда всё вокруг так прекрасно.

– Это какое-то страшное уродство, – пробормотала я ошеломлённо. – Только я никак не могу понять, какое... И в чём дело... Но... У тебя есть ещё леска?

Александра Котенко

ПОЭТ

Я впервые на казни.

Серый пластик здания разверзнул свою гладкую пасть и поприветствовал меня женским сопрано, пропевшим номер моего места в этом событии.

Я не мог отказаться от приглашения. Я не мог не согласиться с выбором своего зрительского места – почетной морской раковиной лоджии. Я не мог не прийти. Сегодня казнят мою любимую.

Ее глаза – синее небо, которого я никогда не видел сам, ее волосы – пряди черного ветра, который забрал мой покой однажды летней ночью, ее руки – тайна танца, который зовется жизнью и сегодня... сегодня он угаснет.

Я ничего не понимал уже два дня: я встретил Каллисто в ее облике, но я никогда не думал, что потеряю ее. И мне казалось чудовищным, что даже сейчас я не мог испытать ни капли боли – я стал таким же серым пластиком, из которого построен мой город. Я не проронил ни слезы даже тогда, когда нейтральное изображение клерка на экране на мой вопрос «за что?» безразлично пожало плечами и посмело ответить про нее – самую лучшую! – что по закону о соблюдении демографического баланса она и еще двадцать девять человек отнесены к классу «неспособных» и подлежат казни. «Вход на казнь родственникам и близким друзьям бесплатен», – я скривил губы и снова сжал в кармане куртки скомканное приглашение. Я ничего не смог возразить потому, что она действительно не обладала никакими талантами, но никогда, никогда я не встречал человека лучше ее, нежнее ее, прекрасней ее... Но аркам этого недостаточно. Арки ищут в каждом лишь функциональность, и красота не их идеал.

Сегодня я впервые на казни.

Я пытался представить, как это происходит, потому что ни разу за свою жизнь я не досмотрел до конца ни одного репортажа из этого здания, притянувшегося к небу всей своей серой громадой. Оно одно из самых высоких в городе – для того, чтобы лишние осознали, что они ненужные аккорды в раскинувшейся под ними симфонии города.

Как это сделают? Ее шею пронзит аналог древнего ножа, сияющий лазерной поверхностью и не дающий крови течь слишком сильно и хаотично, чтобы не нарушить идиллию серого цвета пола? Или же это выстрел, который невидимой стрелой пронзит и остановит ее алое сердце, которое вдруг заторопится биться? Или же ее побледневшие губы коснутся потеплевшего хрусталя последнего бокала, и по горлу прольется бесцветный яд, и она широко раскроет глаза, чтобы никогда не закрыть их самой?

Я не мог представить ее смерти – в моем воображении умирали лишь куклы, похожие на нее. Моя Алека...

Каждый шаг давался все тяжелее, но я не мог не идти. Я больше никогда не смогу увидеть ее, если не сегодня. Увидеть живой.

И вот я на месте. Лоджия и изнутри похожа на раковину, из которой изгнали законного владельца-моллюска. В ней я чувствую обиду, исходящую от стоящих внизу – мол, мы могли бы быть там же и видеть лучше. Здесь действительно лучший обзор. Я вижу красные полосы на мантии священника так же хорошо, как код на своем запястье. Удивительно, я могу различать даже слова сутр, помогающих душам казненных восходить на небо без страданий. Я должен бы испытывать священный трепет как тогда, на церемонии совершеннолетия – сначала моего, потом ее, но я чувствую лишь раздражение. Узоры лгут, и знание этого острой иглой впивается в мой затылок. Узоры лгут, священник лжет, вся моя правда мира до этого дня лгала! И когда Алека появляется на этой отвратительной, лживой, недостойной ее босых пят мизансцене, я стучусь в стекло лоджии и кричу единственную правду, известную мне в этом городе. Я кричу, что я люблю ее.

Но она не видит меня. Кажется, она вообще ничего не видит перед собой. Она бледнее обычного, и ритуальная алая косметика делает ее бледность ярче и неестественней. Священник поднимает руку, касаясь ее лба, а я стираю свою кровь со стекла, чтобы видеть мою Алеку. Священник и его прихвостни уходят, и она остается одна. Белая рубаша до пола начинает светиться, и Алека поднимает руки, будто молясь, но я вижу в ее глазах страдание и боль. И тут я понимаю, что она становится прозрачной. Одежда смертницы разрушает ее, и скоро на погосте не останется ничего, кроме серебристо-багровой пыли – от ее праха, от моей крови на стекле...

Я замираю и не могу закрыть глаза. Я стою так целую вечность, и тысячу раз пытаюсь закончить фразу, что ее больше нет. И не могу. Она есть. Она есть в моем сердце.

– Рим, ты слушаешь меня? – мой литературный наставник, знавший меня с младенческих ногтей, тряс меня за плечи и пытался заставить смотреть себе в глаза. Я понимал это, но не хотел выходить из своей уютной скорлупы молчания. Он жив, я жив, а она... Пока есть скорлупа, Алека со мной, но если я вдруг поверю в ее смерть, то что случится?

Наставник вздохнул, провел мясистой ладонью по лохматой густой шевелюре, стирая со лба крохотные капельки пота, взял со стола колбу шприца и вдавил жидкость мне в шею. Я отшатнулся от этого жала, но яд стимулятора успел проникнуть в меня, и я почувствовал бодрость – бесполезную искусственную бодрость.

– Зачем?

– Чтобы ты не смотрел на меня такими пустыми глазами! – Григорий грохнулся всем своим немалым весом в кресло, покрытое искусственной шкурой. Если бы он завернулся в нее, я уверен, он стал бы медведем, но тогда бы он потерял поэтический дар, и медведя бы ждала не завидная участь пыли. Он ничего не умел, кроме того, чтобы писать стихи. И ритмы его поэзии ударной волной шли через электронные строки и громкоговорители в устающие от серости города извилины граждан, что-

бы дать им то, чем арки не могут обеспечить – движение души и глоток эмоций. И мне была уготована та же судьба. Я умел творить слова, живущие сами по себе.

– Ну вот снова этот взгляд... Тебе еще вколоть?

– Хватит, – я сказал это резче, чем следовало, и резко прорезались складки на его маленьком лбу. – Я прекрасно соображаю. Вот только не вижу в этом смысла.

– Твоя жизнь не потеряна. Ты молод...

– Я видел казнь. И теперь я тоже мертв.

– Нет! Ты жив и ты нужен! Родителям, сестре, мне, людям!

– Людям? – я переспросил, вложив в вопрос столько издевки, что стало кисло во рту. – Этим механическим винтикам?

– Рим, ты им нужен прежде всего.

– Почему?

– Потому что для оживления винтиков нужны чувства. А кто дарит этому миру настоящие чувства, как не поэты и художники? Мы можем их исправить, Рим... И на казни следующих бесталанных они будут плакать...

– Потому что им не досталось линз с увеличением и «лишний» умер без агонии?

– Потому что они поймут тебя...

– Скажи мне, учитель, скажи – зачем тогда вообще нужны эти казни? Почему бы просто не позволить ничего особого не умеющим делать что-то не особое?

– Таковы наши законы. Если их станет много, наш город перестанет быть таким цветущим.

– Учитель, неужели ты слеп? Этот город сер, этот город мертв...

– Оживи его. Никто, кроме тебя, этого не сделает.

Григорий потер виски, я потер переносицу, вспоминая городские скульптуры со стертыми носами и ботинками – на счастье. И тут его слова вцепились в частицы стимулятора, уже взбудоражившего мой мозг, и я понял, что недосказал мне учитель.

– Алеку убили для того, чтобы я писал стихи?

Мой вопрос был очень тихим, но по грохоту в висках я понял, что прав.

– Рим...

– Не может быть...

– Рим, ты – гений. Мой дар – это всего лишь сорок три жалких процента. Твой дар – сто. Тебе нужна была встряска, и арки подарили тебе ее...

– Не смей! – я закрыл ладонями уши и бешено замотал головой. Я не хотел слышать этих слов от него, второго живого человека в моей жизни, только что ставшего по другую сторону баррикад рядом с правившими нами арками. – Они убили! Они лишили меня самого большого дара... видеть ее лицо...

– Рим...

– Слышать ее смех... быть с ней рядом... Я мог бы написать тысячи стихов о любви, о солнце, о счастье, о синем небе...

– Рим, синее небо есть только на картинах футуристов. И боль сильнее любви, это доказано. Ты напишешь тысячи стихов, заставляющих людей плакать по ночам за мини-экранами и любить друг друга, пока дорогой человек рядом.

– Ее убили для того, чтобы плодить боль? Я...

Я не договорил фразу. Я встал и ушел, жалея, что не могу хлопнуть створкой автоматической двери, как люди прошлого. Мир перестал быть серым. Он стал черным, как моя тоска по ней.

– Рим, я тебя умоляю, напиши хотя бы пару строк! Рим! – грузный мужчина шел за мной так неловко, как медведь, поймавший рогатину брюхом. Он почти падал, но шел, а я... я срезал ветви деревьев, не выходя из крохотного кара, резал совершенно не художественно, с упоением слушая, как звук их падения заглушает человеческий голос. Я перестал любить голоса людей.

– Рим, иначе тебя казнят!

Я остановил машину и повернулся к человеку, когда-то учившему меня смелости слога.

– И пусть. Я так давно жду этого.

– Не будь идиотом!

– Почему меня казнят? У меня девять процентов способности косить траву, я – полезный член общества.

– Ценз повышен с пяти до десяти.

Я улыбнулся. Мою грудь наконец наполнил воздух, имевший право назваться свежим.

– Учитель, ты принес мне добрую весть. Я чувствую, что после моей смерти твой дар увеличится на тридцать процентов.

– Рим, хотя бы две строчки...

Я вышел из кара, распрямил спину и вытянул руки вперед, как для декламации, а он так и застыл, готовясь ловить каждый звук с моей стороны.

– Поэт не пишет для машины...

– Дальше, дальше! – учитель шептал одними губами, дрожащими, как желе на ложке у труса, и ожесточенно тряс диктофоном, будто он мог помочь рифме родиться.

– Дальше? – я снова залез в кар и включил двигатель. – А дальше, учитель, машины напишут о смерти поэта.

Валерия Воложанина

ЗИМА

Зима не была белой и пушистой. Она была серой в той степени серости, когда даже человек, не имевший дела с лошадьми, не смог бы обзвать ее белой.

Красотой она похвастаться не могла. Лошадь как лошадь – четыре ноги, голова, хвост. Не было в ее внешности ничего особенного. Обычная деревенская трудяга. Мохнатая, на толстых непропорционально коротких ножках, с толстыми боками. Отметин никаких не было, лишь белые пятна на холке – когда-то, вероятно, сбили седлом. Только глаза... Я боялась смотреть в эти глаза. Такое безразличие в лошадином взгляде. И мне было стыдно так, словно это я сделала ее такой. Даже страшно представит ее прошлое. Хотя какое прошлое? Деревня. А там все туманно и далеко не радужно... Спроси любого человека из детской группы, какая у него любимая лошадь, и он ответит, что Зима. И каждый не раз бил ее прутиком по крупу, потому что лошадь не бежит. Нас так учили. Не разбейся, заставь, и все. Она никогда не сопротивлялась: наверное, кто-то когда-то ей вдолбил, что спорить с человеком бесполезно и опасно. Никто не видел, чтобы она «свечила» или «козила». Она даже не носилась. Никогда. Вообще!

В смене на нее всегда была очередь. На ней было удобно ездить, она делала все, что ей прикажешь, так что каждому новичку казалось, будто он уже все умеет. Правда, была у нее одна неприятная особенность. Дело в том, что Зима ненавидела пьяных. Просто на глазах из эдакого мехового комка превращалась в страшного зверя, похлеще Подарка и даже Дурмана... Меня Зима не интересовала: неживой казалась. Не могла я душу на удобство променять. Двигалась она медленно, без всякого желания, вяло переставляя коротенькие ножки. «Беги я, беги. Только палочкой меня не бей». Просто так было надо. А дети не замечали, продолжали любить ее. Постоянно толпились в деннике, гладили нос, угощали подсушенным хлебом. Зима всегда с удовольствием брала лакомство, до самих же девочек ей не было никакого дела. Она их и не различала. Их было так много. Сколько же человек вот так вот гладили ее, сколько человек она возила на своей спине, сколько человек били себя пяткой в грудь и кричали на весь мир, что любят ее. И каждый считал, что Зима любит именно его. Профессия такая у «первой лошади»... Дети должны были развиваться, Зима была лошадью не для спорта. Куда уж ей? Дети начинали ездить на других конях, для них расставание с Зимой было маленькой трагедией, маленьким концом света. Вначале приносили ей угощения, подолгу гладили в деннике. Потом все больше и больше вкусностей доставалось новым любимцам. А к Зиме уже и заходить забывали, чтобы носик погладить. Она не расстраивалась, были новые дети. Она и не задумывалась о том, что уже другие ладошки протягивают ей лакомства. И с лошадьми другими Зима тоже всегда держалась осторожно, была в стороне. И конфликтов ни с кем не устраивала, даже Озорница на нее не кидалась.

А вот дочь ее была совсем на нее непохожа. Зажигалка была шустрой и заводной, но при этом трогательно робкой. Она всегда пряталась за свою спокойную и рассудительную маму. Как-то по осени прихожу я на конюшню, а Зажигалки нет. Сказали, что продали в деревню. Я не могла себе представить, как же она будет жить без мамы – такая маленькая в какой-то далекой деревне в табуне с чужими и непременно злыми лошадьми. А еще я помню до сих пор, словно было вчера, как, крича и с надеждой глядя на дверь, металась по деннику Зима. Я не смогла забыть

страха и отчаяния в лошадиных глазах. Я не могла спокойно выносить это. Лошадь смотрела на каждого проходящего с надеждой и понимала, что все равно ничем не помогут. Взгляд ее становился пустым, Зима отворачивалась к стенке и плакала невидимыми лошадиными слезами.

Зима была по природе очень доброй лошадью, она никого ни разу не пнула и не укусила. Хотя... Был один неприятный случай. Саныч частенько бывал на работе не очень трезвым или с похмелья. Все к этому привыкли, тем более здесь. В очередной раз подгуляв, Саныч запряг Зиму в телегу. Что-то ему привезти надо было. Ничего у него, конечно, привезти не получилось.

Сидели мы спокойненько в конюховке, тут слышим – грохот в проходе. Как будто стадо быков несется. А там Зима затаскивает телегу в проход через маленькую дверь. Мы думали, это возможно сделать только через главные ворота. Ага! С треском телега протиснулась в узкий проход, а Зима полетела по коридору, бешено выпучив глаза. Саныча на телеге не было. Никогда не забуду, как бесстрашно и безумно выскочив на середину прохода и расставив руки, Ромашка кричит: «А ну стоять!». Время течет медленно, так что, казалось бы, успеваешь заметить каждую деталь. Два темпа карьера, и Зима проносится в том месте, где секунду назад стояла Аня, которая каким-то чудом успела прижаться к стене, избежав столкновения с телегой. Копыта в бешеном темпе стучат по бетонному полу конюшни и спустя несколько мгновений затихают – Зима выскакивает на улицу через главные ворота. Потом, правда, сама успокоилась и вернулась. Но уже без телеги... Как я уже говорила, Зиму любили многие. Но только один человек смог любить ее всю жизнь. Всю лошадиную жизнь.

Динка всегда с опаской глядела на других лошадей. Она постоянно ждала какой-то гадости, подвоха. Она панически боялась прыгать, но, переступая через себя, прыгала и сто двадцать, и выше. Просто потому, что так надо, альтернативы ни у кого не было. Динка любила Зиму, она жалела ее, и самое главное – понимала, что не нужны Зиме ее ласки. Но забота ее была всегда искренней – выпустить в леваду, отбить денник, нарвать свежей травы. И угощения Динка всегда высыпала в кормушку, а не давала с руки, как это делали все, чтобы пообщаться с лошадью, чтобы получить хоть чуточку ее внимания.

Я бы не сказала, что у них была любовь и взаимопонимание. Просто Зима привыкла к Динке, а Динка – к Зиме.

Выкупить любимую лошадь с мяса – благородный поступок? В той ситуации это было безрассудством – купить Подарка и Зиму, накопив деньги только на покупку. Она обещала увезти их к себе в деревню. На самом деле – сарай в пригороде. Так, но уже не на мясо. И пусть сарай сырой и маленький. Пусть до площади неблизкий путь по ухабистым разбитым дорогам. Пусть денег едва хватает на корма... Одну лошадь пришлось продать. Естественно, это был Подарок. Почему Динка купила его, несмотря на его сложный характер? Конь здоровый, молодой, ну и пусть без документов. В то время списывали таких калек, что и в город с ними выйти было нельзя. А Динка-то понимала, что иной дороги, кроме как на городскую площадь, нет.

И что было делать? Лошадь надо кормить, а чтобы кормить, нужны деньги, а чтобы были деньги, надо идти работать, а чтобы идти в город, лошадь надо накормить. И так по замкнутому кругу. Жара, толпа людей, шум, смех. Ребенка на спину, деньги в карман и в поводу по кругу. Вечер, тусклый свет фонарей. Пьяный мужик лезет в седло, денег ему не жалко. И лошадь не жалко. Где-то вдалеке уже стучат по асфальту некованные копыта. Спокойно, честно. Неужели жизнь вышибла из нее последнюю искру?

Усталая лошадь под цветной попоной, израненная душа за яркими бантами. Уныло плетется вдоль дороги в свой холодный и темный сарай, чтобы завтра снова катать.

– Дин, ты лошадь-то свою ковать не собираешься? А то если что, Коля помог бы.

– Да какое ковать? Тут жрать нечего. Совсем нечего.

– Ты б ее лучше продала...

– Какое... продать, я без нее не могу. Я и сама уже не рада.

Это ли называют любовью? Кто бы понял. Не знаю, с Динкой мы после этого и не общались. Не было желания. Но одно я знаю точно: вместе они не давали друг другу шанса на спасение и тянули на дно. Дина всегда хотела сделать жизнь своей любимой лошади хоть немножечко лучше. Только получалось плохо. Они стремительно тонули. Вскоре в сарайчике стали появляться другие лошади, на месте сарайчика выросло некое подобие конюшни из досок и картона. Появились непонятные девочки. А я в каждой побитой жизнью асфальтовой лошади до сих пор узнаю Зиму, хоть ее и нет давно.

ПОДАРОК

Сижу, читаю от скуки, читаю в Интернете дневники конников. Ну как читаю. Фотографии смотрю, делать все равно нечего. И тут на такое натыкаюсь... Девочка. У дедушки в деревне свой конь, ужасно возрастной. Гуляет, травку ест. Судя по фотографиям, собирается этим заниматься еще довольно долго. Но вот сам конь... Скажите мне, бывают ли два одинаковых гнедых коняги, с одинаковыми носочками на правой задней ноге? Совпадение? Пожалуй, не более. Без других отметин? С циферкой «шестнадцать» на крупе? И тут-то меня заклинило. Конь, которого я уже лет пятнадцать считаю мертвым... Вот может этот самый конь на позавчерашних фотках травку жевать? Пытаюсь посчитать, сколько же ему получается лет. Калькулятор в моей голове сломался, получают разные числа, но все равно много, невероятно много. Ну не может конь в деревне столько прожить, их же там не отшагивают.

Тут же пишу девочке, спрашиваю, что за конь, с какого года, от кого. Получаю ответ. Ну все совпадает. Вот могут в мире быть два одинаковых гнедых коня с носочками на правой задней ноге, с циферкой «16» на крупе, 83 года рождения, дико вредные, да еще и обожающие картофельные очистки и считающие несъедобным хлеб?! А если этого коня зовут Пашкой? Разговорились мы с этой девочкой. Я интересовалась деревенским настоящим, она – городским прошлым. Попросила скинуть

какие-нибудь старые фотографии. Я достала пыльный фотоальбом со шкафа, долго листала и все же нашла. Всего две фотографии. Тогда не было цифровых фотоаппаратов, тогда мы берегли пленку, пытаюсь заснять все самое важное. Сколько же мы жили бок о бок? Почему я не посчитала Подарка таким значимым для меня? Все мои воспоминания не смогли уместиться на двух пожелтевших фотографиях. На одной – дикая игра с лучшей подругой Амбицией на «свечках». На другой – под седлом. Сверху я. Маленькая, с длинными светлыми косичками. Сижу, улыбаюсь, повод перекручен. Ромашка снимала и дико хохотала надо мной. А я так и ездилась ведь всю тренировку, с перекрученным. За один повод тяну – он в другую сторону поворачивает. Я отчаянно не понимала, в чем дело. Ромашка ничего не говорила, только хохотала, увидев очередную попытку управлять конем. Тогда, помнится, я целых восемь раз с него навернулась на рыси. И только потом поняла, что у меня что-то с поводом. Тогда так обидно было. И все же Подарок не изменился, ничуть. Он все тот же.

Все помнят свою первую лошадь. Первая тренировка, первый галоп, первое падение... А также первый укус, первый пинок и первый раз поставленное на ногу копыто. Он был для меня первым конем во всем. Подарок всегда казался мне огромным злым мерином. Когда мне говорили: «Вика Иванова, седлай Подарка» – это звучало для меня, словно приговор. Я всегда нехотя, растягивая каждый шаг, плелась в его денник, таща тяжеленное строевое седло. Заходила, и он с огромной высоты смотрел на меня в ожидании веселья. Пара секунд, и он прижимал уши, пряча их в растрепанной гриве и разворачивался боком – «сейчас как укушу». И кусал, если не успеешь вовремя увернуться. Что сказать, Подарок далеко не подарок. Помнится, как я первый раз ступила на шершавый пол своей первой и самой родной конюшни, осторожно шла по проходу, с интересом разглядывая такие красивые и непривычные морды незнакомых дремлющих лошадей. Еще не зная, какими они могут быть разными... Встретила своего первого тренера – женщину-конюха. Она тогда казалась такой пухленькой и доброй. Казалось бы, она знает все. Это потом уже поняли, что вместо тренировок она чай в конюховке пьет, а до нас и лошадей ей, в общем-то, и дела нет. Галина Егоровна открыла денник. Вывела оттуда коня, поставила на развязку. Конь огромный, словно гора, казалось, чтобы обнять его за шею, нужно иметь руки в два раза длиннее моих, копыта огромные, как сковородки, а голова, кажется, вырублена топором. Я замерла. А конь лишь угрюмо глядел на нас, а потом словно бы потерял интерес. Тренер раздала щетки, показала, как чистить, и ушла к следующей группе девочек. А я да еще три каких-то девочки (я даже забыла спросить, как их зовут) отскребали засохшую грязь от темной шерсти, честно смахивая каждую пылинку. В первый раз так боялись сделать что-то не так. И я даже не думала о том, что конь уже что-то замышляет ровно до того момента, как я оказалась плотно зажатой между лошадиным боком и стенкой. Он всегда либо делал гадость, либо задумывал ее. Он был способен на невообразимое свинство. Заваляться, например, в грязную лужу. Вместе со всадником, факт наличия человека на спине его ничуть не смущал. Единственным спасением

от позора был хлыстик. Но от полета он не спасал. Каждый его «козел» или каждая «свечка» были настоящими шедеврами... С таким смаком запускать очередного всадника-неумеху в полет. Да так, что после езды на нем мы стали держаться всем, чем только могли держаться. А падать-то стыдно. Но не менее стыдно ехать на Подарке в конюшню. Если он решил свозить человечка в гости в свой денник, тут уж ничего сделать нельзя было. Торжественным шагом, не торопясь, иногда выставляя плечо, иногда просто нагло разворачиваясь, Подарок шел в конюшню, иногда еще и с дальнего входа... Помню, и я на этом месте не раз была. Тянешь повод вправо, поворачивает голову, но топать в конюшню ему это не мешает. Тянешь за левый повод – то же самое. Все еще считаете, что, если лошадь тянуть за оба поводья, она останавливается? Как бы не так. Подарок игнорировал любого. Хотя нет, был на конюшне человек, который знал, что с ним делать. Конюх Саньч. Имени его после стольких лет я не помню, да и зачем? Саньча Подарок уважал, но не боялся. Он в этой жизни ничего не боялся, достаточно вспомнить, как Подарок пинал трактор. Они с Саньчем вообще были похожи: оба большие и по-деревенски крепкие, простые, но вместе с тем невыносимые, даже незамысловатые татуировки на руках Саньча напоминали «номер» проставленный в деревне на крупе Подарка, а недельная щетина на толстых щеках напоминала чем-то растрепанную, слишком густую черную гриву коня. Отношения у них были особенные, деревенские. Подарок из деревни, Саньч из деревни. Видимо, нам, городским жителям, этого понять не дано. Саньч угощал коня его любимыми банановыми кожурками и картофельными очистками, взамен Подарок не кусал и не пинал нашего конюха.

Мы не могли вывести Подарка из конюшни, он стоял, и, кажется, будто он врос в пол всеми четырьмя ногами. Тут Саньч как гаркнет из конюховки: «Я те щас!», – и конь резко понесется, а кто-то из нас, не ожидая такого дела, вцепившись в повод и снося все на своем пути, полетит за ним. Еще одна гадкая черта – в двери он никогда не входил как нормальные лошади, в двери Подарок прыгал. Он был дико вреден. Я готова была по часу, по два пытаться «накормить» его ржавой железью – трензелем. Он сдавался... Ровно до следующей седловки. Потом я, как обычно, накидывала на его широченную темно-шоколадную спину клетчатое одеялко, затем седло. Потом пыталась затянуть подпруги, пыхтя как паровоз. Подарок дулся, я пихала его локтем в толстенное пузо, затягивала чуть сильнее, он опять дулся, и так можно было до бесконечности. Вся учебная группа проходила через мучения на Подарке. Но, надо сказать, на плюханье в седле и дерганье руками он внимания никогда не обращал. Привык. Помню, как он научил меня ездить галопом. Причем меня не спросив.

На улице ранняя весна. Тренировка проходила как обычно. Чудесные советские времена – народу много-много. Большая-большая смена. Тренировку ведет девочка-спортсменка Аня Ромашкова, попросту Ромашка. Мы ехали в смене самыми последними по причине того, что «попа номер шестнадцать» пинается, а дистанцию нормальную держать все равно никто не умеет. Мы находимся на уровне «не падаем, но едем так, как хочет лошадь». Где дистанция? Где два корпуса? Где корпус?

Амбиция вот вообще кусает за круп меланхоличную Зиму. Ромашка пытается навести порядок и кричит: «Дистанция два корпуса. Управляйте лошадьми уже кто-нибудь». Все едут рысью, мы с Подарком отстали. Я сжала его шенкелями, но он не отреагировал. Пнула его от всей души, он хрюкнул и побежал, точнее было бы сказать – полетел. Вместо привычной для меня рыси он понесся галопом. Непривычное движение меня напугало. Я летела, мертвой хваткой вцепившись в седло, уставившись в гриву. Все с дикой скоростью пролетало мимо меня. И казалось размытыми пятнами. Надеюсь, что, догнав смену, Подарок пойдет рысью, но... Резкое движение влево, в стороне промелькнул круп Амбиции, а Подарок нес меня по глубокому сугробу. Мы с Ромашкой в один момент истошно заорали:

– Остановите меня!

– Останови его!

Это привело меня в чувство. Я с трудом оторвала руки от седла и вцепилась в повод.

Мне казалось, что мы летим слишком быстро. Хотя как может лететь эдакая тумбочка вроде Подарка, да еще по сугробу, где этой самой тумбочке по пузо... Я набирала повод все короче и короче. Подарок мотал головой, сопротивляясь, и мне казалось, что вот-вот я за поводом улечу вниз. Но я все равно настаивала на своем, думая, что Подарок рано или поздно остановится. Он-то остановился, а я, не ожидая резкого торможения, продолжила полет отдельно и благополучно завершила его в нежных объятиях сугроба. Так нелепо закончился мой первый галоп.

– Жива? – звонко смеясь, спросила уже успевшая поймать Подарка Ромашка.

– Угу, – ответила я, отплеываясь от снега.

– Ты в следующий раз повод из рук не выпускай, когда падать будешь, – теперь Ромашка пыталась сделать хоть чуточку серьезный вид:

– С тебя что-нибудь вкусненькое.

– Ты садись на коня. А то потом вообще бояться будешь, – добавила Ромашка. Возражения не принимались.

С трудом я вскарабкалась в седло. И совсем не страшно. То ли я не успела понять, что упала, то ли просто падение оказалось больше смешным, чем страшным. Пристроилась за девочками в смену. Рысили дальше. Приятный ветерок в лицо уже не впечатлял.

Спустя годы и сам Подарок перестал быть страшным, зажили синяки от укусов, простились обиды. Подарок был для меня уже не Собакой, как звала его большая честь детской группы, и не Пашкой, как звал его Саныч, утверждая, что раз при рождении его так называли, он Пашкой и до конца жизни и будет, Подарок стал на какое-то время для меня просто Подарком, рожденным в 83 году в совхозе таком-то, темно-гнедой, русский тяжеловоз, которому положена одна мера овса (и непременно с горкой, заботливый конюх всегда просил сыпать ему с горкой).

Когда на госконюшне дела пошли совсем плохо, когда уже сено было, в основном, гнилое, а количество опилок в денниках было просто смешным, лошадей начали списывать, естественно, начали с беспородных, старых, больных... Подарок стоил копейки даже по мясной цене,

документов у него никаких не было. Бывают же фамилии, иногда аж смешно. От ножа мясника Подарка спасла Динка Мясникова. Купила она его вместе с любимой Зимой, сказала, что кони будут стоять в деревне. Только деревня получилась странная. Городская площадь, уздечка в бантах, драненький хомут, непонятно откуда взявшаяся карета... Вялая и скучная рысь. А на нашей конюшне ох как весело было. Иногда зимой просили Саныча нас на нем на санях покатать, а летом в телеге страшно. Больше Подарка никто сдержать не мог. Саныч поворчит-поворчит, поднимается с дивана и идет запрягать. Подарок в запряжке – это просто нечто. Танк, передвигающийся на сверхзвуковой скорости. Выйдешь на поле за конюшней, на улице темно уже, лишь от снега блеск. А мы сидим в санях на сене, укутаемся все, носы под шарфами спрячем. Я обычно любила сидеть на коленях, спереди, и почему-то всегда слева. А справа от меня либо Алинка, либо Ромашка. Ну и сзади кто-то еще. А на самом краю стоит Саныч и держит в руках вожжи. Никогда не помню, чтобы они были ослаблены. Подарок летит рысью, вокруг снежные облака. Повернешь голову – смотреть невозможно. Мелькают копыта, из-под них снег в лицо летит. Всю душу вкладывал он в это дело. Словно не бежал, а летел. Кажется, и сама Резвая так не умеет носиться. Не то горочка овса такой эффект давала, не то где-то в предках нашего толстого друга рысак затаились. Отшагивать его после этого никто не пытался. Как говорил Саныч: «Делать мне больше нечего. У нас в Захаровке отродясь такой чепухой не занимались. И какие кони были! Еще здоровее ваших. Да и ему так привычнее». Спорить никто не решался. Кто ж их, деревенских, поймет. Месяц Подарок в городе пробыл, может, два. Да неважно. Главное, что катать он перестал. Сама Дина говорила, что продала его в деревню. В какую такую деревню? Почему? Случилось что-то. А больше туманного «Да так» она мне ничего и не рассказала. Думала, как Подарок может быть полезен человечеству. Разве что в качестве колбасы. Еще одним вариантом было то, что просто что-то случилось, а там... Мало ли.

Я мысленно попрощалась с Подарком и... Нет, я не успокоилась. Даже не веря в благополучный исход, я не могла смириться. Бац – и вырывают из жизни еще один кусок. Только тут я начала понимать, что этот нелюбимый конь был мне так дорог. Все эти «козлы», «свечи» и прочие подлости, оказывается, были такими важными для меня. Не будь его тогда в моей жизни, я была б другой, я была б не собой. Я, может, не сидела бы сейчас, с улыбкой вспоминая прошедшие годы.

ФОРТУНА

Лошадь моя отличалась необычайной красотой и редкой для наших мест соловой мастью – все тело нежно-песочное, немного кофейное, а грива и хвост – цвета парного молока. Недаром все жеребцы с ума сходили, недаром кто-то ее в телеге приметил. Она была рождена в полудиком табуне и выросла она не для того, чтобы воду возить у какого-то деда. Таких лошадей покупают за миллионы. Наша конюшня считалась лучшей в регионе. У нас проводили соревнования, наши спортсмены постоянно занимали призовые места. Когда-то. Все медленно уходило, неиз-

менными остались лишь строгая выучка, годами накопленный опыт и запыленные кубки. И сами мы были сильнее, упорнее, что ли, чем молодое поколение. Никто б из нынешних спортсменов и дня бы с нашим Чертом не выдержал. Я сама работаю тренером и часто слышу разного рода нытье о том, что трудно, что живот болит, что страшно...

А я молча терпела. Мне было некуда идти. Либо здесь, либо нигде. Либо ты сейчас садишься и едешь, либо ты просто идешь домой.

О езде на Фортуне мечтали многие, но когда доходило до дела, девочки обычно робели. Соловая много знала и умела. Она казалась невозмутимо спокойной лошадью. Но только казалась. Всем было известно, что Фортуна просто всей душой ненавидела работать. Всякий, кто пытался прыгать, моментально становился для нее врагом номер один. Насколько помню, она вроде еще и выездку бегала, малый приз, что ли. Но мы этим не занимались, школа у нас «однобокая» была, только конкур. Да на Фортуне не особо хотелось. Я не видела этой выездки никогда, так, на картинках. А у лошади точно ничему не научишься. Над новичками она издевалась, как только могла.

Пришли мы тогда вчетвером с учебки к Черту тренироваться, он меня сразу на Фортуну посадил. На ней-то я и училась прыгать. На рыси она намекала на то, чтобы пойти домой, на галопе периодически не очень вежливо пинком по воздуху предлагала спешиться. А на прыжках вообще никак. Что бы я с ней ни делала, как бы громко ни орал на меня Черт, она все равно никуда не прыгала. То обнос, то закидка. Я не понимала, никак не понимала, почти до слез, почему она не прыгает. Ей так сложно? Ладно бы что-то страшное. А тут всего сорок сантиметров. Но сначала никакого результата не было, как бы я ни старалась. Я с нее падала, я бегала с ней в поводу, я психовала. Черт бесился, орал и бил шамберьером по кому попадет.

И только через месяц она в очередной раз встала перед барьерчиком, но не как вкопанная, а в какой-то нерешительности: прыгать или нет. И тогда я, наверное, впервые в жизни почувствовала лошадь, я наконец-то воспользовалась положением и толкнула ее вперед. И с тех пор у нас как-то начало получаться. Я прыгала на ней как попало, но уже как-то. Пришла я осенью и до следующего лета с ней промучилась. Не зря. Трудные лошади – самые полезные.

Но удача всегда поворачивалась ко мне не лицом. Мои первые соревнования провалились с треском благодаря Фортуне. Маршрут стоял 110 сантиметров. Мы усиленно готовились, все шло как по маслу. Соревнования были несерьезные, так сказать, для своих. Никаких приезжих спортсменов, в качестве зрителей родственники.

Только в день соревнований со мной стало твориться что-то неладное. У меня тряслись руки, подгибались колени, все внутри сжималось неуютным холодным комком. Я седлала лошадь с желанием победить, я выводила ее из конюшни с желанием получить разряд, разминала лошадь, желая просто не опозориться, а выезжала на конкурное поле я с одной мыслью: «Лишь бы поскорее все закончилось». Я так волновалась, что напрочь забыла маршрут. Хотя это и не понадобилось, и закончилось все неожиданно быстро. Я просто дальше первого препятствия не уехала. Снялась.

На вторых соревнованиях четыре препятствия прыгнула, а затем лошадь, перемахнув через ограждение конкурного поля, унесла меня в конюшню.

От третьих соревнований я ничего хорошего не ожидала. Они также были домашними, только теперь к нам приехали спортсмены из соседних городов, настоящие спортсмены, на настоящих лошадях. Помню, выехала с ними на разминку... Рослые величественные «звери», люди серьезные и немножко гордые. А я рядышком маленькая такая, на своей алтайской кобылке, мне как будто здесь не место. В компании этих зверюг Фортуна была не более чем мохнатой пони редкой масти. Мне казалось, что люди эти, зрители, лошади – все глядят на меня с презрением, как будто бы я – второй сорт. Мне казалось, что если я опять улечу с поля, все будут смеяться и показывать на меня пальцем. Девочки, с которыми я вместе болталась на рыси, уже имели разряды, они проходили уже другие маршруты. Они, казалось бы, были уже на голову выше меня. Почему? Мы ведь вместе начинали, ведь одинаково работали?

Я не на шутку разозлилась. Я поняла, что сегодня Фортуна должна пройти маршрут, чего бы ей это ни стоило, мы должны были любой ценой сделать это.

На разминке она не хотела прыгать, мешкала. И я решила, что я именно сейчас должна ее заставить, как будто перед нами эти жалкие сорок сантиметров.

Соловая немного оторопела от моей решительности. И тот маршрут она один-единственный раз в жизни прыгала без запинки, без сомнения, она уверенно шла вперед. И для меня не существовало множества любопытных глаз, для меня не существовало соперников, и лошади подомной для меня не существовало. Она была частью меня, такой же моей собственной, родной и привычной. Странное чувство, когда вместо ног у тебя... лошадь. И тебе не надо с ней бороться, ведь мы не боремся со своими ногами, верно? Чувства обострены до предела, точно знаешь, что делать, движения твои собственные кажутся настолько отточенными и правильными, как будто ты и не человек вовсе, а механизм, который не дает сбоев. Прошли финиш. Удар колокола – и снова возвращение к реальности, такое резкое, что у меня даже закружилась голова, снова есть люди, снова есть звуки, снова есть лошадь. Я не сразу услышала свой результат, я просто не могла ничего понять, меня тогда захлестнули чувства, я издала такой радостный визг, что мне показалось, девочки наши покатались со смеху. Люди хлопали. Или мне опять показалось? Мир этот воспринимался полупьяным бредом, цветными пятнами, бессмысленными звуками. Но тем не менее я впервые в жизни ощутила вкус победы. Это было похоже на приторно-сладкий сироп, которым ты запиваешь горькую микстуру.

Я пришла в конюшню, расседлалась. Я долго целовала лошадиную морду, хлопала рукой по мокрой шее, от которой шел пар, трепала пальцами гриву. И я бы так стояла еще вечность, если бы Григорий Петрович не появился в конюшне и не сказал бы:

– Чё ты тут делаешь? Живо на награждение.

И на мой вопросительный взгляд он ответил:

– Третье место. Вот не ожидал-то.

И он обнял меня как собственную дочь и похлопал по спине, крепко, как хвалят только лошадей.

На награждении мне дали грамоту и стеклянную статуэтку лошади. И я была самым счастливым человеком на земле. Грамотка где-то потерялась, а статуэтка до сих пор стоит у меня на шкафу. Я в благодарность назвала ее Фортуной, хоть и понимала, что не в лошади дело.

РЕЗВАЯ

Как сейчас помню. Из коневозки вывели лошадь. Она шла по белому снегу. Невыносимо рыжая. Ветер играл ее гривой, отчего казалось, будто она вся горит. Огонь изнутри вырывался наружу, от этого она такая рыжая, невыносимо яркая. Солнечный свет падал на шерсть, и она казалась раскаленным углем. Из ноздрей шел пар, лошадь чутко перебирала ушами.

– Как зовут-то хоть? – поинтересовалась я.

– Резвая.

– И правда, резвая?

– Еще бы. От Зоркого. Там такие крови, закачаешься.

– Охотно верю, – улыбнулась я и пошла в конюшню. Вокруг денника уже толпились девчонки, восторгались ее красотой, а лошадь стояла, забившись в угол, и опасливо косилась на них глазом.

Все гадали, кому же достанется в работу Резвая. Ходили в тренерскую, выпрашивали ее у Григория Петровича. В итоге она досталась рыжеволосой веснушчатой Алине. Ох, какие битвы разворачивались на нашем поле... Вспомнить хотя бы то, как поначалу носились они на дикой прибавленной рыси по нашим полям, а потом срывались в кошмарный галоп. Хотя как сказать, галоп... Все ноги несутся отдельно, но на такой скорости...

Надо сказать, что шагом Резвая под всадником не ходила. Максимум – тротом. Мучила она и себя, и Алинку. Неизменно после каждой тренировки бурела от пота. Частенько нам приходилось всей толпой отлавливать ее в полях, иногда вместе с Алиной, иногда уже без. Но Алина не сдавалась. Она утверждала, что все под контролем, пыталась воспитывать свою чудо-кобылу. Только вот ничего толкового не вышло. Схватит в шутку Резвая девочку за руку, та раз! – и даст кобыле по морде. Я каждый раз вздрагивала и думала: «Как так можно?». Кусаться лошадь, конечно, не отучилась. Только вот хватала она теперь зло и больно. Человек для нее как был, так и оставался пустым местом.

Тогда-то я и поняла, что ругаться и бить лошадь начинают просто от осознания собственного бессилия. Резвая по-страшному возила... Крысилась, злилась, но хоть как-то бегала. Алина сначала взяла хлыст. Резвую он явно раздражал. Начались абсолютно неконтролируемые полеты по всему полю. Алина нацепила не нее мартингал и железо поостроже. Буквально за считанные дни их отношения с чего-то, имеющего хоть какую-то логику, скатились до тупой долбежки хлыстом и перетягивания поводка. И тут-то Резвая решила, что хватит с нее. И нача-

лось что-то... Лошадь, которая не хочет подчиняться, – жуткое зрелище, но вместе с тем и красивое. Резвая раздувала ноздри, гордо поднимала голову и рвалась вперед своей отточенной четкой рысью, не разбивая дороги. Алина всем своим весом повисала на поводе, Резвая сбивалась, и, переступив ногами, поднималась на «свечу», вздрагивало пламя огня – гривы. Замах, со свистом рассекающий воздух хлыст – и удар, как выстрел. А затем страшной силы рывок вперед и ввысь, летят из-под копыт комья грязи.

Но в один прекрасный день не выдержала и Алина. Была почти зима, то, что должно было быть грунтом, представляло собой смесь снега и грязи. Помню точно, Резвая встала на «свечу», а за ней сразу последовал пинок по воздуху, Алина не удержалась и слетела на землю, точнее, прямо в лужу. Встала, посмотрела на грязную одежду, подняла с земли хлыст, зло бросила лошади: «Дура». Замахнулась и как ударит. Хлыст пополам, кобыла пятится назад, пытаюсь вырваться. Алина же практически затащила ее в конюшню. Над полем повисла тишина.

Долго мы потом обсуждали это в раздевалке. Вообще об Алине у девочек много было всяких разговоров, сплетен. Говорили, что она у Черта в любимчиках. Зависть – не самое хорошее чувство, Черт относился к нам одинаково, когда мы только пришли к нему в группу. А я потом ей рассказывала все гадости, что про нее наговорили. Алине если и было обидно, то где-то в глубине души, мне ж она говорила: «Все это просто слова, от них ничего не изменится. Я все равно буду лучше, пока они сотрясают воздух, я занимаюсь делом».

Надо сказать, что с людьми она держалась на расстоянии, скалила зубы всякий раз, когда кто-либо пытался лезть в ее дела. Я не знаю, почему она так доверяла именно мне. Алина уже была гораздо способнее остальных, она это сама понимала. Ни у кого из нас еще не было таких сложных лошадей. Кто из нынешних спортсменов может похвастаться, что работал с молодой лошадей, когда за спиной была только учебка, где все узнавали сами? Было б чем хвастаться. Она и сама признавала, что наломала дров.

Однажды мы, как обычно, пошли в «кабинет» к Григорию Петровичу. Тот уже распределил всех коней, все ушли. Осталась только Алина и я.

– Алина у нас берет...

– Резвую? – робко спросила та.

– Резвую не надо. Ее в пятницу уже увозят.

– Из-за чего? Из-за того, что я не справилась? – Алина виновато опустила голову.

– Нет. Ты не расстраивайся. Все равно ничего путного из нее не вышло бы.

– Дикая?

– Да то, что дикая, это полбеда. Все исправимо. Не стоит она трудов. Рысачка она прекрасная, но нам не годится. Рыцаря бери, – тренер нарочито весело подмигнул. Меня аж передернуло от этой гримасы.

Снова была буря обсуждений, ровесницы завидовали, старшие – волновались, справится ли. У Рыцаря была слава коня-убийцы. Очень

способный, но вместе с тем невероятно строгий. Григорий Петрович доверял его не каждому старшему спортсмену.

Вечером после тренировки мы, как обычно, шли вместе домой. То, что она мне сказала, я помню до сих пор слово в слово: «В том, что ее увезли, я буду винить только себя. Чем я виновата? Да тем, что просто оказалась слабее». Было уже темно, падал крупными хлопьями мокрый снег, а мы уныло тащились по улице в тусклом свете фонарей. Она искала себе оправдание. «Не может же быть все, как в банальном рассказе о норовистом коне и неопытной всаднице, которой удалось с ним подружиться. Мечты для тех, кто ничего сам не может. Чудес-то не бывает». Но почему тогда она верила, что может что-то изменить грубой силой? Та же история, но с другой стороны.

Мы с Алинкой попрощались, и теперь мне предстояло пройти еще две остановки до дома. А я все шла и думала, каким же человеком она будет лет через десять.

Сейчас она в столице. Разряд у нее какой-то большой и страшный, мастер спорта, кажется. Тренирует, по слухам, очень жестко и грубо, но только людей. Она теперь знает, что лошадь невозможно подчинить никакой силой.

Что стало с самой Резвой? Я ничего и не знаю, только какие-то смутные слухи, что где-то за городом в табуне ходила, что жеребят прекрасных давала. Я только помню, как шла она по белому снегу, огненная. И сказочный ветер трепал ее шелковистую гриву. Тук-тук – точеные копыта ее ступили на трап, и ее изящный силуэт исчез где-то в полутьме коневозки.

ОЗОРНИЦА

Не бывает плохих лошадей. Но в двенадцать лет мы еще не понимали этого. Тогда мы все боялись ее – старую полуслепую рысачку Озорницу. Это была очень рослая кобыла, но в то же время такая худая и узкая, что ее узловатые ноги казались непропорционально длинными, а прямая тонкая шея, казалось бы, не может выдержать вес большой угловатой головы. Грива ее постоянно торчала в разные стороны, а на белой мохнатой шерсти постоянно были пятна то от навоза, то от земли.

Я впервые зашла в денник с опаской. Озорница иногда кидалась на людей и через решетку. Она недоверчиво поглядела на меня видящим правым глазом, прижала уши, я уже была готова выскочить из денника, но нет! – Озорница успокоилась и просто стала пристально наблюдать за мной. Седлала я ее всегда весело. Стоило мне положить седло на спину, она как будто пинала по воздуху ногами, иногда, правда, и в стену попадала, но я всегда успевала уворачиваться. Удары эти были такой силы, что сыпалась штукатурка. Озорница имела репутацию лошади-убийцы. Помню, как впервые села на нее. Я ничего хуже этой рыси не встречала... Из седла самым натуральным образом вышибало. Рысь у нее была под стать экстерьеру, корявая, очень жесткая и широкая. Про галоп я лучше промолчу... Но это все мелочи. Мне казалось, будто я сижу на пороховой бочке. На этой лошади нужно было ездить идеально. Она не терпе-

ла грубостей и не прощала ошибок. Про таких говорят: «Строгая». Такие лошади являются лучшими учителями. Озорница своеобразно указывала на ошибки – «свечами». Совершенно жуткими вертикальными «свечами», сидеть на которых тоже приходилось правильно. Этому она научила меня раз и навсегда.

Озорница летела галопом, на самом деле я сама двигала ее вперед, просто по неопытности этого не замечала. Потянула повод на себя, словно на каком-то Подарке – а она мне «свечу», неожиданно так. Я повисла на поводу. Секунду она стояла, вытянувшись во весь рост, а потом мы рухнули на землю. Сама не знаю, как после этого осмелилась тут же верхом сесть. Можно сказать, мне повезло, отделалась только смачными синяками и хромотой на неделю. Я ничуть не обиделась на нее. Я вообще не могла на нее злиться, зная, что она возит меня на своей спине в качестве одолжения. Я никогда не понимала, да и сейчас не могу понять, что заставляет такую огромную и сильную лошадь подчиняться человеку, что мешает ей швырнуть всадника в стену, порвать уздечку и унести в поля... Не понимаю, почему они прощают нас, не всегда терпят все человеческие подлости, сопротивляются, вырываются и скачут, а потом все равно прощают. Иногда мне кажется, что люди не имеют права на это.

Когда-то Озорница была настоящей спортсменкой. Серая в яблоках, статная, точеные ноги, аккуратная гривка... Такой я видела ее только на старых-старых фотографиях, которые мы случайно нашли в кабинете у Черта. Я бы ее никогда не узнала, если бы не ее «излюбленная» поза на одном из снимков – высоченная «свеча» и прижатые уши. И сидел на ней не Черт, а незнакомая девушка – мелкая, кудрявая, с неприятным крысиным носом. А выражение на некрасивом лице гордое, аж до тошноты.

– Кто это? – спросила я у Ромашки.

– Калоша это. Нехороший человек, – ответила Ромашка. – Она постоянно ездила на Озорнице. Понятия не имею, что она на конюшне забыла, лошадей она ни капли не любит. С Озорницей справиться не могла. Как раз при Калоше она снова стала со «свечек» опрокидываться. Один раз эта идиотка ей заехала хлыстом по глазу, из-за нее лошадь твоя теперь полуслепая. Черт тогда просто был вне себя от злости. Калоша в тот же день с треском вылетела из конюшни. Правда седло прихватила и вещи чужие, но это уже мелочи.

– А с Озорницей потом как справились?

– Да никак... Черт ее сам начал работать. А у него какой любимый способ? «Поставить на место» называется. Озорница поначалу бесилась. Честно скажу, никогда не видела, чтобы под Чертом лошадь так себя вела. Потом смирилась со своей участью. Только прыгать отказалась напрочь. Черт решил, что пора от лошади отстать. Ну и отдал ее в детскую группу. Сначала по инерции еще работала, на нее начали всяких косоруких сажать, потом ей это надоело, ну и она опять принялась носиться и высаживать всех. И с каждым днем все хуже и хуже. Овес уменьшили, работы увеличили и гадали, кого посадит, а кого нет. Была буквально пара человек, которые с ней справлялись.

Я после этого стала понимать, почему Озорница так смотрит на людей, почему поворачивается к ним задом и кидается через решетку.

Она не признавала ласки, ни секунды не доверяла человеку и отличалась злым нравом. Но какая была, такую я и любила. Она все равно была для меня самой лучшей и самой родной. Я обычно уходила с конюшни последней, я могла подолгу холодными зимними вечерами сидеть в ее деннике на опилках. Сначала Озорница напряженно глядела на меня, она не понимала, что я тут делаю. Потом привыкла и уже не обращала внимания. И только потом стала подходить. Она, трогательно склонив голову, с интересом слушала, заглядывала мне прямо в глаза, время от времени нюхала колени, пытаюсь узнать, чем же могут пахнуть школа и мама, и разгадать, чем пахнет тот беспорядок, за который она меня ругает. Мне тогда казалось, будто бы ее сердце оттаяло, и что мне наконец-то удалось с ней подружиться.

Мне столько рассказывали о доверии лошади к человеку... Что лошади подпускают к себе, когда лежат, только тех, кого они не боятся, ведь лежащая лошадь беспомощна. Я видела, как она лежит, всего один раз, когда пришла рано-рано утром. Только дотронулась руками до щеколды, Зоря тут же вскочила... Озорница, несмотря на преклонный возраст, иногда была не против поиграть. Как и во всем остальном, возражений она не терпела.

Помню, пришлось мне без седла на ней ездить, кто-то из мелких заподружил. С нее вообще часто летали, а она вырывалась и невозмутимо шла по своим делам – травку, например, пожевать.

Бескрайнее, дико позеленевшее поле под нежно-голубым покрывалом небосвода сводили меня с ума, даже Озорница словно помолодела лет на десять, а то и на все двадцать. Приплясывала и грызла трензель в готовности броситься вперед. Я и сама была не против пролететь карьером по сырому от росы коврику травы до самого горизонта. А там остановиться и, вдыхая дурманивший аромат полевых трав, чувствовать, как в унисон бьются два сердца – твое и лошадиное, закрыть глаза и перестать понимать, кто же из вас шумно выдыхает вмиг ставший горячим воздух. Боялась только, что не усiju. Решила потихонечку рысью проехаться, и все. Слегка ослабила натяжение повода.

– Только не носись, ладно? – прошептала я в повернутое ко мне мохнатое ухо. И вот мы уже двигались прибавленной рысью. Плюхаться по костлявой спине – сомнительное удовольствие, да и попросту страшно. Я схватилась обеими руками за гриву и совсем потеряла контроль. Лошадь резко сорвалась в карьер. Пальцы путались в гриве, мысли путались в голове, мир стремительно проносился мимо и напоминал калейдоскоп.

Справа в траве что-то зашелестело. Озорница отскочила в сторону и пнула по воздуху. Я даже ничего подумать не успела, как оказалась лежащей у лошадиных ног. Озорница стояла и смотрела на меня, словно хотела сказать: «Ну, ты извини, я не хотела тебя ронять».

– Зорь, я не обижаюсь, – я встала, потирая ушибленную руку.

По-вашему, лошади стареют? Я не верила в это до самого последнего дня. Озорница видела все хуже. Лечить и не думали. Слепая на оба глаза? Ну и что, она ж старая... Двадцать три – это много, это почти при-

говор. Озорница перестала ходить в учебке, она перестала быть нужной кому-то, кроме меня. Мне всегда казалось, что я что-то ей должна, она меня сколькому научила, я не могу вот просто так бросить ее, как все остальные. Озорница знала мой голос, знала мои руки, различала шаги. Когда я открывала дверь денника, она, хрустя суставами, поворачивалась ко мне. Я вела ее в леваду, она ходила только за мной, только за моим голосом, шла, неуверенно ставя на пол отросшие и раскрошившиеся копыта. И в леваде стояла у выхода, боясь сделать даже шаг в сторону. Я же бросала ее и уходила ездить на других лошадях. А потом... Озорница легла вечером, а утром просто не встала. Мне иногда казалось, что она сама ждала этого дня... Разве ж это жизнь? Нарезать круги по деннику, стоять в леваде и жевать безвкусное сено – какой может быть в этом смысл, разве есть смысл в одиночестве? Нет ничего хуже, чем доживать свой век. Я стояла напротив опустевшего денника не в силах даже заплакать. Так и не попрощалась с ней. Вечером, уходя, я не могла подумать, что завтра уже не будет моей старой больной лошади. Я ругала себя за то, что все не находила на нее времени. И тут же придумывала себе отговорки, что была занята, что ничего не могла сделать. Люди всегда ищут себе оправдания. Лошади же не умеют этого делать, они не могут соврать, они не могут предать, они способны простить и любить тех, кого можно ненавидеть. Наверное, поэтому все лошади попадают в рай.

Ирина Сергиенко

СКАЗКИ ДОЖДЯ

* * *

С самого утра накрапывает дождик. Выстукивает свои песенки на карнизах, бежит наперегонки по стеклам, поливает деревья и спешащих прохожих. Я сижу на подоконнике и читаю книгу.

– Ирк, варенье достань.

– Слушаюсь и повинуюсь, – спрыгиваю и, прилепывая, иду на балкон за одной из последних банок. Балконный пол студит пятки, а сквозняк напоминает, что до лета ещё больше месяца.

– Сегодня у нас персиковое.

– Ну и ладно, булочки скоро будут, если только твоя духовка не вредничает.

– Не должна вроде, – наливаю варенье в вазочку, облизав пару капель, не успевших упасть, и шлепаю до холодильника – поставить банку.

Оконное стекло разлиновано водяными струями, на улице никого, только трамвайчики изредка проезжают мимо дома да фонари подмигивают окнам. Город укрылся дождевыми облаками, серыми и пушистыми, словно бабушкина шаль, по нему бродят запахи дорог, детских тайн и нерассказанных сказок.

– Даш, а у лиса хвост побелел, – маленький зеленый лис сидит на

стекле под разноцветным зонтиком, и сквозь кончик хвоста, раньше бывшего синим, теперь все видно.

– Полиял, наверное...

Осторожно глажу лисенка по хвосту, откладывая книгу, иду наливать чай. Дашка достает булочки из духовки, посыпает корицей с сахаром. Я открываю форточку, она включает настольную лампу, гасит верхний свет. Проверяю, насколько крепко спит сын, тихо сдвигаем стулья к подоконнику, переносим на него чашки и блюда, после чего звоним своим мальчишкам узнать, когда Дашку заберут домой и когда вернется мой.

Молча садимся и пьем чай.

– Знаешь, в такие дни очень не хватает скрипа кресла за спиной и щелканья спиц...

– Знаю, мне тоже...

* * *

Дашка умеет бросать камушки так, что они прыгают по воде. У неё раз по десять, а у меня не получается: два-три подпрыга, а потом – бульк.

Её камушки, словно маленькие лягушата после дождя. Почему-то после дождя всегда появляется много таких коричневых крохотулечек. Забавные такие. Я, как только их заметила, начала ходить чумазая и поцарапанная – все под ноги смотрю, как бы не наступить, а бабушка ругается, мол, они, если что, и упрыгать могут... а вдруг не успеет из-под пятки выскочить?

Так вот, Дашкины камушки прыгают, как лягушата, а мои больше похожи на неповоротливых жабок. Хотя жаб я ни разу не видела, если, конечно, мультики не считать. Правда, бабушка говорит, что где-то возле дома живет парочка, и мы их даже слышали.

Но камушки у меня все равно не прыгают. Я даже втайне от Дашки бегаю тренироваться, чтобы она потом не кричала, что не честно, что она не тренируется! Может, тоже тренируется, но тайно?

Хотя сейчас и мои камушки будут прыгать легко и звонко, потому что река замерзла и вообще зима. А зимой я с Дашкой редко вижусь, мы живем на разных концах города...

* * *

– Давай, будто мы в школу волшебства едем!

– Да ну тебя. Лучше, чтобы мы сыщики, а тут какое-то происшествие.

– Какое происшествие?! Сейчас родители услышат, они уже обещали нас к сиденьям привязать, если шалить будем.

– А веревку не взяли, я проверяла.

– Ещё лучше, бабушке наябедничают, она гулять не пустит.

– Трусиха. Все потому что ты – трусиха.

– Кто? Я?! Так, вставай, пошли в другой вагон, пока они не смотрят!

Тихо, как мышки, сбегает от родителей. Не в другой вагон – нет, в другой вагон все-таки страшновато, садимся через две скамейки от родителей, чтобы их видеть, а то вдруг без нас уйдут.

– Я первый раз на поезде еду.
– Это не поезд, а электричка.
– Все равно первый раз. А ты?
– А я уже на самолете летала.
– А на поезде ехала? И когда это ты на самолете летала?
– В животе у мамы! Но я все помню, и мне было ни капельки не страшно!
– Ну и ладно. Я, может, тоже на самолете летала. И на табуретке!
– На табуретке не летают, врешь ты все.
– Летают, я во сне летала. А во сне, почти как в животе!
– Не правда, не так! Подожди... – Дашка замирает, уставившись в окно. Потом дергает меня за рукав, – мы это место уже проезжали.
– Как проезжали? – всматриваюсь, и действительно, такие домики и деревья уже были. Как зачарованные, сидим и смотрим в окно. Минут через пятнадцать снова появляются те же домики. – Нас по кругу возят! Значит, мы же никогда не приедем! – одновременно всхлипываем и бежим жаловаться родителям.

* * *

Деревья под окном с вечера радостно шуршат...
Мы осторожно переглядываемся, чтоб никто-никто ни о чем не догадался...

– Ты чай взяла?
– Взяла, я все взяла, спи уже...
Самое сложное – утром выйти из дома так, чтоб не разбудить бабушку.

Пару раз она уже загоняла нас домой, потом весь день бурчала и оставляла без булочек...

– Главное, чтоб погода была плавательной.

– Летной, ты хотела сказать?

Мы, стараясь не шуршать сильно и не топтать громко, выбираемся через заборчик.

Небо ещё покрыто сотнями перемигивающихся звездочек, но по горизонту уже лежит светлеющая полоса.

– Куда идем мы с Пятачком...

– Сама ты Пятачок!

Если идти от бабушкиного домика на восход, то, преодолев поле и небольшую березовую

рощицу, можно выйти на обрыв над речкой. Несколько раз в месяц мы туда выбираемся – полетать...

– Облачность умеренная, летать не помешает.

– Да, мне тоже не нравится плавать по тучному небу.

Кидаем сумку с завтраком под дерево, разуваемся и растягиваемся на травке.

Сначала чуть-чуть валяемся, потом Дашка встает, расправляет крылья, стоит, дожидаясь подходящего потока ветра, и взлетает.

– Высоко не забирайся, я волноваться буду.

– Да помню я.

Лежу, смотрю, как она парит. Рассвет окрашивает небо и Дашку почти в радугу.

Когда солнышко показывается из-за горизонта, я тоже встаю, потягиваюсь, жмурюсь и, оттолкнувшись от земли, ныряю.

– Глубоко не заплывай, я волнуюсь.

– Чего я, маленькая, что ли?

Воздух легкий, теплый и прозрачный. Плыву, стараясь не задевать облака.

Облака похожи на туман, только по туману я люблю гулять, а когда попадаешь в облако, ощущение, будто тебя съел кисель.

– Скоро уже возвращаться нужно будет, бабушка проснется.

– Сейчас, ещё чуточку.

Вволю набарахтавшись, возвращаемся.

Достаем чай и бутерброды, садимся под дерево, и молча едим. А бабушка опять будет ворчать, что плохо завтракаем...

* * *

Небо сегодня теплое, пушистое, значит, к вечеру начнется дождь.

Дашка сидит на окне и рисует зеленого лиса. Прямо на окне и рисует, а сидит на подоконнике. Есть уже целый выводок зеленых лисов, и все кого-то охраняют... этот будет охранять меня. Его и не видно почти – одна спина, хвост и кончики от усов (ну и два уха, конечно), зато с ним можно поговорить... очень увлекательные беседы получаются, сейчас он родится, и я подарю ему зонтик, разноцветный.

А летать мы сегодня не пошли. Какие могут быть полеты, когда дождь на носу? Готовиться нужно.

Дашка лиса рисует, я печеньки стряпаю. Ну, не совсем стряпаю, бабушке помогаю. Ещё нужно достать варенье из погреба, залезть на чердак, найти какие-нибудь интересные книжки (а то бабушка после переезда так и не разобрала коробки) и можно встречать дождь. Главное – вечера дожждаться.

Чуть прикусив кончик языка (я в мультфильмах видела, так намного лучше все делается), старательно вырезаю звездочки, цветочки и выкладываю их на противень. Самое главное – это не коситься на Дашку, а то помешаю ещё или вырежу некрасиво, хотя как можно некрасиво вырезать формочкой? Но бабушка все равно шикает каждый раз, когда оборачиваюсь. Данька, кажется, закончила, спрыгнула с подоконника и бодро топает к столу.

– Смена караула.

Теперь я сижу на подоконнике и, путаясь в рукавах рубашки, пытаюсь вывести ровный зонтик, а Дашка помогает бабушке, у неё лучше получается... терпения, наверное, больше.

Самое сложное – это контур. Никогда не выходит ровным, как на листочке.

Когда заканчиваю с зонтом, по окну уже бегут первые дорожки воды, на кухне приятно пахнет горячим печеньем, и на столе стоит вазочка с персиковым вареньем.

Наперегонки торопимся на чердак, оставив бабушку недовольно

ворчать на кухне. По дороге я, как обычно, спотыкаюсь о какой-то угол и с грохотом валюсь на пол. Дашка помогает встать, и по лестнице мы поднимаемся уже осторожнее.

На чердаке сумрачно и немного пыльно, а ещё там кто-то шуршит. Бабушка говорит, что домовый... Тихо-тихо пробираемся к коробкам с книгами, все скрипучие доски мы помним и стараемся на них не наступать.

Почти на ощупь выбираем по томику и бегом возвращаемся в дом. Спускаться с чердака намного страшнее, чем забираться на него. Тихонько прячем книжки под подушки, идем на кухню пить чай.

Бабушка смотрит недовольно, говорит, что никакого печенья мы не получим, потому что кроты печенья не едят. Приходится идти мыть руки... и лицо.

После чая втроем – я, Дашка и Лис – сидим у окна и смотрим на дождь. И слушаем. Все вместе. А дождь поет песенки, сам с собой спорит и просто рассказывает сказки.

– Сейчас бы гулять пойти, – задумчиво протягивает Дашка, косится на бабушку, не услышала ли? Бабушка сидит в кресле и вяжет что-то синее.

– Или на крышу, – не менее задумчиво отвечаю я. Мы вместе вздыхаем, замерев на секунду, когда бабушкины спицы прекращают отщелкивать петли.

– А дождь закончится только к утру, – тихо бормочет Лис и, кажется, засыпает.

– Значит, нужно пойти гулять утром, – подводит итог Дашка, я согласен киваю, и мы слушаем дальше.

Ирина Редькина

ЛГУН

(Глава из повести «Наблюдатель»)

Сумасшествие – это не когда ты не знаешь, что ты сумасшедший, а когда все вокруг сошли с ума, а ты один здоров.

Журнал Наблюдателя

Холодные каменные стены, тяжелый низкий потолок, прогнивший пол и решётки на окнах. Кровать, стол и унитаз – это все, что он видел день изо дня вот уже десять лет. Эта клетка, заполненная спертым воздухом, ожидая конца в одиночной камере. День-два, неделя, год, одно такое же, как другое. Время – что оно значит для того, кто не чувствует его течения? Ничто. Время – ничто. Ничтожный, хладнокровный убийца, пожирающий твою душу каждую прошедшую секунду. И последующую тоже...

– Как прекрасен этот мир, посмотри, – тихое пение крадучись ходило по коридорам каземата. – Как прекрасен этот мир... я знаю, что ты здесь.

– Как давно?

– Как только ты пришел.

С кем говорил заключенный одиночной камеры? Ведь никого не видно и никого не слышно. Но разговор продолжается.

– Ты кто? – спросил заключенный.

– Такой же преступник, как и ты, – ответила тишина.

Безумный ветер уносил непрозвучавшие голоса. Тишина в неистовстве билась о тишину, отдаваясь глухими ударами в их сознании.

– Я убил. Их всех убил, – начал говорить заключенный. – Столько лет прожили бок о бок, но однажды я просто собрал их всех в одном месте и убил. Сутки напролет я рубил, кромсал и даже, когда начал понимать, что происходит, не смог остановиться. Ментам меня и вырубить-то удалось только с третьей попытки. Через пять дней я умру. Меня посадят на электрический стул и повернут рубильник. Пуф, – человек развел руками, – и нету меня. Когда начинаешь этого ждать, хочется, чтобы просто вот сейчас зашли и пристрелили тебя на фиг, чтоб не мучился.

– Это твое желание?

– Нет. Я должен подумать. Ты ведь за этим пришел?

– Откуда ты...

– Не заморачивайся. С тех пор, как я стал таким, я вижу и слышу вас, где бы вы не находились, но ты... ты особенный, так ведь? Не такой, как другие? Ненавидишь, люто ненавидишь нас, людей, но приходишь и послушно исполняешь наши желания. Интересно, каким же ветром тебя к Ним занесло?..

– Это история не для человеческих ушей, – отрезал голос.

– Точно! – человек прищелкнул пальцами. – Я так и думал, что ты это скажешь. – Он заулыбался.

– Вот мое желание: я хочу стать другим человеком на эти пять дней, что мне остались, – уверенно сказал заключенный.

– Ты – желаешь, я – исполняю.

– Тимур, ты чего стоишь, глаза прикрыв? Плохо? – кто-то потряс парня за плечо.

– Глаза... открыть?.. – удивился он.

– Ну да, ты чего тупишь?!

Тимур чуть приоткрыл глаза, в них забил свет, такой яркий, такой теплый. Подняв веки полностью, Тимур вдруг забыл, как дышать, но ему этого и не требовалось. Все вокруг было цветным и ярким, как тогда в детстве, когда его мир ещё не поглотила темнота. Солнце сияло на небе, трава росла на земле. Это было таким естественным, но почти им забытым.

– Тимур, не висни! Идем, а то на работу опоздаем! – перед Тимуром стоял полный высокий парень лет двадцати пяти, с короткой стрижкой, в костюме и галстук.

– Ты?.. – не смог сформулировать вопрос Тимур.

– Это я, твой лучший друг Коля, забыл, что ли?! Все, харэ прика-

ливаться, потопали, а то Всеволод Романович с нас три шкуры сдерет, если мы опоздаем! – Коля быстрым шагом направился к высокому зданию. Тимур последовал за ним.

Внутри здания все кипело. Люди сновали туда-сюда, как трудящиеся насекомые, на благо своей королевы, имя которой Корпорация.

– Тимур, Николай, – язвительно пропел кто-то. Это оказался низкий дядя с бородкой, напоминавший какого-то гнома или эльфа из сказок. – Опаздываем?

– Вы что?! Как мы можем, мы же ответственные молодые люди! – чуть ли не заплакал от обиды Коля.

– Ну-ну. Я слежу за вами двумя. Так и знайте! – пригрозил гном.

– Конечно-конечно. Передавайте привет вашей дочурке! – помахал Коля дядьке рукой и скрылся за поворотом.

– Надавал бы по ушам, – пробурчал гном и шмыгнул в кабинет с табличкой «главный менеджер Всеволод Романович Заразко».

«Прям попали пальцем в небо с фамилией», – подумал Тимур и побежал догонять Колю.

– Тебе налево, мне направо. И ещё: не пей ты столько! Опять вчера закутил, сегодня вон еле живой, – Николай зашел в просторный кабинет, обставленный в бизнес-стиле, и закрыл дверь.

Тимур стоял посреди коридора и не знал, куда ему метнуться. Этот офис он видит первый раз в жизни, так же, как Колю, Заразко и вообще этот мир он не видел уже много лет.

«Значит, Наблюдатель решил дать мне именно такую жизнь... хм. Ну что ж, попробуем», – воодушевился Тимур и вошел в кабинет, на который ему указал Коля.

Тимур целый день занимался какими-то непонятными делами. Подписывал одну бумажку, пил чай, качался в кресле, разговаривал по телефону о каких-то спонсорах, в конце разговора его называли финансовым гением. Потом Тимур снова пил чай, подписывал бумаги, и все по кругу до конца дня. Он не понимал, как настоящий Тимур, находящийся сейчас в глубине этого тела, мог все это выдерживать каждый день.

К Тимуру постучал Коля.

– Входите.

– Ну я и устал, – протянул парень, – тут подпиши, там договорись – жуть!

– А, по-моему, очень даже скучновато.

– Что?! Да ты в своем уме?! Вечно мне жалуешься, что все достало в корень, а тут на тебе – скучно! Ты не заболел, брат? – Коля внимательно оглядел друга.

– Да со мной все в порядке, просто я немного другой, вот и все.

– С чего вдруг?

– Понимаешь... я убил кучу людей, меня посадили в тюрьму и через пять дней меня должны казнить, но пришел Наблюдатель, и вот я сижу с тобой тут, в чужом теле, в чужом кресле, в чужой жизни, – спокойно выложил всю подноготную Тимур.

Коля с минуту промолчал, а потом залился смехом.

– Ох... ты что, ещё и курить начал?! – Коля весь раскраснелся от смеха. – Все. Хуух. Пошли домой.

– Ага. – Вообще Тимур и не надеялся, что Коля ему поверит, просто захотелось убедиться, что он все же помнит, кем был и что сделал.

Дом у Тимура оказался просто шикарным. Пятикомнатная квартира, отделка дизайнерская, профессиональная. У порога Тимура заливистым лаем и крутящимся, как пропеллер, хвостом встретил здоровенный сенбернар. Пес прыгнул на парня, повалил его на пол и начал облизывать. Отчего-то Тимуру стало так весело, он даже не пытался отмахнуться от собаки, просто лежал на полу и хохотал. Переведя дух, парень все-таки смог вылезти из-под собаки и пошел осматривать квартиру и искать душ.

Покормив пса, которого, кстати, зовут Санчо, Тимур вышел на балкон. Город искрился огнями, переливался, как хрустальный бокал, в свете прожекторов.

– Все-таки жизнь, она цветная, – сказал в пустоту парень.

А небо зовет, манит к себе звездами, похожими на осколки солнца, старательно кем-то рассыпанными у людей над головами. Тимур закрыл глаза. Вот он – мир, который он привык видеть перед собой, а стоит лишь открыть глаза, и он наполняется цветом, как художник постепенно превращает пустой белый холст в яркий и живой кусочек этого мира, который сумел поместиться на бумаге. И опять за кисть, чтобы успеть за такую короткую жизнь изобразить столько, сколько сможешь, этот мир, но только таким, каким видит его он, Создатель. Так же и Тимур сейчас пытался запомнить в этом мире каждую деталь, незначимую мелочь, чтобы потом, снова закрыв глаза, ему было что представить.

Парень всю ночь простоял на балконе и смотрел на город и небо, боясь даже моргнуть, чтобы это все никуда не исчезло.

На следующий день Тимур выбил у Заразко отпуск на четыре дня. Далось ему это нелегко, но пообещал достать Всеволоду Романовичу пару билетиков в театр. И тот с легкостью согласился.

Тимуру не хотелось проводить свое бесценное, отведенное ему время в офисе, попивая чай и чиркая росписи на бумажках. Он отправился за город. Там у него имелись дача, огородец и вполне дружелюбные соседи.

Целыми днями Тимур бродил по лесу, не отмечая дороги. Ему было все равно – заблудится он или нет, все равно через пару дней Наблюдатель его обязательно заберет.

А жизнь нигде не останавливалась. Подобно бурной реке, которая в период засухи превращается в небольшой ручеек, все равно продолжает бежать по своему маршруту, несмотря на обстоятельства.

А время так же неумолимо забирало секунды у Тимура, не оставляя времени на раздумья «зачем?» и «почему?», поэтому он ловил каждый момент, боясь потерять хоть немного из того, что он мог получить сейчас. Спал он всего часов пять: если бы не потребность организма, он бы вообще не спал, но загонять тело паренька, в котором он сейчас находился, было бы нечестно, поэтому в благодарность ему он все же спал и ел.

Время ушло, и вот Тимуру остался всего один день до конца. До конца жизни – нет, до конца сна, который называют жизнью.

Он вернулся в город, чтобы последний свой день провести среди людей. Просто посмотреть на них, полюбоваться ими, как они живут. Жизнь прекрасна даже тогда, когда она вот-вот оборвется, даже от этого она становится ещё прекрасней! Стоит прожить целую жизнь, чтобы вот так насладиться последними её минутами!

Тимур бесцельно, без разбора, бродил по городу там, где много людей. Если это было митинг, он шел туда, распродажа в супермаркете – он уже там! Толпа не давила его, не смущала, она как будто согревала его озябшее сердце, хоть ненадолго избавляя от одиночества.

Тимур забрал собаку у Коли и повел её на прогулку. Как Колька ни допытывался, что это такое происходит с его другом, тот только улыбался и ничего не объяснял. Да и зачем? Ведь завтра вернется настоящий Тимур, и все станет по-прежнему, но уже без него, а мир даже не дрогнет, почувствовав его смерть.

Санчо радостно вилял хвостом всем прохожим, добродушно показывая им свой огромный вывалившийся язык. Похоже, эта зверюга тоже любила находиться среди людей.

– Завтра вернется твой хозяин, а то ты, я вижу, уже по нему скучаешь. – Пес заскулил. Все-таки собаку не обманешь. – Везет тебе. У тебя есть хозяин, который тебя любит. Он оберегает тебя от плохих поступков, вон ты какой добряк вырос! Почему у меня нет хозяина, который бы остановил меня тогда? Он бы просто почесал мне за ухом, и я был бы счастлив. Но, увы, я не собака, и хозяина у меня нет. Хотя, если Бог есть, разве не он наш хозяин? Разве не должен был он погладить меня по голове и сказать: «Успокойся. Все будет хорошо». Мне от него больше ничего и не нужно-то. Я ж не прошу его открыть мне глаза, я просто хотел, чтобы он был со мной рядом! Тогда!

Начался дождь.

– Как бы я этого хотел, не прошу никакого чуда, просто побудь со мной хоть ненадолго, и я бы знал, что ты есть, – вода текла по его лицу, смывая робкие слезинки.

Санчо участливо уткнулся ему носом в бедро. Тимур потрепал его за загривок:

– Идем домой.

Тимур пришел домой, накормил Санчо, принял теплую ванну, выпил последний свой чай с жасмином, оделся потеплее и вышел на балкон.

Солнце тоскливо закатывалось за горизонт, облака над ним размывались, словно небеса хотели заплакать от тоски. Завтра встанет то же самое солнце, небо накроют совсем другие облака, складываясь в неповторимый узор, но он этого уже не увидит. Даже сквозь тюремную решетку можно разглядеть кусочек неба, но теперь всё это для него перестанет существовать. Мир, каким видел его он, уйдет вместе с ним.

– А что там, на той стороне? – спросил Тимур у темноты.

– А сейчас-то ты как узнал, что я здесь!?

– Чутьё.

– Хм. Там... ну, я думаю, ты сам понимаешь, что я не могу тебе этого сказать?

– Понимаю, а все же?

– Не проси, а то сброшу на фиг с балкона!

– Понял-понял, – Тимур улыбнулся.

– Пора?

– Нет пока. У тебя впереди целая ночь.

– А зачем пришел тогда?

– Хочешь провести её в одиночестве?

– Нет.

– Тогда незачем спрашивать!?

– Уяснил...

«Кто же этот Наблюдатель? Почему он пришел к нему, чтобы не провести эту ночь одному?». Тимур думал об этом, но не столько, сколько сейчас он наслаждался воздухом, ветром, небом, городом, биением собственного сердца. Последние звезды показались на небе. Всю ночь, казалось, они светили только ему, но недолго. Мало, очень мало.

– Пора, – ожил Наблюдатель.

– Может быть, хотя бы на рассвет успею взглянуть.

– Не положено.

– Ясно... тогда до свидания, мир. Нет, прощай.

Заклоченного вели по коридорам на казнь. Ритм шагов вторил стук его сердца. Не хотелось уходить, не хотелось прощаться, но он уже отпустил этот мир, а мир отпустил его. Проходя через камеры, в окнах он ловил отблески солнечного света, которое дарило ему свое последнее тепло.

Огласили приговор и его привязали к стулу.

– Наблюдатель, можно тебя спросить кое о чем в последний раз? – спросил у тишины человек.

– Спрашивай, – ответил Голос.

– Там, куда я иду, красочно или бесцветно? – от дрожи говорить не было сил.

Тень наклонилась к самому его уху и что-то прошептала. Дрожь сразу ушла, тело расслабилось, на лице человека мелькнула улыбка.

– Понятно... эй, Наблюдатель!

– Чего?

– Сегодня солнечно... – сквозь окно на кресло падал нежный свет.

– И чего этот слепой маньяк так улыбается солнцу, он же все равно его не видит!? – обратился один тюремщик к другому.

– Он его не видит, зато он его чувствует.

– Мудрено все как-то.

Первый охранник хмыкнул и повернул рубильник.

«Двое. Ещё двое, и я свободен! Интересно, а как там на самом деле, на той стороне? – задумался Наблюдатель, заполняя свой журнал. – И чего он меня спросил, откуда я-то знаю?! А выкрутился-то я ничего, умно. И ему хорошо, и мне спокойно».

Наблюдатель посмотрел вверх:

– Эй, слышь, появится свободная минутка, расскажи мне, как там. А то не могу же я все время врать! – крикнул он в небо, но так и не получил ответа.

Анна ЛЯПКОВА

БЕГСТВО, ИЛИ ОДНО ДЕТСКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Моя бабушка украинка. По крайней мере, нашли ее в городе Изюме. Есть такой на Украине.

Было бабушке два года. Приблизительно, конечно, определяли на глаз, а точного своего возраста бабушка не знает.

Она даже не знает, сама ли назвалась теперешним именем или получила его в городском загсе, куда их, таких найденышей, привезли целой делегацией.

Потом был детский дом. Располагался он в семи километрах от города Ахтырки, в бывшем монастыре или крепости: в воспоминаниях остались толстые прочные стены...

Незадолго до войны детей перевели в другой детдом, в город Лебедин. А прежний заняли военные. Наверное, потому, что он располагался на холме, откуда далеко было видно вокруг.

Жили и учились в детском доме до седьмого класса. А потом отправлялись на работу, или учиться дальше, если позволяли способности. Летом детей вывозили в лагеря – на природу, подальше от города. Были они в лагере и в июле сорок первого.

Конечно, слухи о войне до них доходили. Слухи эти никак не вязались с привычной размеренной жизнью. Поэтому никто не хватал вещи и никуда не бежал. Война была тогда просто словом, странным и неприятным.

В Лебедин они вернулись в сентябре.

И словно попали в другой мир. В этом мире война была уже явью, и не далекой, идущей только по радио, а надвигавшейся, как прилив. Первые его волны принесли бесконечные вереницы беженцев. Они наполнили город страхом и рассказами об ужасах бомбардировок и зверствах немцев.

Еще было много солдат. Они проезжали через город на грузовиках – неприветливые и хмурые. Потому что сливались с потоком беженцев. Потому что вслед смотрели растерянные лебединцы. Потому что детдомовцы бежали за машинами и кричали: «Дяденьки, возьмите и нас! Нас возьмите!».

В городе стало опасно. Не только из-за начавшихся бомбардировок. Готовились к приходу немцев: те, кто оставались, громили магазины и хватали всё подряд. Как будто это был путь к спасению.

Возможно, в том, что о них все-таки вспомнили в этой близкой к панике злой неразберихе, заслуга одного директора. Он оставался с детьми до последнего. Даже когда разбежались воспитатели.

Детдом эвакуировали в самый последний момент. В двух товарных

вагонах, прицепленных к поезду, набитому военными. Вечером накануне отъезда вокзал бомбили. Поезд был уже заполнен. Дети бросились врассыпную. Никто их не останавливал – не до того было.

По одному, постепенно, возвращались они в опустевший детдом. Единственное место, которое им, детям, казалось безопасным. Пришел даже кое-кто из четырнадцатилетних: тех, кто уже работал, но кому теперь некуда было податься...

При детдоме имелся огород. Они собрали кукурузу, сварили ее в большом котле на кухне, поели и немного успокоились. И стали думать, что делать дальше.

... Беженцы рассказывали, что фашисты вешают пионеров за галстуки прямо на заборах. Вот они – те, кто уже успели стать пионерами, – и отправились на кладбище. Похоронили галстуки под кустом. Поставили знак. И на свежей могилке поклялись, что обязательно вернутся потом, когда все ЭТО закончится. Откуда им было знать?

Утром, ко времени отправления поезда, они были на вокзале. Никто за ними не приходил. Даже директор. Потому что директор был тяжело ранен, и транспортировать его было нельзя. Он должен был остаться в госпитале.

Но поезд не мог ждать. И дети. Кто-то должен был ехать с детьми.

И тогда появился Дядька. Бабушка не помнит, как его звали. Он согласился довезти детей до места назначения. Директор передал ему портфель со всеми документами.

Дядька не проводил подсчет по головам. Уехали те, кто сели в поезд. Что стало с ранеными детьми, оставшимися в госпитале вместе с директором? Что стало с той девочкой, которая жутко боялась уезжать и так и не пришла на вокзал? Бабушка не знает.

Говорят, немцы заняли Лебедин через три дня после их отъезда...

Ехали трудно. В вагонах теснота, позволявшая только сидеть, но не лежать.

У них ничего не было с собой. То есть они собрали перед отъездом какие-то вещи. Каждому досталось по наволочке, куда заталкивали все без разбора – белье, мальчишечью и девчоночью одежду... Им было крепко наказано беречь имущество. Но они побросали наволочки еще до отъезда, там, на вокзале, во время бомбежки...

Бомбили и по дороге. Дети бросались прочь из вагонов. Останавливаться было нельзя. Поезд только замедлял ход. Солдаты кричали детям, чтобы бежали за поездом. И они бежали. Если ехали лесом – то среди деревьев, если полем, то по полю... И ни в коем случае нельзя было отставать.

Когда бомбардировщики улетали, они подбегали к поезду. Солдаты хватали их за руки, за одежду и забрасывали в вагоны.

Переключек не делали и за отставшими не возвращались.

Было страшно.

А еще постоянно хотелось есть.

На станциях, где останавливался поезд, Дядьке временами удавалось раздобыть детям продукты. Но нередко еду приходилось добывать самим. Там, докуда не долетали вражеские бомбардировщики, на вок-

залах обычно сидели говорливые бабули с разным товаром, детдомовцы проносились, как саранча, хватали все, что успевали. Вслед летели забористые ругательства. В таких нападениях участвовали не только мальчишки, но и девочки. Ели-то все. И еще: нужно было заботиться о младших.

Поезд ехал. Солдаты сошли где-то по дороге. Но дети так и остались грузом. Наверное, их воспринимали уже как часть поезда, как будто они всегда тут были. И потому переселить их в пассажирские вагоны никто не догадался. Только Дядька ехал отдельно.

На какой-то из станций к поезду вышла женщина с трехлетним малышом на руках. В обмен на сожительство Дядька пустил ее к себе в вагон.

А поезд уходил дальше и дальше. Целый долгий месяц на колесах. Города проплывали мимо один за другим.

Случались и невероятные, прямо сказочные события. В Орле бабушка случайно увиделась с подружкой. Подружка были из того же детдома. Но однажды ее нашла мама. Бывало и такое. И вот, далеко от Украины, в войну, разлучившую тысячи людей, они встретились между железнодорожными путями...

В начале октября добрались до Урала. Здесь уже было холодно, а им нечем даже укрыться. Грелись, прижавшись друг к другу. Тесноты уже никто не замечал.

В Свердловске случилось ЧП. Поезд долго стоял на станции. Дядька ушел куда-то хлопотать о еде. И все не возвращался. Ждать его на голодный желудок стало невозможно.

Мальчишки раздобыли где-то куски прочной проволоки и стали прохаживаться вдоль поездов. Проволоку засовывали в дыры между досками вагонов. Повезло не сразу. Но повезло несказанно: кто-то подцепил арбуз. Весть разлетелась сразу. Сильно не церемонились. Сорвали пломбу с вагонных ворот, забрались внутрь. Ватага голодных сорванцов – и целый вагон продуктов. Да каких! Отыскиались даже конфеты. Детдомовцы и слышали-то о них нечасто.

Они взяли ровно столько, сколько нужно, чтобы наесться до отвала. Даже запасов не сделали. Прихватили только конфеты.

По конфетам их и разыскивали. Точнее – по оберткам. Потому что конфеты они, конечно же, съели по дороге к своему поезду. А обертки бросали под ноги. Вот по этой-то дорожке из оберток за ними и пришел сторож разграбленного вагона. Здоровенный мужик едва не рыдал: продукты предназначались для военного госпиталя. Он, сторож, отлучился всего на десять минут. И теперь ему грозил трибунал – время-то военное...

Возвратившемуся Дядьке как-то удалось замять дело.

С поездом расстались только в Нижнем Тагиле, откуда детдомовцев отправили в районное село – Петрокаменск. Уже выпал снег. Дети совсем замерзли. Их временно разместили в действующем театре. Ватагу галдящих грязных ребятишек всех возрастов. В театр приходили разряженные дамы в сопровождении кавалеров. Мальчишки ловили вшей в собственных волосах и швырялись в шикарные шубки. Дамы визжали и ругались...

Детский дом, где они, наконец, оказались, расположился в семи километрах от Петрокаменска.

Ну, и зрелище они из себя представляли! Немывшиеся и не переодевавшиеся целый месяц, не говорящие на русском, голодные измотанные дети. Их всех – даже девочек – пришлось обрить наголо, чтобы избавиться от вшей. Зато, наконец, согрелись. И больше никуда не ехали. У них снова был дом. Дядька довез их, как и обещал директору. И женщина с ребенком осталась с ним.

Вот, казалось бы, и все. Если бы не одна случайность.

Среди причин многих бед выделяются две – водка и болтливые бабы. А уж если одна подогрела другую...

Однажды Дядькина женщина пришла к старшим девочкам пьяная. Ей хотелось говорить. Язык у нее заплетался, слова мешались с хихиканьями. Но главное девочки уловили. Что хоть привез их Дядька сюда, но, по сути, до них, оборванцев, безотцовщин, ему и дела не было. У него была с того своя выгода... Среди документов в заветном директорском портфеле у Дядьки имелся такой, который удостоверял, что везет Дядька эвакуированный детдом с Украины. На каждой станции показывал Дядька этот документ, а ему предлагали продукты для детей. Но Дядька хитрый, говорил, что продуктов у них достаточно. И просил вместо продуктов деньги... За долгий месяц денег у Дядьки скопилось целый чемодан. С тем чемоданом сбегут они скоро из этой дыры. Не зимовать же здесь с такими-то деньжищами.

Женщина, пошатываясь, ушла торжествовать дальше. Она была очень довольна собой.

Младшие дети, скорее всего, ничего не смогли бы сделать. Но старшие отвечали за всех. И за тех, кто доехал, и за тех, кто нет... Они пошли в комсомольскую организацию.

Дядька и вправду собирался бежать. Он уже нашел извозчика с телегой, который согласился отвезти их с женщиной и ребенком в Нижний Тагил, на вокзал.

У этой телеги их и взяли. Вместе с деньгами...

На суд ходили только старшие детдомовцы. Дядька кричал, что они, щенки неблагодарные, что он вытащил их, спас. А они так отплатили ему. Бабушки на суде не было. Она лишь слышала рассказы о нем.

Дядьке дали десять лет, его женщине – три, за соучастие. А сын женщины остался в том же детдоме в Петрокаменске.

Выяснились на суде и еще кое-какие подробности. Что направлялся детдом в Кировоград, а вовсе не в Петрокаменск, где их никто и не ждал. А еще оказалось, что директорский портфель Дядька выкинул по дороге. Вместе с портфелем пропали все документы. И детские метрики тоже. Так что возраст младших высчитывали примерно – по классам. И дни рождения всем назначили новые.

А когда выдавали документы, местом рождения указали всем село Петрокаменск Петрокаменского района Свердловской области. Как будто и не было длинной дороги на Урал от самой Украины, из Лебедина, куда, может быть, так никто и не вернулся за похороненными галстуками.

Евгений Ткачев

ВСТРЕЧА

Возникший на пороге фанат был грязен, от его огромного рюкзака с привязанным туристическим ковриком пахло дальней дорогой. В руках он держал книгу. Приглядевшись, я узнал её... «Воины Риала». Моя... моя книга. Полтора года писавшаяся и лет десять придумывавшаяся. Пришлось сменить гнев на милость.

– Да, – вальяжно промолвил я.

Фанат судорожно сглотнул.

– Пожалуйста, проводите меня, – робко попросил он.

Честно говоря, как-то не так представлялась встреча с поклонниками своего творчества. А где просьба об автографе и все такое прочее? Бутылочка коньяка и коробка конфет?

– Туалет прямо и налево, – недовольно буркнул я, слегка посторонившись. Однако фанат продолжал стоять на пороге и смотреть с немым укором.

– Я не туда хотел, – наконец сказал он, спрятав книгу за спину.

– А куда?

В голову полезли дурацкие мысли о квартирных грабителях. Пока один отвлекает доверчивого хозяина, другой залезает через балкон и выносит дорогую технику. Хотя вряд ли... я живу на девятом этаже. Ко мне можно забраться или на вертолете или при помощи сотни воздушных шариков.

– Домой.

– Откуда мне знать, где ты живешь? – мысли о грабителе на воздушных шариках вспыхнули с новой силой.

Фанат побледнел, покраснел и, наконец, покрылся багровыми пятнами.

– А это как же? – снова выставил перед собой книжку.

На обложке красовалась полуголая девица с огромным мечом. Такой художник увидел богиню Аре-Хин в тот момент, когда она наставляла главного персонажа на подвиг.

– При чем тут книга? – удивился я. – Это же не географический атлас. Это фэнтези. Полет моей фантазии.

– Но вы так описывали бескрайние зеленые поля Риала! Его реки и глубокие озера. Вы там наверняка были.

– Где? – опешил я.

– В Риале, – судорожно сглотнув, доверительно промолвил фанат, нервно оглянувшись. – Я, конечно, понимаю, что вам запретили об этом распространяться, но ведь можно в порядке исключения...

– Вот что, уважаемый, – начал свирепеть я. – Да будет вам известно, нигде я не был. Даже на ролевые игры не езжу, а вот вам следует прекратить там появляться. Заигрались вы слегка.

После чего попробовал закрыть дверь, но фанат ловко выставил ногу. Он смотрел умоляюще, пришлось ослабить нажим.

– Вы понимаете, я заблудился. Этот мир не мой. Я так долго ищу путь обратно, что, честно говоря, начал отчаиваться. А тут вы со своей книгой. Я ведь сразу узнал...

– Что вы узнали?

До меня начало медленно доходить. Скорее всего, это из компании местных эльфов, как их называют бабушки у подъезда. Ролевики со стажем и громадным мастерским опытом. Я несколько раз наблюдал, как они во дворе испытывают свои луки. А когда узнали, что у меня выходит первая книга, один, с первого этажа, сразу начал набиваться в соавторы. Мол, у него куча новых оригинальных идей. Я, конечно же, отказался. Идей у всех полно.

– То, что вы побывали у меня дома. Я не совсем понимаю, за какие заслуги великая богиня Аре-Хин переносила вас в наш мир, но я узнал его и теперь только прошу, чтобы вы помогли мне вернуться домой.

– Вот что, уважаемый, – терпение начало подходить к концу. – Вы, я вижу, внимательно изучили книгу, за что большое спасибо. Но никуда никакая богиня меня не переносила. Книжку я написал в стенах этой квартиры, покидая ее только для путешествий в магазин за продуктами. Максимум, на что вы можете рассчитывать – это автограф. Никакого пути обратно я не знаю.

Выдернул книжку из рук фаната, быстро расписался на первой странице.

– Можете быть свободны и передайте своему другу с первого этажа, что в соавторы я его все равно не возьму.

Фанат уставился на возвращенную книгу, и я быстренько захлопнул перед ним дверь.

Авторская слава не столь приятна, как мечтается многим её соискателям.

Вернувшись в кабинет, сел за компьютер. На экране светилась страница текста «Воины Риала-2». Перечитал последний абзац и грохнул его к чертовой бабушке. Текст не шел. После того как отправил своего первого героя за край миров, новая команда приключенцев бунтовала и совершенно не желала приключаться.

Подошел к окну.

Фанат стоял посреди двора, тоскливо глядя на мое окно. Но вот повернулся и, закинув рюкзак за спину, направился к остановке.

Видимо, решил отложить на завтра визит к своему приятелю, чтобы рассказать о том, что его очередная попытка набиться в соавторы провалилась. Я снова уселся за компьютер. Текст не шел и упирался всеми возможными способами. Я вздохнул.

А все-таки, чёрт возьми, интересно знать, что такое они там придумали?

Дмитрий Кадулин

НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ

Дом престарелых города Н. – место не самое запущенное. Екатерина Михайловна с облегчением поняла это, когда её под руки ввели в уютное, светлое помещение. Множество глаз были устремлены на неё в тот момент, в основном старых, больных, и, глядя в них, нельзя было сказать, что они думали о ней, – все они глядели на неё почти равнодушно. Было тихо, грустно, но, проходя по коридору мимо них, Екатерина Михайловна почувствовала, что здесь ей будет покойно.

Её ввели в свою комнату и усадили на постель. Сын и заведующая в белом халате Марина стали что-то обговаривать между собой. Затем сын ушёл, Марина, посидев немного и поговорив с ней, тоже. Были няньки, они поздоровались, посидели и тоже ушли. Так Екатерина Михайловна впервые осталась здесь одна, ощущая и обдумывая новое своё положение. Рядом в комнате на соседней постели располагалась её соседка. Она спала, но, как выяснилось после, притворялась, что спала.

Старушкам принесли обед – сухарики, похлёбка. Няньки понравились Екатерине Михайловне, да и она, видно было, им тоже. Тогда же она смогла увидеть и лицо своей соседки – хмурое, красное. Та постоянно ворчала, но была всё-таки довольно сдержанна, и это утешало. Так начался первый день Екатерины Михайловны в её новом и теперь уже последнем пожизненном пристанище.

С соседкой она говорила мало всё последующее время, начатый ей было разговор не поддерживался, и если Екатерина Михайловна что-то и узнавала о ней, то от других лиц. Других лиц было не так много в доме, хоть все места были заняты, и он считался переполненным. Неделями, а потом и месяцами ничего не происходило здесь, и, если что-то менялось, то только нехитрое меню, да лица няnek – и то по графику. Но иногда здесь умирали, и через день или два в доме появлялся новый человек, но точно такой же, как все и никому не нужный. Все они были хлам.

Сын приходил к ней редко, раз в две недели, потом раз в месяц, но и этого было достаточно. Родственной связи между ними как будто не существовало. С самого его детства Екатерина Михайловна чувствовала это, она и рада была бы, да не могла любить его как сына. Она старалась скрывать это от него, а потом и сам он тоже. Время шло, он вырос и женился. Внуки любили Екатерину Михайловну, но разъехались по другим городам. Так после развала второго брака она осталась одна.

Своей квартиры у сына никогда не было, и временами он с семьёй вынужден был жить в двухкомнатной у матери. В один из этих переездов она и уговорила сына отвезти её в приют. В доме престарелых Екатерина Михайловна хотела укрыться от подступившего к ней в последнее время одиночества, но, как это водится, одиночество обступило её не в результате нехватки общения, знакомые и здесь, и там были у неё, а просто потому, что оно было в ней сейчас. Однако нахождение постоянно среди

людей, бережный уход притупляли это чувство. Здесь Екатерина Михайловна провела одиннадцать месяцев.

Ночью она проснулась. Она открыла глаза и лежала так некоторое время, ничего не думая. Она приподняла голову и осмотрелась. Поток света вяло падал из окна, и она могла различать предметы. Всё было как обычно в комнате, только свет как-то по-особенному ложился на иконку на стене. Иногда, когда Екатерина Михайловна не могла уснуть, она глядела на иконку в темноте, но так, как свет падал сейчас, было впервые.

Не придав этому значения, она поднялась и подошла, шаркая, к окну. Было так тихо, что шаги её, казалось, были слышны на соседнем этаже. Но когда она остановилась, чтобы приподнять штору, тишина возобновилась. Она упёрлась обеими руками на холодный подоконник, чтобы стоять дольше, занавеска тем временем укрыла её со спины. На улице тоже было тихо. Была зима, было темно, лишь фонари виднелись кое-где да неяркий свет горел в окнах жилых домов неподалёку. Стекло окна, в которое смотрела Екатерина Михайловна, было прозрачно, не как обычно зимой, когда на нём ледяной узор. Она всматривалась вдаль, в детали, и, казалось, зрение её обострялось. Она смотрела на небо, на котором горели звёзды. Она даже нагнулась, чтобы видеть больше неба, дыхание её тем временем оставалось на стекле. Она так давно не смотрела туда, что ей стало страшно. Столько лет она пренебрегала его красотой. Теперь она глядела туда, и сердце у неё смягчалось. Одна звезда вдруг сорвалась вниз, оставляя след за собой, или это ей вдруг показалось? Только однажды она видела падающую звезду. Они шли тогда с отцом по просёлочной дороге и смотрели в небеса. Как она была счастлива тогда, никого не могло быть счастливее в целом мире. Она вспоминала это время и старые, но чистые, ясные глаза её увлажнялись. Жизнь показалась ей игрушкой, мгновеньем, когда предстала перед ней в своей целостности и полноте. Забывалось плохое, оставалось только хорошее, любимые люди, лица которых проходили у неё перед глазами. Была ли она теперь похожа на ту девчонку в юбочке, которая объяла любовью весь мир, и мир был счастлив, красив и светел...

Ещё немного простояла она у окна, потом задёрнула штору и вернулась, кряхтя, в постель.

Утром няньки, пришедшие к Екатерине Михайловне на процедуры, обнаружили, что она умерла.

ДВОРЦЫ И ЗВЁЗДЫ

Неторопливым, размеренным шагом, о чём-то крепко задумавшись и от того поглаживая на ходу редкую бородку, из комнаты в комнату пробирался по дворцу старший зодчий королевства, мелкий феодал Литиан. Он шёл по залам и коридорам, убранством которых восхищались самые богатые гости. Самые искусные мастера из далёких и соседних королевств хвалили их и тайно завидовали необыкновенному таланту Литиана.

Визиты зодчего к королю были частыми, но всегда сулили много неожиданностей. Монарх часто менял свои капризы по отношению к строящемуся зданию, и Литиану приходилось заново перечерчивать уже продуманные схемы и планы. Так было и с возведением этого дворца, который был настолько красив, что бедному зодчему пришлось долго уговаривать короля наконец закончить строительство.

Его Величество Леопольд Третий, прозванный в народе Златострой, обожал всякого рода искусства. Он сам любил рисовать и охотно музицировал. Но особенно трепетно он относился к архитектуре. Важнейшие здания столицы: Дом суда, рынок, центральный театр – он придумал и спроектировал сам, щедро покрывая позолотой вершины карнизов и купола.

Леопольд понимал, что мастерства Литиана ему не постичь никогда, и поэтому возведение дворцов доверял лишь ему. Сейчас в тронном зале он торопливо перехаживал из угла в угол, явно замыслив что-то новое и совершенно необычное.

Этого и боялся Литиан, он сейчас как раз заканчивал строительство акведука, и причуды короля были бы теперь очень некстати.

– Литиан, дорогой мой, – воскликнул король, – ну наконец-то ты явился.

Зодчий как раз вошёл в зал и собирался поприветствовать монарха.

– У меня для тебя есть что-то новенькое и совершенно необычное.

– Но Ваше Величество, – начал Литиан, – хотелось бы напомнить Вам, что сейчас я заканчиваю...

– Да, да, – отрезал король, – я поручу его другим.

– Но Ваше Величество!

– Ты слышал меня, – торопливо сказал Леопольд и, взяв за руку зодчего, потащил его в кабинет.

Невысокий, сутуленький король очень суетился. Он сиял сегодня, хоть и казался немного невыспавшимся.

– Смотри, – взизгнул он и протянул Литиану стопку бумаг.

Листов было немного, но они были забиты чернилами. Арки, колонны, залы, галереи: в них не было ничего особенного. В них был какой-то общий, единый замысел, но он не показался зодчему интересным. Странно, что среди всего этого могло так привлечь короля?

– Этот дворец мне привиделся во сне, – начал Леопольд, – прости, я плохо тут нарисовал, но здесь всё, что я смог вспомнить, проснувшись. Ведь это тоже неплохо?

– Новый дворец?

– Да, он приснился мне сегодня ночью, – король опустил беспокойные руки и медленно подошёл к окну. – Я гулял по залам и садам, поднимался на балконы, купался в бассейнах. Каждый камень дышал там чем-то живым и прекрасным... Фонтаны, колонны, скульптуры: всё это было совершенным, всё это пело мне и звало остаться там навсегда!..

Литиан ещё раз посмотрел на листки. В них было только то, что чувствовал и видел только сам король. Но это ещё предстояло увидеть и Литиану.

– Тебе нравится? – спросил Леопольд.

В его голосе чувствовалось что-то наивное, детское, будто маленький ребёнок протягивает свой рисунок маме и ждёт похвалы.

– Потрясающе, – пробормотал зодчий, – но позволь мне сначала закончить акведук, он уже почти...

– Нет, нет, мой дорогой, дело, сам видишь, неотложное.

Литиан брезгливо потёр пальцы от позолоты, отмеченной на листках жёлтой краской.

Его Величество Леопольд Третий снова повернулся к окну и торжественно ткнул пальцем в холмик у самого горизонта:

– Дворец будет строиться там, на Фирикийском холме!

Литиан сидел у окна своего небольшого домика и печально провожал закат. Перед ним на столе лежали злополучные листки, и работа над ними не обещала мастеру ничего хорошего.

– Я принесла чай, – тихо проговорила Амелия, жена Литиана, неброская, но приятная женщина.

Она зашла в комнату и поставила чашку на стол.

– Новый каприз короля? – спросила Амелия.

– Дворец, – тоскливо протянул зодчий, – как ни стараюсь, ничего не могу поделать с этими бумажками.

С лёгкой улыбкой она подошла к столу и посмотрела на наброски, сделанные неловкой королевской рукой.

– Из этого никогда не получится ничего стоящего, – сказал Литиан, глотнул тёплого чая и поднялся из-за стола, – Леопольд должен отдавать себе отчёт в том, что разочарование будет неизбежно. То, чем он восхищался во сне, вряд ли принесёт тот же восторг в реальности!

Зодчий нервно ходил из угла в угол своей мастерской.

– Я не способен сделать ничего стоящего из этого убожества!..

Литиан явно погорячился. Он снова посмотрел в окно и затем обессиленно рухнул на стул.

Амелия зажгла несколько свечей, чтобы разогнать сумрак, приоткрыла окно и снова посмотрела на листки.

– Леопольд знает, чего хочет от тебя.

Литиан лишь неуверенно пожал плечами.

Амелия наказала мужу не засиживаться допоздна, пожелала ему спокойной ночи и покинула мастерскую, готовясь ко сну.

Была тихая летняя ночь, когда всё живое вокруг замирает, и даже листья на деревьях молчат, не шелохнувшись. Когда тишина заполняет весь мир и есть только ты один да огромные яркие звёзды в бесконечно глубоком, бескрайнем чёрном небе.

Литиан, молча и не торопясь, шёл по знакомой тропинке своего маленького поместья, изредка поглаживая бородку. Он никак не мог уснуть. Мастер свернул на ровную и гладкую поляну, и теперь ему не надо было различать в темноте неровности дороги. Он шёл и смотрел на прекрасное ночное небо, на по-редкому яркие и чистые звёзды во всём их волшебном блеске и торжественном величии.

Литиан остановился и улёгся на поляну. Он лежал и смотрел на звёздную пыль, дышал ею и обо всём давно уже забыл...

Лёжа в траве и слушая сверчков, он почувствовал, что засыпает; медленно поднялся и отправился домой. По дороге он увидел знакомую яблоню, которая, казалось, снится ему, и он, наверное, тоже ей сейчас снился. А, может быть, ей снился король, частенько проезжавший здесь, когда собирался погостить у Литиана.

Что-то новое было в этой яблоне, что-то необыкновенное, листья слишком красиво купались в звёздах.

Неожиданно исчезла всевластная сонливость. Зодчий вдруг резко застыл, рассматривая изгибы веток, их размеры и пропорции. Он просто-ял так с полминуты.

– Ай да Леопольд! – вдруг воскликнул он и бросился домой.

Дерево и звёзды ясно повторили замысел короля. Как будто наяву увидел мастер стены нового дворца, как будто сам побывал там вместе с королём и увидел всё, что видел Леопольд. Теперь он вприпрыжку бежал по тропинке, спотыкаясь, но не падая: звёзды вели его по дорожке, мягко освещая путь.

При свете свечи Литиан марал бумагу вязкими чернилами, он слишком часто макал в баночку гусиное перо. «Ай да король, ай да умница!», – повторял он и выводил очередной фасад. Он работал всю ночь и смог заснуть лишь тогда, когда дошёл до конца последний штрих, а там, за окном, Фирикийский холм на горизонте заполнили первые лучи восходящего солнца.

Борис Пейгин

ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ ИПСИЛАНТИ

Глава из повести

* * *

Осенью в городе подорожал бензин. Осенью вообще всё подорожало. Люди, чертыхаясь, ходили по рынкам и набивали пакеты и авоськи свежей картошкой и капустой, редькой и патиссонами.

С работой ничего не выгорело. Все сезонные приработки были уже закрыты, почты и заправки хотели видеть у себя только совершеннолетних, а больше сунуться было и некуда.

Ночевать в «долгострое» было уже нельзя. Во-первых, ночи были уже по-настоящему холодные, а во-вторых, вокруг расположенных по соседству теплотрасс начали кучковаться бомжи, видимо, в предвкушении отопительного сезона. Да и запасы подходили к концу. Эти проблемы надо было как-то решать, но у Коптильниковика никакого ясного плана на этот счет не было. У Инны тоже не было, зато было немало решимости его придумать. Она чувствовала на себе какой-то облагораживающий груз ответственности за всё происходящее. В конце концов именно

она втянула Григория в эту затею. И потому целыми днями ломала свою многоумную голову в поисках решения, пока наконец не подобрала подходящее. Звучало оно примерно так:

– Гриша, – она мягко положила руку на его плечо и наклонилась к его уху, – а что, если где-нибудь на даче, а?

– На какой даче? – не сразу понял Коптильников. – У тебя дача есть?

– Да нет же, не у меня. Просто в любом дачном поселке, где потише. В домиках зимой же всё равно никого нет. Вот там и посидим. Ещё в огороде успеем покопаться: может, там что не убрано осталось.

– А ключи? Как дверь откроем?

– Да откроем как-нибудь, – отмахнулась Инна от вполне резонного вопроса.

– А если там сторож в посёлке в дачном?

– Ты думаешь, он в каждом посёлке есть?

На это Коптильникову возразить было нечего. Пришлось только пожать плечами, пересчитать мелочь в карманах и поехать осматривать все места скопления мичуринских, какие он только помнил, да ещё те, что Инна подсказала.

Между тем начало холодать. Где-то в третьей декаде сентября грянули первые заморозки, а через неделю выпал первый снег, и почему-либо зазевавшиеся дачники теперь в панике забегали по своим огородам, спасая всё то, что ещё было можно спасти.

Коптильников возложенные на него обязанности исполнил без особого энтузиазма, но к решению проблемы подошёл очень добросовестно. Потратив в общей сложности четыре дня на осмотр мест для «залегания на зимовку», как он сам это называл, он таки нашёл подходящее. Это был небольшой кирпичный домик на отшибе безымянного поселка, в народе именуемого «114-й километр». Вид и у дома, и у участка был весьма запущенный – здесь, по меньшей мере, год явно никто не бывал. Дверь была заперта на замок, но по найденной тут же приставной лестнице Григорий без особого труда проник внутрь через разбитое окно мансарды и уже изнутри отпер дом. Особенно приятным сюрпризом было то, что ключ нашёлся там же, под порогом. Положив его после некоторых раздумий в карман, Коптильников вышел из дома, вновь заперев дверь.

Дорога в посёлок была длинной, путаной и грязной, и потому люди туда предпочитали добираться на пригородном поезде до одноименной платформы. Железнодорожная ветка, возле которой посёлок стоял, была неэлектрифицированной, и электричек там просто по определению не было. Итак, две пары поездов в день – один настоящий пригородный, а второй – какой-то 600-й, но, в сущности, тоже пригородный – из восьми вагонов половина сидячих да два общих. Ещё был малополезный, без особого расписания, автобус, который зимой, как говорили, не ходил. Посёлок от ближайшей деревни отделяло бескрайнее картофельное поле. Картофель с него уже убрали, и оно отдыхало – до самой весны.

Коптильников, пиная камни гравийной отсыпки, слонялся без дела по посёлку, а вокруг бегали суетливые, как всегда по осени, дачники, в багажники и на прицепы грузили мешки с урожаем, жгли мусор, топили

печи, мыли окна, подметали в домах. А ещё стучали молотки – двери заколачивали на зиму.

... Инну наличие ключа и вовсе привело в восторг. Выслушав рассказ Григория до конца, она тут же, не теряя ни минуты, скидала в рюкзаки вещи, и беглецы стремглав ринулись на вокзал – до второго и последнего на сегодня поезда в нужную сторону оставалось минут сорок.

* * *

Прошла ещё неделя или, может быть, дней десять, прежде чем я снова оказался в Баламутовке. В кафе «Анна» был санитарный день, и потому я сразу направился к Ипсиланти, которого застал за внимательным созерцанием какой-то придорожной травки на тротуаре. Я подошёл к нему со спины, но он, услышав шаги, обернулся заблаговременно:

– А вот и снова ты. Рад видеть.

– Я тоже рад. Чем занимаешься?

– Да вот, видишь, на траву смотрю. Это чина луговая. Просто удивительно, как она тут не померзла.

Здесь он был прав. Последние несколько дней по ночам были сильные заморозки, ненадолго выпадал снег.

– Удивительно.

– Слушай, – Ипсиланти встаёт и закуривает, – ты здесь до завтра?

– До завтра. Более того, может быть, даже до послезавтра, как указания от руководства поступят. Но до завтрашнего вечера в любом случае.

– Тогда, может, сплаваешь завтра со мной?

– Куда?

– До острова, у меня там в лабазке рыба осталась вялиться. Я хочу снять, сюда, в дом перевезти, а то как бы, не дай Бог, не перемерзла, растает потом – сгниёт.

– Могу и сплавать, – отвечаю я, – у меня на завтра особых планов нет. – И это чистая правда. Всё лучше, чем смотреть на Нурика, дрыхнувшего в гостинице.

Часов в восемь вечера отправляюсь к Марине. Дверь в квартиру почему-то не заперта, и я захожу без стука. Она сидит за столом в кухне, проверяет тетради. Вид у неё удручённый. Надо полагать, ничего хорошего там не пишут. Увидев меня, Марина меняется в лице, выходит в прихожую и нежно меня обнимает. И никого ничего не удивляет – она принадлежит к числу тех женщин, которые ни о чём лишнем не спрашивают, и, если уж позволяют к себе приходить, то позволяют делать это без приглашения, или просто оставляют ключи от своих дверей; меня же просто трудно чем-то удивить.

– И что, – спрашиваю я, пока Марина накрывает на стол, – как здесь жизнь?

– Всё так же. Кризис – это везде. И ученики умнее не становятся. А ты?

– Я нормально.

– Нормально? И слава Богу. Ладно, давай пей чай, приходи в себя, а то выглядишь совсем плохо.

Это самый простой дешёвый чёрный чай в пакетиках, а к нему – самое простое, советской закалки, печенье и три-четыре прошлогодних карамельки. Но это всё куда как приятнее, чем даже самый вкусный борщ в плотниковском заведении – потому что это для меня.

– А ты представляешь себе, – говорю я, – Ипсиланти меня завтра с собой позвал до острова с ним сплавать. Как думаешь, плыть?

– А ты согласился?

– Согласился.

– Тогда плыви. По крайней мере, убить он тебя не убьёт, может, расскажет что-нибудь интересное. У него же всяких баек миллион.

Потом сидим в гостиной. Работает телевизор, но звук выключен, и я его не смотрю. Я смотрю на Марину. Та сидит за журнальным столиком и раскладывает на нём какое-то гадание. Она вообще неплохо гадает на картах: с её слов, она, пока жила в Архангельске, умудрялась на этом зарабатывать.

– Знаешь, – вдруг говорит она, глядя на меня с тревожной улыбкой, – странное дело.

– Что именно?

– Карты. Никогда такого не видела.

– Ты, кстати, на кого гадаешь?

– На тебя.

– И что там?

– Я говорю – странное дело. Получается, что ты, как бы это сказать, что-то соберёшь воедино, соединишь, сам того не подозревая. Не знаю, что это должно быть конкретно, ничего на ум не приходит. Я третий раз перекладываю, всё выходит одно и то же.

– Действительно интересно, – отвечаю я, – что бы это могло быть? Получка и аванс? Или расчёт и отпускные? В наши дни нечего и удивляться.

– Ты не понимаешь. Это что-то большое, важное. Серьёзное.

– За три месяца получка, что ли? – спрашиваю, почти смеясь.

– Да ну тебя. Ничего ты вообще не понимаешь, – говорит она, всё так же улыбаясь, и садится ко мне на колени.

Рано утром, пока Марина ещё спит, я встаю, и тихо, как мышь, выхожу из квартиры, захлопываю дверь; брюки приходится надевать уже на лестничной площадке.

Ипсиланти ждёт меня возле входа в кафе; ни на какое конкретное время мы с ним не договаривались, он просто ждёт. Видимо, он просто мне верит.

– Как спалось? – спрашивает он, пожимая мне руку.

– А ты знаешь, ничего. Мило и тепло. И мухи не кусают.

– Ну что, пошли?

– Пошли.

Ипсиланти хранит своё плавсредство в полуразрушенном бетонном эллинге возле старого причала в затоне на широкой и медленной реке,

названия которой я не знаю. Ночью опять подморозило; с неба сыплется ледяная крупа. По реке идут шуга и сало; затон подёрнулся корочкой прозрачного льда. Покрошив лёд ломом для очистки совести, Ипсиланти выводит старенькую лодку на воду и заводит мотор.

До острова плыть почти двадцать минут. Ипсиланти правит, сидя на корме, я полулежу на дне лодки, на носу, и смотрю через борт то на небо, то в воду. Они почти одного цвета – серые и блеклые. А на воде блестят ледяные искорки.

– Здесь даже осенью хорошо, – говорит Ипсиланти, – пожалуй, даже лучше, чем летом.

– Почему?

– Не жарко, и комаров нет. Зато и рыба хуже идет.

– А как же зимой? Подлёдный лов?

– Прошлую зиму еле перекантывался, а в этот раз в районе обещают общественные работы. Надеюсь, возьмут. К январю запасы кончатся, тогда, боюсь, туго будет. Но, авось, пронесёт.

– А свалить отсюда ты не подумывал?

– Можно и свалить. Понимаешь, в том вся и прелесть. Решение приходит внезапно, спонтанно, и тогда я куда хочу, туда и еду, чем хочу, тем и занимаюсь. Сегодня здесь, а завтра там.

Тем временем лодка ломает перемёрзшие ветки прибрежного ивняка, и мы причаливаем к заросшему кустами и бурьяном острову. «Лабазок» Ипсиланти стоит метрах в пятидесяти от воды, на пригорке, и скорее напоминает сарай, чем настоящий лабаз – сколочен кое-как, поскрипывает на ветру, но держится. На проволоке, привязанной к шесту, вялится рыба – но каким-то необычным способом, не продетая через глаз, а иначе: мясистые части, нарезанные кубиками и очищенные от костей, прямо на лентах нечищенной, в чешуе, кожи.

– Что, – спросил Ипсиланти, видя, как я смотрю на рыбу, – удивлён?

– Да. Тебя кто научил так рыбу вешать?

– Это что-то вроде юколы. Национальное блюдо у некоторых северных народов. Так она лучше высушивается и хранится дольше, потому что голов и брюхи нет. Хочешь попробовать?

– Нет, спасибо, в другой раз, – я, конечно, Ипсиланти уважаю, но глистов всё-таки побаиваюсь.

Ипсиланти выносит из лабаза старый примус, зажигает его и ставит старый полуржавый чайник. Когда тот закипает, бросает в кипяток три чайных пакетика, принесённых оттуда же, из лабаза, а полученную жидкость разливает по чашкам; одну чашку даёт мне, из второй начинает пить сам.

Мы садимся на завалинку возле двери, пьём чай, курим и разговариваем. Над нами на верёвке висят веники из сухой полыни, Melissa и чего-то ещё столь же душистого; пахнет травами и огоньком от примуса.

– И всё-таки я не понимаю, – говорю я, – что ты делаешь именно здесь? Почему не у себя на родине? Или не где-нибудь ещё?

– Здесь мне просто нравится. Места красивые.

– Но ты ведь много где бывал. Неужели красивее не видел?

– Видел. Но здесь тоже хорошо. Но это не главное. Как-то мне здесь спокойно, меня отсюда пока не тянет куда-нибудь ещё. Когда-то обязательно потянет, но не сейчас.

– А если жить где-нибудь за границей? Ты бы хотел?

– Нет.

– А что так? Ты патриот?

– Да не то что бы. Просто ты не понимаешь, наверное, даже, в какой прекрасной стране мы живём. И в какое прекрасное время!

– Да ну?

– Ну разумеется! Ну, скажи, Виталя, ну где ты ещё в мире найдёшь что-нибудь подобное? Ведь только в нашей чокнутой стране я могу идти по любой дороге в любом направлении, брать попутки и посылать их к чёрту, сходить с дороги и сворачивать в лес, залезать на любое дерево и пить из любой реки, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу и не платить за это, не получать никаких разрешений и ни перед кем не отчитываться! Конечно, есть много исключений, но главное, что есть возможность! Я могу говорить с людьми и могу оставаться один, есть куда уходить, где побыть одному, и могу шуметь в любое время суток и никто мне будет не указ! Скажи, где ты ещё найдёшь это? Попробовал бы ты в той же Германии без разрешения в лес зайти! Или во Франции мусор выкинуть не в ту урну! Или в Штатах вывесить рыбу сушиться на балконе! А здесь я могу, и закона не нарушу. Пойми ты, у нас тут полно проблем, но только в этой чёртовой стране я могу сам найти себе еду и воду, и никому за это не платить, и ни у кого не спрашивать о том, чего мне сегодня хочется, – щучьей ухи или жареных карасей! Знаешь, с чем я сюда пришёл, в эту Баламутовку?

– И с чем же?

– Вот в этой ветровке у меня были ручка, спички, блокнот и расчёска из поезда. И ещё была закидушка с тремя крючками. И я с этим вот всем выжил, не умер, и, заметь, ни у кого ничего не украл и никого ни о чём не просил. И этим я горжусь.

– Ипсиланти, ты сумасшедший, – почти всерьёз говорю я, хотя после его слов не могу сказать, что стал относиться к нему хуже.

– Да, я, чёрт возьми, сумасшедший. И это хорошо.

– Слушай, неужели тебя никогда не тянуло назад, к тому, что ты где-нибудь да оставил, к нормальной жизни?

– Я много лет жил нормальной жизнью. Только в экспедициях и отдыхал. От матери, от жены, от семьи и от города. Не значит, что я их всех не люблю. Просто мне нравится так жить, и это ещё не значит, что я в чём-то перед ними виноват. Может быть, у меня дромомания. Может быть. Но я так долго ждал, пока всё то, что меня связывает, исчезнет, и я свободен, наконец-то, Я ЖИВУ!!! И я просто хочу жить так, как мне хочется. Это же так просто, чёрт возьми!..

– А хоть за что-то тебя совесть мучает, а?

– За дочь. За то, что оставил её, не нашёл сил прийти и просить прощения, за то, что не могу иначе. Она единственная, перед кем мне и вправду стыдно. Надеюсь, она считает, что я умер. Ей на самом деле так будет проще. Она тогда ничем не будет себя терзать.

– А как же надежда? – недоумеваю я. – Надежды ты ей оставить не хочешь?

– Надежды на что? Ты сам на меня посмотри, ну, какой из меня отец? Пойми, я, может, умею любить, но совершенно не умею привязываться. Просто я такой, ничего с этим не могу поделать.

– И тебе не жаль?

– Нисколько. Не знаю, понимаешь ли ты меня, надеюсь, что понимаешь. Ай, ладно, – Ипсиланти машет рукой, словно стесняется всего сказанного, – давай рыбу грузить. Поживём – увидим.

Вернувшись в Баламутовку, застаю Нурика в кафе, уплетающего щи. Никаких эмоций на его лице по поводу моего возвращения нет. Да и ладно. Я спрашиваю у него:

– Когда поедем?

– Когда скажешь, тогда поедем. Вот только суп доем, да?

– Кушай, кушай на здоровье.

– Обижаешь. Целый день голодный.

Наконец Нурик разбирается со щами, и мы идём на стоянку. У дверей меня караулит Ипсиланти, и когда я выхожу, спрашивает:

– Слушай, а всё-таки, ты записку передал?

– Передал.

– Спасибо. Скажи... а как там она?

– Она в порядке.

Анастасия Антохина

* * *

Крылья отрастают больно,
Мне выламывая плечи...
Как строки узор неровный,
Облака летят навстречу.

Снова крылья отрастают...
Есть ли правда в этой роли?
Облака к утру растают –
Мы расстанемся с тобою.

У тебя – свои тревоги,
У меня – свои напасти...
Перепутье, две дороги –
К одиночеству и к счастью.

* * *

Может, просто мы устали –
Чувства сделались немymi.
Мы с тобою, милый, стали
Параллельными прямыми.

Но однажды, на рассвете,
Облака земли коснутся.
И тогда прямые эти
Может быть, пересекутся...

* * *

Мою руки мятным мылом,
Наливаю крепкий чай...
Про любовь твою забыла,
Да и ты не вспоминай!..

Косу дочке расплетаю,
Свет гашу, ложимся спать.
Почему же я пытаюсь
Тебя снова оправдать?

Дмитрий Кадулин

БЕССОННИЦА ОБРАЩАЕТСЯ...

Бессонница обращается
С тобой, как с тряпкой:
Скручивает узлом,
Выворачивает наизнанку.
Лежишь, глядишь
Одним глазом внутрь,
Другим наружу.
Впитываешь тишину.

МОИ СМАЙЛИКИ ПЛАЧУТ...

Мои смайлики плачут
С каждым часом сильнее.
Трёхколёсный калачик
На конце сообщения.

Мои смайлики смотрят
Друг на друга понуро,
И чернеет от скорби
Под стеклом монитора.

Но расстелется утро,
А под ним разлетятся
Вниз по клавиатуре
Твои лёгкие пальцы.

Я уймусь, сознавая,
Что случилась ошибка.
Ты гарцующей правой
Нарисуешь улыбку.

БУРЯ

(отрывок)

Из чёрных туч родился сумрак жёлтый,
И всё враждебней поднимались волны,
И всё упорней становился дождь.
И кто-то начал слабнуть и бояться
Волнения. В лодке было их двенадцать,
И каждый на другого не похож.
И качка не давала им покоя.
Пётр, подавая прочим знак рукою,
Вещал крепиться в вере. Тут и там

Над ними, падая, крестились громы,
И многие в сердцах роптали: «Дома
Не следовало ли остаться нам».
И в воды чёрные гляделись жизни...

Екатерина Юдич

* * *

Смотрю в окно и вижу много снега,
Засыпавшего за ночь целый двор.
Начальной точки утреннего бега
Найти не может мой голодный взор –

Белым бело. И крыши, и тропинки
Покрыты слоем снега. Небосвод
Мерцает белым пламенем. Снежинки,
Как искры, разлетаются. Но лёд

Их гасит, превращая в пепел белый.
Чуть дует ветер. Я смотрю в окно
И думаю, что где-то виноделы
Льют солнечное звонкое вино,

Которое Вы с наслаждением пьёте.
Не в белом Вы, а в жёлтом сне живёте.

* * *

Цветы сомненья снова манят пчёл
Своим густым и пряным ароматом,
И среди них, увянувших когда-то,
Мне неизвестный вдруг цветок расцвёл –

На тонкой ножке, чёрный и сухой,
Почти безжизненный, едва дышащий,
Придуманный и всё же настоящий,
Наружностью роднящийся с трухой.

Его б сорвать и выбросить в окно,
Под бег колёс и поступь пешеходов,
Где он, смешавшийся с судьбой уродов,
Погиб, исчез, как прочим суждено.

Но с жалостью храню я свой цветок,
Чтоб только он расти и дальше мог.

Елена Маланина

когда в глазах так ясно и нескромно
когда любовь ветвится как гроза
и хочется рубить с плеча как кромвель
или расставить знаки как балзак
я остаюсь во власти предложений
но связь видна как фи́га в кулаке
и мне легко пускать себя в брожение
держа тебя как молнию в руке.

* * *

вернуться в прошлое,
застыть каймою слюдяной
по берегам своих подземных рек.
сочиться в глину –
метр как парсек,
и Млечный Путь размазанной слюной,
по склонам губ, растресканных весной
спускаться вниз, ко впадине ребра
и ощущать сквозь тяжкий слой земной
свой город мёртвых,
 город мой родной.

от меня до весны километры по снежной степи
заплетаются сны и уже не хватает дыхания
выдыхать на морозе клубящийся никотин
распадаясь на слоги желания и расстоянья
я почти не видна я герой не своей стороны
от растраченных слов развивается комплекс молчанья
никогда не одна я сейчас у бетонной стены
и лопатками вижу опору в своем отчаяньи
от меня до тебя километры бессмысленных дней
и ни шагу с конвейера этой дурной истории
и от истины тошно и тесно на самом-то дне
только я и вина только мёртвое мёртвое море.

Софья Рубакова

* * *

Костры по ночам вдалеке не горят,
И песен никто не поёт.
У этого мира твой голос, твой взгляд
И даже дыхание твоё.
Я только за то благодарна судьбе,
Что прошлое тает, как дым.
Как жить, если всё говорит о тебе
И голосом плачет твоим?

* * *

Река закатом позолочена
И ожидания полна.
Повсюду ставни заколочены –
Во всей деревне я одна.

Дней прожила уже порядочно –
Давно утих дикарский пыл.
А лес нехоженный, загадочный
Вокруг деревню обступил.

Когда луна сокрыта тучами
И низкий стелется туман,
В лесу меж соснами могучими
Проходит призрачный шаман.

Едва мелькает меж деревьями
Его бесплотный силуэт –
Лишь бубен с росписями древними
Да глаз раскосых тихий свет.

Молитвы слышатся старинные –
Не ими ль я теперь дышу?
И ночи сумрачные, длинные
Перед окошком провожу...

...Пройдут года сырыми вёснами,
И я пойму, что жизнь – обман.
Тогда пойду гулять меж соснами,
Как тот неведомый шаман.

* * *

Последний автобус ползёт по шоссе,
По тихой дорожной ночной полосе,
Незримый водитель, ухабы кляня,
В какую-то вечность увозит меня.

Окно приоткрыто, и пахнет весной –
Сиренью, черёмухой, теплой сосной,
Мерещится вместо сиденья – кровать.
Я снова не высплюсь, мне рано вставать.

Потом от автобуса к дому – скорей,
С дорожки спугнув молодых сизарей,
Впиваются в тёмный асфальт каблуки,
А мир неизменен, не станет другим,

И дома всё то же – окно и диван,
Халат, одеяло и чаю стакан.
Да лучше б я сгинула в пасти ночной,
Чем жить в этом доме привычном одной.

* * *

Мне осень смеялась в лицо дождём,
А небо грозило тучами.
И голос холодный – давай подождём,
А, впрочем, расстаться лучше бы...

Я вроде не плакала, только чай
Казался от слёз солёным...
А ты говорил, уходя, «не скучай»
И был не в меня влюблённым.

Себя убеждала – забудь и остынь,
А небо смеялось грозами...
Я издали видела только зонты:
Твой – чёрный.
И рядом – розовый.

Лидия Лапина

Записки семейные

Листочки древа родового

*Мы все – листочки в древе родовом,
Но в них, листочках, –
 роскошь дивной кроны.
Лишь потому и мы с тобой живём,
Что Предок выстоял во время оно...*

Вот и у меня надвигается очередной юбилей. Скоро семьдесят. И вроде бы нужно подводить какие-то итоги. Но не об этом совсем думается. Всё острее и острее ощущаешь связь поколений, ощущаешь не просто своё Я, остро осознаёшь себя таким звёнышком-звеном, крохотным и, безусловно, необходимым, без которого разорвётся временная цепочка, прервётся родовая нить, что протянулась со времён оных до наших дней...

БОГДАНОВЫ

Отсчёт с года 1830-го

С малых лет помню восхищенный рассказ мамы, как на её свадьбе плясал её родной дед Станислав, а было ему тогда 102 года. Умер он через три года после той свадьбы, в возрасте 105 лет. Стало быть, прадед мой, Станислав Богданов, родился, представить почти невозможно, в 1830 году. Родился он в западной части России, в Витебской губернии, Полоцкой волости, от вольной любви влиятельного польского магната и его крепостной дворовой девки. Фамилию этого барина семейная легенда не сохранила. Мальчонке дали имя Станислав, сын Иванов, а по-уличному его звали Богдановым: отца законного нет, сына девке Бог дал ...

Время подошло – забрали в рекруты, и тянул Станислав Иванов солдатскую лямку ровно 25 лет. Вернулся на родину степенным мужиком, прилично за сорок. Невесту себе выбирал не на гулянках-вечёрках, ходил в сумерках по деревне, заглядывал в окна: моды на шторы-занавески тогда у сельчан не было. Всмотрел себе в жёны самую скромную, работающую, хозяйственную, домоседку...

Мама моя вспоминала о ней, своей бабушке, очень тепло, говорила, что та была добрая, вот только имя бабушки не запомнилось: бабушка да бабушка, а в документы заглянуть не довелось...

С ней и нажил, и вырастил Станислав четверых сыновей. Назвали их Антон, Фёдор, Тихон да Марк. Тихон, мой родной дед, родился в 1888 году, самый младший Марк – в 1890-м. Такой большой семьёй и отпра-

вились по Столыпинской реформе в начале двадцатого века на богатые сибирские земли. Основались под Томском.

Вот только когда волостной писарь переписывал вновь прибывшие из западных российских губерний крестьянские семейства, Станислав заробел, стушевался перед начальством и вместо своей официальной фамилии Иванов ляпнул уличное прозвище Богданов. Так и записали. И в сибирской глубинке появились новые Богдановы, польских и белорусских кровей. Работать мужики умели, рабочих рук хватало, хозяйство у Станислава образовалось крепкое.

* * *

Из той же деревни одновременно со Станиславом в Сибирь отправились ещё несколько семей, в том числе и бедняк Семён Верховин со своими домочадцами, батрачивший на местного барина. Когда добровольные переселенцы проезжали мимо барской усадьбы, дочь Стефанида предложила отцу: «Пойдём, попрощаемся с хозяином!». Тот с досадой отмахнулся: «Мало я на него батрачил, мало он у меня кровушки попил! Не пойду!». Девушка убежала одна. Барин неожиданно тепло пожелал доброго пути, сказал: «Далеко едешь, в холодные края!». И дал целый рубль. Это было очень много. Потом Семён жалел: «Знал бы, что рубль даст, пошёл бы...».

Вот эту самую Стефаниду Верховину и выбрал в невесты Тихон Станиславович Богданов, мой будущий дед. Не обрадовал родителей. Была она года на два постарше Тихона, да к тому же дочь батрака, с семи лет в работницах: сначала нянькой по чужим людям, потом на любых работах в барской усадьбе. Не хотелось крепким хозяевам с беднотой родниться. Но Тихон, добрейшей души человек, оказался несговорчивым, отстоял свою любовь, женился на Стеше. В приданое Стеше дали одну лишь тёлочку... Соответственно и жили потом они беднее остальных братьев. Отец для Тихона, женившегося против родительской воли, тоже не расщедрился...

Тихон и Стефанида

Тихон достраивал новый дом для своей семьи, когда началась германская война. Тихон очень торопился с домом, вот-вот на фронт отправят! В спешке засадил огромную занозу под ноготь, вытащить сразу не сумели. Разболелась рука, а строить надо! Бабка-знахарка посоветовала опустить палец в дёготь: присохнет, затем заноза с ногтем вместе вырастет. Так и вышло. Успел-таки Тихон со строительством, молодую жену с малым дитём оставил в новом доме.

После Октябрьской революции семья Тихона Станиславовича Богданова оказалась на заимке Ксендзовка. Там раньше было имение томского ксендза, а после революции организовалась трудовая артель. Ксендзовка эта находилась недалеко от Томской психбольницы (Сосновый Бор). Сейчас там город Северск, но какой именно район этого города раскинулся на месте Ксендзовки, сказать не могу. Одно время Тихон Станиславович был председателем сельсовета, потом отказался, ска-

зал, пусть молодые командуют, у них, мол, образование, а у меня грамотёшки маловато, всего-то церковно-приходская школа.

Моя мама рассказывала, что её родители во времена колчаковщины были связаны с партизанами. Вспоминала, как её, маленькую девочку, мать отправляла к тётке с непонятным поручением, мол, поддержи тётку за рукав и скажи: «Я пришла». Наверно, это был заранее обговоренный сигнал... Однажды в Тихона стреляли, через окно, кто – неизвестно, наверное, те, кому не по нраву пришлась артель. Тихону повезло, его даже не ранили. В ту пору жизнь в Ксендзовке была бурной и страшной. Приходили белые, их сменяли красные, налетали какие-то банды... И все устраивали расправы над местными жителями. Расстреливали, вешали, пороли, грабили... Выжить самому, защитить свою семью было невероятно трудно.

А вообще характер Тихона соответствовал его имени: он был тихий, добрый, славный человек. У него был хороший голос, он любил петь, играл на скрипке. Видно, Станислав заботился о воспитании детей, всё-таки был хоть и побочным, но сыном польского дворянина.

Тихон Станиславович рано ушёл из жизни, едва дотянул до пятидесяти пяти. Долго и тяжело болел. Умер он в Могочине 3 октября 1943 года от рака.

По-родственному

Из братьев Тихона Станиславовича лично я встречалась с одним – Антоном, моим двоюродным дедом. В конце 50-х годов прошлого века ему было около 80 лет. Полный, почти слепой, с отвисшими веками, он своей улыбкой, глубоким голосом, добротой, которая просто лучилась из него, притягивал к себе, располагал к откровенности. Но он только слушал, а рассказов его хоть о чём-нибудь не помню. Жил он тогда в городе Томске, на улице Школьной, в доме № 8, в районе Белого озера, с четвёртой женой, Евдокией, которая была моложе его лет на 30–35. Высокая, статная, с красиво уложенными вокруг головы русыми косами. Мне представлялось, что именно такими должны быть донские казачки. Поговаривали, что живёт она со стариком из-за его квартиры, мол, достанется ей после смерти, детей у него не было. Но обихаживала она его, следила за его здоровьем, налаживала быт – дай Бог так в старости каждому. В крохотной квартирке, состоящей из одной комнаты и маленькой кухоньки, было всегда чисто и уютно. И разговаривали супруги друг с другом всегда спокойно, уважительно.

Мои родители, изредка приезжая в Томск, останавливались именно здесь, на Белом озере, как они говорили. Отец тогда ездил и в командировки в облпотребсоюз, и за инвалидной мотоколяской, и на протезный завод, за очередным новым протезом, который оказывался таким же неудобным, неподъёмно-тяжёлым, как и предыдущие, и вскоре отправлялся в бессрочную ссылку в кладовку, где хранилось всякое старьё... Меня, студентку-первокурсницу, внучатую племянницу мужа, тётя Дуся привечала, кормила пшённой кашей, пирожками угощала...

Однажды сшила мне белую блузочку. Умер дед Антон в начале шестидесятых...

Другой брат Тихона, Фёдор Станиславович, жил тоже в Томске, недалеко от речной пристани. Гостей в его доме встречали довольно своеобразно. Летом 1957 года собрались мои родители навестить свою старшую дочь Маргариту. Та жила в Красноярске, после окончания радиофизического факультета Томского госуниверситета получила направление инженером на завод телевизоров. В жизни мамы это было первое и практически единственное далёкое путешествие...

В Томск прибыли на пароходе. Поезд на Красноярск только следующим днём. Зашли к дяде Фёдору, хотели попроситься переночевать. Хозяйка встретила их по-родственному: «Ой, у нас все любят останавливаться! У нас хорошо – столовая рядом!». Дочь дяди Фёдора молча прошла мимо незваных гостей в комнату. Переглянулись мои отец с матерью и поехали на Белое озеро, к дяде Антону. Там и переночевали.

Марк Станиславович обосновался в селе Могочино, жил по соседству со Стефанидой и семьями её сыновей. Моя мама встречалась с ним, когда, раза два-три в послевоенные годы навещала своих родственников.

Бабушкины петухи

Так и не пришлось за всю жизнь труженице Стефаниде выбиться из бедности. Отец её, Семён Верховин, что ни говори, больше выпить любил, с хозяйством у него не очень получалось. Мать её, женщина тихая, безответная, постоять за себя не умела. Было у них два сына и две дочери: Иван, Роман, Евдокия и Стефанида. Когда старший сын женился, невестка быстренько оттёрла свекровь от печи, взялась сама хозяйничать в избе, и та лишь жаловалась: «Я бы могла коло пёчи страдать!..». То есть топить печь, готовить нехитрые крестьянские обеды-ужины. А так делать ей было нечего, и она ходила по соседям, разносила немудрёные новости да рассказывала страшные истории о ведьмах, оборотнях, о кошках, что крадут молоко у коров, путают гриву лошадям, а то могут и ребёнка загрызть в колыбели. В её родной деревне в Белорусском Полесье в такие былички крепко верили. И мы, дети, много раз слышали, уже в маминой передаче, прабабушкин рассказ о подобном случае уже с её родственниками всё в той же её родной деревне.

Но вот с внуками возиться ей не хотелось. И моей будущей маме Анне приходилось без конца нянчить младших сестёр и братьев...

Бабушка Стефанида приезжала к нам в Каргасок всего один раз. Это была моя единственная встреча с ней. Бабушка была белоруской, и говорила она как-то не так, как мы, вроде по-русски, но как-то грубее что ли, жёстче, и слова незнакомые проскальзывали...

Запомнился же её приезд ворчаньем на маму за то, что та нарожала много детей и живёт в бедности. Мне, восьмилетней девчонке, было непонятно и обидно, как это – зачем Людочку родили? А как можно без Людочки?! Ей годик всего! Она самая маленькая, самая любимая!..

Но было и удивление, восхищение бабушкиным мастерством, её умением внести красоту в обыденное, привычное. Как и во всём Каргаске, в квартире нашей отопление было печное. Каждую субботу печь на кухне надо было подмазывать глиной и белить извёсткой. И вот бабушка как-то по-особому намесила глину, добавив в месиво ещё и изрядный шмат навоза, быстренько обмазала печку и – разрисовала её, по мокрой глине, петухами! Мама потом, при субботних подбелках, старательно сохраняла рисунок, и весёлые птицы ещё долго радовали нас, напоминали о нашей белорусской бабушке.

Стефанида пережила своего мужа на четверть века. Умерла она в 1968 году, перешагнув восьмидесятилетний рубеж. До последних дней жила одна, в своей собственной избушке, в Могочине, наотрез отказавшись перейти к сыну Петру, который – с разрешения матери – выстроил на её же усадьбе добротный дом. Ей всегда хотелось быть независимой, хозяйкой ...

Братья Стефаниды после революции вернулись на запад. Старший Иван погиб, как дипкурьер: его застрелили в поезде, когда он вёз выборные документы. Роман обосновался в Киеве, там должны остаться его дети, но связь с этой семьёй так и не была налажена.

Сестра Стефаниды, Евдокия, жила в Томске, на улице Красного Пожарника. Какое-то время у неё ютилась племянница, наша будущая мама. Анна помогала тётке убирать конторское помещение, присматривала за её маленьким сынишкой, своим двоюродным братцем Владимиром.

В самом начале войны этого Владимира призвали в армию, направили в лётную эскадрилью. Когда он успел окончить летное училище? Но в войну учили по-быстрому: фронту нужны были бойцы, в том числе и лётчики. В первом же бою 18-летний мальчишка то ли трусил, то ли задумал свой манёвр, повернул назад. Его сбили свои же. Евдокия за погибшего сына пенсию не получала... И в разговорах о нём не вспоминала. Тоску и боль таила глубоко в душе.

«Расказачивали»-то на Кубани...

У мамы было два родных брата – Пётр и Николай. Это по их настоянию семья Тихона и Стефаниды в конце двадцатых перебралась из-под Томска ближе к северу, в Могочино. Вот написала и – призадумалась: они же ещё мальчишки были... Возможно, сам Тихон искал для себя работу, а в Могочине – лесозавод... Маме же очень нравился Томск, пригородные деревни, природа Притомья. Она всю жизнь мечтала вернуться в места своего детства, тосковала весной по кандыкам, рассказывала, как цветут жарки.

Старший из маминых братьев Пётр Богданов получил какое-то образование, скорее всего, окончил учительские курсы после «школы первой ступени», работал учителем. Был активным комсомольцем, вступил в партию.

Велика Россия, тысячи и тысячи вёрст отделяют, скажем, Кубань от

Приобья. Да только однажды запущенная машина сталинских репрессий перемешала-перелопатила, искалечила судьбы миллионов людей. Политика «рассказачивания» на юге России зацепила сибирского паренька из Могочина, переломала ему жизнь...

Из казачьей семьи с Кубани отправили среди многих в ссылку молодого парня, чуть ли не подростка, видимо, за отца, которого уже в живых не было. Как такое пережить матери? Как её сыночек в страшной Сибири будет один-одинёшенек? И надумала мать отправить с любимым сыночком его шестнадцатилетнюю сестрицу Тамару, чтобы как-то о нём заботилась. Довезли их до Могочина. Отсюда молодого казака повезли дальше, к пункту назначения, а его сестру – не ссыльную, добровольно приехавшую! – приписали к местной комендатуре, с «поражением в гражданских правах», превратили её в «лишенку»: ни документов на руках, ни возможности вернуться назад, на Кубань.

Вот с этой Тамарой и свела судьба Петра Богданова. За свою любовь к «вражескому элементу» пришлось ему жестоко расплачиваться. Из партии исключили, из школы выгнали. В Рабоче-крестьянскую Красную армию его призвали. И на фронт биться с фашистами отправили. Только всю войну он прошел, командуя штрафным батальоном. После победы Пётр Тихонович работал в системе потребкооперации, был председателем Могочинского сельпо. В «оттепельные» годы восстановили его в партии, вроде как реабилитировали. Похоронен он, как и его жена Тамара, в Могочине. Их дочь Вера вернулась на родину матери, на Кубань, сын Виктор с семьёй долгое время жил в Томске, дочь Людмила – в Новосибирске.

Блудный муж

Второго маминого брата, Николая Богданова, взяли, как тогда говорили, на действительную (то есть призвали на службу в Красную армию) в 1939 году. К тому времени он был женат на Александре, а за несколько месяцев до призыва у него родился сын Юрий. Войну Николай встретил солдатом, пережил и отступление, и многочисленные бои за освобождение родной земли.

Роковой снаряд настиг его в Польше. Стоял солдат в карауле. И тут стена большого дома обрушилась. А за стеной магазин был. И перед глазами солдата полки с товарами, глаза разбегаются. «Я и взял-то, – рассказывал дядя Коля, – только баян. Но, видно, нельзя брать чужого! Меня тут же и ранило».

Дядя Коля по жизни был музыкантом: играл на скрипке, на баяне, имел прекрасный голос и замечательно пел. Ранило его очень серьёзно. Покалечило ногу, перебило горло. Ребятишками мы недоумевали, как это у дяди Коли вместо горла – железная трубка. А он и с этой трубкой после войны пел...

Долго валялся по госпиталям. Выходила, подняла его к жизни добрая женщина, медсестра, да и привязала его к себе. Война уже кончилась давно, а он всё к семье не возвращается. Но то ли жена его всё-таки

разыскала, то ли сам затосковал по родным местам, только засобирались Николай в Сибирь. А женщина-спасительница ему документы ни в какую не отдаёт. Так и приехал: без документов, без воинских наград.

Приняла Александра блудного мужа, только никаких льгот участника Великой Отечественной войны ни сам Николай, ни его семья в жизни не имели. Зато постоянно о войне напоминали протез в горле да раны, что изводили болью при любой непогоде.

Работал Николай связистом. Радиосвязь, ремонт радиоаппаратуры – его стихия. Родились ещё два сына. Старший из них, Владимир, погиб молодым парнем в ночной пьяной драке. Младший Сергей стал офицером, воевал во многих «горячих точках», сопровождал «груз 200», погиб или в Афганистане, или в Чечне. Где-то остались его жена и две дочки...

С семьёй Николая Тихоновича я встречалась в конце пятидесятих годов. Тогда вся семья их жила на Втором Томске, в ветхом домишке. А работали отец со старшим сыном Юрием на заводе, на другом конце города, в районе Томска Первого, и каждое утро им приходилось подниматься в шесть утра, бежать к трамваю, чтобы успеть на смену. Позднее Юрий уехал в Архангельск, работал в морфлоте, женился. Говорили, жена крепко взяла его в руки и пить ему не позволяла. А в этой семье всегда выпить любили...

Анна Тихоновна, моя мама

Анна была у Стефаниды с Тихоном старшим ребёнком, родилась 7 июля (по новому стилю) 1912 года, в селе Сарафановка Молчановского района, недалеко от Томска. Только, сетовала она часто, в Томском загсе всё поперепутали и в повторном свидетельстве о рождении, выданном взамен утерянного, местом рождения указали какую-то Колбиху, в которой она никогда не была и о которой слухом не слыхивала.

Когда отец, Тихон Богданов, вернулся с германской, было ей уже пять лет, и с этого возраста она постоянно нянчила своих младших сестрёнок и братишек, которых Стефанида рожала чуть ли не каждый год. Но из двенадцати её детей выжили лишь трое, остальные умерли во младенчестве...

Сначала, уходя на целый день на крестьянские работы, мать боялась оставлять малолетнюю Анну одну с младенцем и отводила её вместе с малышкой к тётке. А у той свой малыш, и несчастной девчужке приходилось приглядывать сразу за двумя младенцами. Не углядела однажды, и тёткин малыш упал с лавки. Тётка нажаловалась Стефаниде. «Я очень испугалась. Но мама не стала меня бить, просто забрала нас домой и после этого не водила к родственникам, оставляла дома одних. И мне стало легче...», – рассказывала мне моя мама, когда уже я, по старшинству, нянчилась с младшими сестрёнками.

Из-за постоянной нужды в няньке родители отпустили старшую дочь в школу только в 13 лет. Жили они в Ксендзовке. Школа была в поселке при психбольнице, не то за три, не то за все пять вёрст, но училась де-

вочка с огромным желанием и интересом. За три года успешно прошла курс четырёхлетней школы I ступени, что и засвидетельствовано удостоверением от 12 июня 1928 года.

Очень хотелось учиться дальше, даже в Томск её родители отпустили, у материной сестры Евдокии пристроили. Но учиться не получилось: взрослой шестнадцатилетней девушке сидеть за партой рядом с малышами-пятиклассниками было как-то неловко, стыдно. Да и родителям ближе к весне помощница потребовалась, сорвали окончательно ее со школы, не дали получить документ об окончании пятого класса...

Были ещё попытки устроить свою жизнь в городе.

Анну приняли нянечкой в детские ясли, с малышами с малолетства научилась управляться. Но вскоре кто-то из детишек заболел скарлатиной, и молоденькая нянечка, в детстве счастливо избежавшая этой страшной болезни, подхватила заразу. Болела тяжело, долго. Метавшуюся в жару девушку остригли наголо, а когда волосы отросли, они уже не вились, от пышной шевелюры остались одни воспоминания. Это потом у некоторых внучат оказались выющиеся волосы, но Анна их уже не увидела...

Выздоровев, поступила на курсы медсестёр. Незадолго перед окончанием их выяснилось, что весь выпуск направляют в Кузбасс, на шахты. Перспектива пугающая: до Томска доходили слухи о постоянных авариях, взрывах, затопленных шахтах, арестах вредителей. Отправляться туда было страшно. А если не поехать, придётся отвечать по всей строгости тогдашних законов. Анна не стала получать свидетельство об окончании курсов, просто уехала из города, вернулась к родителям.

К тому времени, поскитавшись по деревням, родители её перебрались в Могочино, где жили родственники Верховины. Там, на лесозаводе, могли бы устроиться, найти работу не только старшие Богдановы, но и их подрастающие сыновья, Николай с Петром. О сыновьях в первую очередь думали родители, ведь они – в старости опора, а дочь что? Выйдет замуж – отрезанный ломоть...

Шестнадцатилетнюю Анну приняли на завод временно – чернорабочей. А уже в июне 1930 года ей выдали «карточку безработного». Безработица в те годы в стране была нешуточная. А чтобы не сняли с учета и не исключили из очереди на получение работы, приходилось постоянно отмечаться на «бирже труда» и, главное, ни при каких обстоятельствах нельзя было отказываться от любой чёрной работы, куда бы тебя ни направляли. Приходилось и грузчицей быть, и территорию убирать, и полы-окна мыть, чужую грязь вывозить... Зато потом её снова взяли на завод, на этот раз учётчицей. Здесь и встретила своего суженого, Бориса Крошечкина, столяра этого же завода, сына бывшего ссыльного, «лишенца», как тогда называли пораженного в гражданских правах: не имея паспорта, он и брак зарегистрировать права не имел...

«Как же ты решилась, вот так просто, идти в чужую семью?» – всё-таки однажды спросила я маму. Она легко вздохнула: «Любила я его...». Сказано это было так проникновенно, нежно... Других мужчин в её жизни не существовало, это была её единственная любовь, тихий свет которой согревал и крепко связывал родственными узами нашу большую семью.

В свои восемнадцать Анна была очень привлекательной девушкой. Она была красива какой-то древнеславянской красотой. Невысокая, ладная, с очень нежной, бархатистой, совсем не деревенской кожей лица и рук, карими глазами, пышной шапкой темных волос, хотя уже и не выходящих после болезни, она казалась воплощением бесконечной женственности, затаённой силы материнства...

КРОШЕЧКИНЫ

Прижилась фамилия!

В нынешнем, 2010 году исполняется 100 лет со дня рождения моего отца Крошечкина Бориса Ивановича.

В роду Крошечкиных из поколения в поколение передавалось семейное предание о предке-богатыре, наделённом силушкой необыкновенной. Не было ему равных в округе ни по силе, ни по ловкости, ни по смекалке. Где порой лошади не под силу, мог подлезть под застрявшую в грязи гружёную телегу и на собственных плечах вытащить её на сухое место. За готовность всегда прийти на помощь, за характер его незлобивый на деревне прозвали его Крошечкой. А к началу прошлого века уже целая деревня состояла почти сплошь из Крошечкиных. Прижилась фамилия.

Деда моего по отцу, Ивана Яковлевича Крошечкина, тоже Бог силушкой не обидел, да и ростом он не подкачал – под два метра был дедушка. К тому же большой мастер по дереву, столяр и плотник, мама моя называла его краснодеревщиком. Жил он с семьёй то ли на окраине Пензы (у отца моего в документах местом рождения указан этот город), то ли в пристанционном железнодорожном посёлке недалеко от города. Работал на железнодорожной станции, справлял плотницкие и столярные работы. Жену его звали Евгения Ивановна, сама она намекала в разговорах, что происходит из семьи священнослужителей, и всегда мечтала, чтобы сыновья женились на девицах духовного сословия.

Сыновей было трое: Александр, Пётр и Борис. Жили трудно, голодно. Всеобщая разруха после Гражданской войны, эпидемия тифа, постоянный голод. Страх перед голодом вёлся на всю жизнь. Уже когда Евгения Ивановна жила с моими родителями, мама часто находила в постели свекрови, в карманах её кофты или пальто припрятанные зачерствевшие кусочки хлеба...

Году в 1925 поручили рабочему депо Ивану Крошечкину сжечь вагон, в котором перевозили тифозных больных, во избежание дальнейшего заражения людей этой страшной болезнью. Иван поступил по своему разумению. Отогнал вагон подальше в какой-то тупик, обжёг его факелом, выскоблил, промыл, разобрал на доски – и обшил этими досочками свою хибару. Конечно, соседи донесли в соответствующие органы. И получил Иван три года ссылки в Сибирь. Отбывал их в Могочине Томского округа, где располагался Чулымский лесозавод «Сиблестреста». Там его профессия, его мастерство, его рабочие руки оказались востребованы.

По истечении срока обратился к местным властям с вопросом, можно ли привезти сюда семью на вольное поселение. Уж больно тяжело жилось его близким на далёкой родине... Начальство позволило. И в мае 1929 года семья Крошечкиных воссоединилась уже на сибирской земле. Но...

Сразу по приезде у всех отобрали паспорта и поставили на учёт в комендатуру. Так мой будущий отец Борис Иванович Крошечкин вместе со своими братьями Александром и Петром и матерью Евгенией Ивановой – без какой-либо вины, суда и следствия – были поражены в правах, в одночасье стали «лишенцами». Вернули им статус полноправных граждан только в 1932 году. К тому времени у Бориса с Анной в незарегистрированном браке родилась дочь Маргарита.

Иван Яковлевич Крошечкин прожил недолгую жизнь. Умер он в 1932-м или 1933-м году, вскоре после восстановления в гражданских правах. Умер – ирония судьбы? – от возвратного тифа... Евгения Ивановна пережила его почти на четверть века. Жила и в семье моего отца Бориса Ивановича, потом уехала со старшими сыновьями в Кемеровскую область, в город Топки, где семью ждала новая трагедия.

В 1937 году Пётра Ивановича, среднего из братьев Крошечкиных, арестовали по обвинению во вредительстве. Он был прорабом, проводил ремонтные работы на железнодорожном вокзале. Кто-то подпилил стояки на строительных лесах, были человеческие жертвы. Обвинили Петра Крошечкина. После ареста никто из родственников его не видел.

Уже в девяностых годах прошлого века мой родной брат, врач-травник Крошечкин Геннадий Борисович, рассказывал, что к нему приезжал лечиться травами бывший репрессированный, прошедший много лет в Норильске. Фамилия Крошечкин не часто встречается, и тот спросил Геннадия Борисовича, кем ему приходится Пётр Иванович Крошечкин. Сказал, что встречался с ним в Норильске, Петр пользовался большим уважением у товарищей, но прожил там недолго: не многим довелось выжить в том аду...

Жена Петра Ивановича Констанция, полька по национальности, сразу же после ареста мужа уехала с двумя малыми детьми, Виктором и Маргаритой, в Белоруссию. А потом была война...

Александр Иванович, по-семейному Шурка, считался в семье недалёким, не очень умным. Мать относилась к нему довольно пренебрежительно, особо о нём не заботилась, в любимчиках у неё ходил Боренька. Но жизнь-то прожить ей пришлось именно с Шуркой. Был Александр Иванович разнорабочим, сторожем. Жил он с семьёй на станции Промышленная в Кемеровской области. Дочь его Антонина позднее переехала в город Ленинск-Кузнецкий.

С женой Марией приезжал однажды Александр в Каргасок, в гости к брату Борису, на память осталась фотография. А мамыны братья так ни разу за всю жизнь к маме в гости не приехали...

От тёсчика до главного бухгалтера

Своей родиной Борис Иванович считал город Пензу, что на реке Суре, притоке Волги. Младший сын в семье, он учился в Пензенской Единой трудовой школе Сызрань-Вяткинской железной дороги. Не окончил её, ушёл после третьего триместра, о чём свидетельствует справка из этой школы от 11.01.1928 г. А уже в 1929 году семья оказалась в Сибири...

Надо было как-то выживать, приспособливаться к новым условиям, и Борис устраивается на работу на Инкинское плотбище «Сибкрайле-стреста» и с мая по август 1929 года работает тёсчиком. Видно, топором тесал брёвна, ведь рядом с тёсчиками трудились ещё пильщики. Затем почти два года отдал отцовской профессии – был столяром на Могочинском лесозаводе.

Голодные годы, лишения, выпавшие на долю семьи ссыльного, не прошли даром, подорвали здоровье Бориса. Из-за больного сердца врачи запретили ему физический труд. С 9 июня 1931 года он переходит на этом же заводе в «конторщики». Это официальная должность, так записано в его трудовой книжке. Вскоре он станет счетоводом, затем помощником бухгалтера. Потом бухгалтером, заместителем старшего бухгалтера, старшим и главным бухгалтером. И так до самой пенсии, с перерывом... на войну.

Учиться особо не пришлось, профессией овладевал на практике, разве что побывал на краткосрочных курсах финансистов-ревизоров. Поднимаясь по ступенечкам профессиональной карьеры, Борис Иванович менял место работы, переезжал из одного села в другое вместе со всё разрастающимся семейством. Из Могочина перебрались в Кривошеино. Потом снова – Могочино, затем Молчаново, еще раз Кривошеино, потом Парабель, а уже с 1948 года – Каргасок.

Как специалист, Борис Иванович Крошечкин котиrowался достаточно высоко, был на хорошем счету и у областного начальства, неоднократно получал благодарности и даже порой премии. Бухгалтером он был щепетильным и законопослушным. Не искал для себя выгоды от «хлебного места». Но и не спешил подольститься, «подмазать», не считал нужным кому-то «делать презенты». Никогда не шёл на должностные нарушения. Если считал указание директора незаконным, требовал от него вторую подпись. По всему по этому непосредственное начальство его не очень жаловало...

В отместку ему устраивали «недостачи». На моей памяти как-то вынудили погашать «недостачу» в размере полугодовой зарплаты. Нетрудно представить, как это сказалось на семейном бюджете, ведь в семье тогда было семь детских ртов...

Был и другой случай, жестоко аукнувшийся семье. Долгое время инвалиды войны вынуждены были ежегодно (!) проходить переосвидетельствование на медкомиссии, подтверждать право на свою группу инвалидности. Отец имел II группу, которая давала право на некоторые льготы, например, освобождала от сельхозналога за корову и прочую живность, от платы за учёбу детей в старших классах средней школы и в ву-

зах. Отец на фронте потерял правую ногу, и каждую осень ему на медкомиссии замеряли оставшуюся культю, будто нога могла отрасти заново.

Однажды весной ему в контору позвонила докторша, член этой комиссии: ей нужна была хромовая кожа на сапожки. Можно было, в обход правил, похлопотать, сходить на базу, просто попросить кладовщика – в общем, подсуетиться, купить, подарить. Но Борис Крошечкин с присутствующим ему юмором ответил, что у него на рабочем месте имеется только бумага да ручка с чернильницей, а вот хрома здесь что-то не наблюдается. Просьба вроде как не по адресу...

В сентябре медкомиссия «обнаружила», что культя у бывшего солдата на целый сантиметр длиннее, чем положено для II группы, и ему дали III группу инвалидности. А это означало, что до декабря необходимо рассчитаться с сельхозналогами за корову, то есть сдать определённое (и немалое!) количество литров молока, килограммов масла, заплатить солидную денежную сумму. Плюс внести плату за старшеклассницу... Корову пришлось продать, купили в магазине масло, причём ещё надо было умудриться купить: такое количество в одни руки не давали. Сдали масло, куда там положено было сдавать, молоко нам тоже на масло пересчитали, заплатили нужную сумму. Рассчитались с государством сполна. А зиму жили на одной картошке, благо, её до лета хватило...

Мне кажется, единственно, когда отец мог «воспользоваться своим служебным положением», – это пристроить кого-то из нас, детей, на работу в свою «фирму», дать возможность хоть чуть-чуть заработать денег на свои нужды. Помню, в третьем или четвёртом классе зимними вечерами я красным карандашом нумеровала страницы в толстых пыльных папках, в которых были подшиты разнокалиберные листочки, испещрённые мелкими буквами или расчерченные на графы с колонками цифр. Видимо, нужно было привести в порядок архив конторы за несколько лет. Отец присматривал, чтобы я не напутала с нумерацией. Правда, лично мне за работу не перепало ни копейки, если за неё и заплатили, то всё ушло на хлеб, на семейные нужды.

Первую зарплату мы с братишками получили за ремонт дома, в котором были расположены и отцовская контора, и наша квартира. И ещё склад, и «красный уголок», то есть зал для собраний, да и для отдыха конторских работников. Там, например, стоял бильярдный стол, и можно было поиграть в бильярд. Это были летние каникулы после моего пятого, скорее всего, класса.

Из всех ремонтных работ запомнилась покраска. Кроме полов, красили лестницу на второй этаж, большое крыльцо, сени, достаточно просторные. Мальчишкам достались ещё козырёк над крыльцом и железная четырёхскатная крыша двухэтажного здания, и это было страшно. Но больше боялись взрослые, мы-то по этой крыше привыкли бегать, я там даже уроки учила «по-устному», греясь по весне на солнышке. Так вот за эту работу нам заплатили семьсот рублей, и мы купили настоящий велосипед, который осваивали, а потом гоняли по очереди.

Старшая сестра, студентка университета, свои летние каникулы проводила в отцовской конторе за пишущей машинкой, заменяя на время отпуска штатную секретарь-машинистку.

А когда совпало так, что дочь Людмила окончила среднюю школу в очень сложный для абитуриентов год – по всей стране выпускались сразу десятые и одиннадцатые классы, и поступить в вуз было весьма проблематично, – отец взял Люсю в свою контору учеником бухгалтера. Затем Людмила Борисовна окончила бухгалтерскую школу, позднее – новосибирский вуз и всю жизнь проработала ведущим экономистом, бухгалтером и главным бухгалтером в различных организациях Каргаска.

По стопам отца пошла и младшая его дочь Наталья, а затем и две его внучки – Евгения и Анна. А теперь уже правнучка Екатерина осваивает экономику на международном факультете управления ТГУ.

В церкви молодые не венчались

Борис Крошечкин парнем был видным, в Могочине по нему «сохло» не одно девичье сердце, а он выбрал учетчицу Аню Богданову. Он был среднего роста – совсем не в отца, Ивана Яковлевича, детинушку под два метра. Статный, голубоглазый, с блестящей, по моде выбритой головой, Борис любил шутить, балагурить. Мама говорила о нём: «зубоскал».

В церкви молодые не венчались, не то было время, даже в загсе не расписывались. Ведь жених был «лишенцем», беспаспортным, к комендатуре приписанным. Но на свадьбу родственники собрались. Пришёл и столетний дед невесты Станислав, даже плясал, радовался: дождался, внучка замуж выходит. Он и первой правнучки дождался, крепок был старик!

Евгению Ивановну новая сноха не обрадовала: из бедных, простая работница, родители – деревенщина. Евгения Ивановна мечтала о невестке образованной, хорошо бы из духовного сословия или хотя бы дочкой начальника оказалась... И хотя жили молодые в мире и согласии и Анна была уже на сносях, продолжала богоданная свекровь для своего Бореньки, младшенького, любимчика, невесту подыскивать. До чего дошло! Приглашает в дом дочку заведующего столовой и Нюрке же велит стол к чаю накрывать. При беременной женщине расхваливает гостье своего сына, в открытую, как заправская сваха, предлагает свой «товар». Хорошо, молодой муж не пошёл на поводу у матери, заявил, что, кроме Анны, ему в жёны никого не надо. И, когда летом 1932 года сняли с семьи тягостное клеймо поднадзорных, вернули паспорта, смогли молодые зарегистрироваться в загсе. В июле сразу два свидетельства получили: о собственном браке и о рождении дочери Маргариты.

Добрых, светлых воспоминаний ни о первых годах замужества, ни вообще о семейной жизни я от мамы почти не слышала. Да и времени для разговоров у нас как-то не выкраивалось. Мамины рассказы стали интересны мне лет в двенадцать-тринадцать. Жили мы тогда в Каргаске. Огромная семья, полный дом ребятишек, своих в ту пору шестеро было (старшая уже в университете в Томске училась), да друзья у каждого, каждый день за столом – лишний рот. Плюс отец частенько командированных приводит пообедать. Хозяйство: корова, телок, свинья, куры,

огородик при доме, картошка «на полях», то есть за селом, километра три пешком добираться...

К вечеру мать так натопаётся, не до задушевных бесед, до постели бы добраться. А в шестнадцать я уехала учиться, в тот же Томский государственный университет, что двумя годами раньше окончила старшая сестра Маргарита. С родителями до конца их жизни оставалась Людмила, наша тётя Люся. Она и стала хранительницей маминых воспоминаний, доброй феей нашей семьи: в её щедром сердце достаёт любви и тепла для всех сестёр, многочисленных племянников и племянниц, родных и внучатых... Многие эпизоды воспроизведены в этих записках по Люсиным рассказам.

Отец часто менял место работы. Переводили его из одного селения в другое, всё в системе потребкооперации, хотя назывались конторы в связи с бесконечными реорганизациями по-разному. Причины были, как я сейчас понимаю, разными. Когда «на укрепление кадров», а когда из-за характера, далеко не покладистого.

Для Анны очередной перевод мужа был всегда как гром с ясного неба. Приходил отец, рассказывала мама, например, в среду поздно вечером и заявлял: «Ну что, мать, в субботу переезжаем!...». – «Куда?! Зачем?!». – «Надо!...». А зима, ребятишки мал-мала, картошка в подполе, только-только здесь обжились, огородик разработала... Собрала одежду, постели, кухонную утварь, ту же картошку повытаскала, в мешки ссыпала, и поехали. Так и из Парабели в Каргасок переезжали, корову ещё к саням привязали.

Вскоре после замужества с работы пришлось уволиться. Дети и муж требовали заботы, внимания. Помощи ждать было неоткуда. Родная мать Стефанида придёт, бывало, проведать дочь, не проходя в комнату, приткнётся в прихожей на сундучке, посидит как бедная родственница – повидались... А потом и приходиться стало некуда – молодые уехали. Со свекровью отношения особые...

Пыталась Анна устроиться на работу. И муторно всё время в четырёх стенах молодой женщине, и на одну зарплату жить – не сахар. Повезло однажды, взяли её в ресторан официанткой. Радоваться бы, но куда там! Всё время по вечерам приходил муженёк домой часов в десять, всё работа у него сверхурочная да бесконечные проверяющие из области. Хотя Анна сама, своими глазами видела (специально проверить хотела, под окна конторы ходила), как её Боря в бильярд играл в красном уголке и при этом смеялся, что-то рассказывал мужикам конторским... А только начала вечерами сама работать, он как штык – в шесть вечера дома. И «концерт» за «концертом», до истерики: ты за чужими мужиками там ухаживаешь, а собственный муж без присмотра, зачем я женился. До грубости, до оскорблений... Пришлось уволиться. В столовую устроилась – то же самое.

Кажется, семья для отца была не главное. Семейный воз везла его жена, Анна Тихоновна. За всё про всё она была в ответе. «Он в стороне, я в бороне», – это из маминых оценок жизненных ситуаций.

«Обсыпал меня детьми, посадил дома, а сам себя вольготно чувствовал! Вот нет его допоздна. Старшенькой два с небольшим, Виталик

грудной. Не оставишь одних. Воды в доме ни капли, а идти за ней – на речку, под гору, по леденелому спуску, да, дай бог, чтобы прорубь льдом не затянуло накрепко. Придёт по тёмному. Ну, скажет, ты иди, сходи за водой, я посижу с детьми. Беру вёдра, иду. Страшно, очень боязно, но ещё больше – обидно...».

После таких рассказов я просто тонула в бесконечной любви и какой-то щемящей жалости к маме. И крепла, настывала каменной стеной отстранённость, отчуждённость в отношениях с отцом.

ВОЙНА НИКОГО СТОРОНКОЙ НЕ ОБОШЛА

Гвардии красноармеец Борис Крошечкин

Пожалуй, ни одну советскую семью та война стороной не обошла. Моих дедов она не коснулась. Иван Яковлевич умер от возвратного тифа чуть ли не за десять лет до её начала, Тихон Станиславович был глубоко болен и скончался дома в 1943 году. Отца же, Бориса Ивановича Крошечкина, вызвали в военкомат уже летом 1941 года. Было ему тридцать лет, в семье подрастали четверо ребятишек, старшей из которых «стукнуло» девять лет, младшему – два года. Жена была на седьмом месяце беременности. Но отсрочку от призыва отцу дали из-за его болезненного сердца. Приглашения в военкомат следовали одно за другим с пугающей регулярностью. Приходила повестка, мать собирала своего Бориса, со слезами-рыданиями прощалась с ним, провожала за порог. Через несколько дней он возвращался: не пригоден из-за болезни сердца, не взяли, отсрочили...

3 октября 1941 года в его трудовой книжке кадровики даже записали: «Освобождён по призыву в РККА». И тут же следующая запись: «4 октября 1941 г. В связи с освобождением от призыва оставлен на работе старшим бухгалтером раймаслопрома. Управляющий РМП Сухушин. Приказ №133 от 4/Х – 1941.».

«Освобождён по призыву в РККА», то есть мобилизован на фронт отец был 10 мая 1943 года. И это «освобождение по призыву» тянулось более двух лет. Вернулся в Парабель в июле 1945-го. Вернулся без правой ноги, инвалидом, со свидетельством об освобождении от воинской обязанности (бессрочно). Уже с 18 июля он начал работать главным бухгалтером, но не в маслопроме, а в райпотребсоюзе. И на то были свои причины.

Скупое вспоминая войну, отец обронил как-то: «Я ушел на фронт добровольно». Мама тут же вскинулась: «Тебя же призвали, повестка была!». Отец тихо улыбнулся: «Ты не знала. Я писал в военкомат, просился на фронт!». Я смотрела на отца с гордостью и... растерянностью. Это с его-то больным сердцем, с огромной семьёй, где дети мал-мала меньше. А в сорок втором ещё горе постигло: от менингита умер старший сынишка, восьмилетний Виталик. После его смерти мама навсегда пере-

стала петь. А у неё был хороший голос, и петь она любила... Разговор же о том, что отец просился на фронт, происходил в середине пятидесятых, когда в семье не очень-то распространялись на «острые» темы, молчали о ссыльном деде, об аресте дяди Петра, обо всём том, что не стоило обсуждать с посторонними.

Позднее мама рассказала свою версию о призыве отца в армию. Раймаслопром в войну был, конечно же, «хлебным» местом, и желающих получить «довесок» к карточному снабжению было немало. А бухгалтер Борис Крошечкин отказался, в обход законных путей, отпустить продукты самому военкому(!), проявил свою привычную честность, которую расценили как строптивость, за которую он и поплатился. Его тут же вызвали на перекомиссию, признали здоровым и отправили на фронт. Одновременно сняли бронь и с его сослуживца, также не угодившего военкому...

Воевал Борис Крошечкин в составе 34-й гвардейской танковой бригады. Был писарем техчасти моторизованного батальона автоматчиков. Потом рядовым, гвардии красноармейцем, как написано в справке № 726497 из Архива Мин. Обороны Союза ССР от 14 сентября 1956 года. Какое-то время, по воспоминаниям отца, ему пришлось быть поваром, кормить солдат на передовой. Из-за больного сердца у него сильно отекали ноги, шевелить ими и то было трудно, и его направили на «лёгкий труд», кашеварить. Сражаться довелось на Белорусском фронте.

Как сейчас вижу отца перед телевизором. Демонстрировали многосерийный фильм-эпопею «Освобождение». Советские войска готовились к прорыву фронта в белорусских лесах-болотах. Солдаты мастерили себе обувь, то ли берестяные лапти, то ли лыжи, какие-то «мокроступы», чтобы пройти через топи, атаковать врага там, где тот нападения совсем не ждёт. Бледный, взволнованный до предела, отец впился в экран, он был там, среди этих солдат. Он заново переживал то страшное лихолетье. Или суровые дни боевой славы? Тогда я поняла, что для фронтовика война никогда не сможет стать прошлым. Она всегда, всю жизнь в нём и с ним...

Своё боевое ранение Борис Иванович получил, освобождая Ригу. Он был ранен 23 сентября 1944 г. Осколком мины в правую ногу. В этот же день попал в полевой медсанбат 234, через несколько дней его доставили в эвакогоспиталь 639. Но за эти несколько дней развилась инфекция, и ногу пришлось ампутировать. Потом были госпитали 925 и 1882. Но где они базировались?.. ВТЭК при госпитале 1882 признал 25/V-45г. Крошечкина Бориса Ивановича инвалидом второй группы с исключением с воинского учёта. В июле 1945 года он вернулся домой, к семье, в село Парабель. Боевые награды отца – орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией». С особой гордостью он показывал нам, детям, гвардейский значок – танковая бригада была гвардейской.

Солдатка Анна Крошечкина*Выписка из протокола № 11/7**заседания комиссии по назначению пособия семьям военнослужащих
при Парабельском отделе гособеспечения**с. Парабель**от 26 июня 1943 г.**Слушали: О назначении пособия семье в/служащего Крошечкина
Бориса Ивановича, призванного 10 мая 1943 года, проживающего с. Па-
рабель, ул. Базарная, № 13, соц. положение служащий.**Состав семьи:*

1. Крошечкина Анна Тихоновна	жена	1912 г.р.
2. - //- Маргарита Борисовна	дочь	1932 г.р.
3. Крошечкин Геннадий Борисович	сын	1937 г.р.
4. - //- Венедикт - //-	- //-	1939 г.р.
5. Крошечкина Лидия Борисовна	дочь	1941 г.р.

*Постановили: На основании от 2 Указа назначить тов. Крошечкиной
А.Т. пособие на 4-х нетрудоспособных в сумме 75 руб. в месяц с 10 мая
1943 года.**Председатель комиссии: Кузьмин**Члены: Борисов, Волков**Подписи, печать для документов, всё как положено.*

Этому потрясающему документу 67 лет. Написанный от руки на листочке, вырванном из учебника истории, повествующем о победоносном выполнении второго пятилетнего плана, он четко рисует и крошечную бедность, безысходность оставшейся без кормильца многодетной семьи, и – заботу государства о солдатках.

Пособия – 75 рублей! – едва хватало выкупить для семьи хлеб. Хлеб давали по карточкам, ежедневная норма на каждого из детей триста граммов, на неработающего взрослого – столько же. За хлебом нужно было выстоять очередь, на всех частенько не хватало. Анна старалась прийти к хлебной лавке задолго до продавщицы, чтобы, дождавшись её, успеть раньше других женщин выпросить мешок и отправиться в пекарню. От слабости, от голода, от запаха свежее выпеченного хлеба кружилась голова, подламывались ноги. Сколько мешков с хлебом перетаскала Анна на своих плечах! За это ей отпускали паёк, или пайку, одной из первых. Хлебом, а не пригоршней муки или отрубей...

Год 1943 выдался неурожайным. Овощи гибли на корню, картошка погнила с осени. Гнилую, тёрли на «оладьи», потом и гнилая кончилась. Дети опухли от голода. Мать выбивалась из сил. Ходила по домам начальнических жён подёнщицей, нанималась стирать, мыть полы, белить, бралась за любую тяжёлую работу. Только платили не по труду. Вспомнила не раз, как за несколько дважды выбеленных комнат хозяйка налила ей котелок прокисших щей, а дома голодные ребятишки ждут...

Нужно было ещё где-то добывать дрова: отопление печное, а сибирские зимы известные. Нужно было вывозить с лугов заготовленное летом сено. Как и другие солдатки, запрягала свою истощавшую, худющую коровёнку и вместе с ней тянула гружёные сани на взгорки-пригорки,

придерживала на раскатах... Семь потов с обеих сойдёт, пока уже потёмному доберутся до дома. Корова была не только основной тягловой силой, она ещё и кормилицей была, хоть по стакану молока да надаивала.

В тот страшный год мать едва дождалась весны, и с первым же парходом, что пришел вслед за уплывающими льдинами, отправилась в Могочино, к бабушке Стефаниде. Та знала о бедственном положении нашей семьи и обещала помочь, чем сможет. Дети оставались одни, в не топленной хате. Поездка затянулась: пароходы ходили не каждый день, нужно было дожидаться очередного рейса.

Ярко помню из домашней «мебели» два сундука, из крепкого дерева. Такие узорчатые, обитые узкими железными лентами, с накладками для навесных замков, которыми, впрочем, никогда не пользовались. Их называли «большой ящик» и «маленький ящик». Их везли на санях, из ПарABELI в Каргасок, в последний переезд семьи на новое место работы отца. Они, эти сундуки, стояли в квартире все мои школьные годы. Гардероба, шифоньера – в общем, шкафа для одежды у нас не было. Шифоньер – с зеркалом! – купили уже в мои студенческие годы. «Большой» сундук вмещал в себя всё тряпичное богатство семьи: пару-две простынок-наволочек, кое-какое нательное бельишко, старые платья, кофты, платки мамы и старшей сестры. В «маленьком» хранились не менее важные вещи: что-то из верхней одежды, обуви, рукавички-шубинки...

Так вот, в «большом» сундуке мама в своё время привезла приданое в дом мужа, это на нём потом притулялась Стефанида, когда приходила в гости к замужней дочери.

А «маленький» сундук Анна привезла из Могочина памятной весной 1944-го. Это в него Стефанида собрала всё, что смогла наскрести из своих небогатых запасов. Всё, что спасло жизнь нам, детишкам от года до одиннадцати лет, и – нашей маме. Немного муки, овощей, сохранённых с осени в погребе, даже соленого сала положила! И картошки. И на еду, и даже семенной поделилась!.. И других семян дала...

Довезла наша мама драгоценный груз, дотянула как-то от пристани до своей улицы Базарной. Голодный плач своих детей услышала издали. К калитке никто не выбежал: дети, опухшие от голода, уже несколько месяцев не поднимались с постелей.

Вот с этого бесценного дара бабушки Стефаниды и начала мама поднимать нас на ноги. Варила «заваруху» – разбалтывала в кипятке горсть муки, получался жиденький-жиденький кисель, а мальчишки спорили, кому вылизывать кастрюльку. Потом зелень появилась, трава всякая. Дышать стало чуточку легче, в пищу шла и лебеда, и крапива, и одуванчики, и иван-чай – в общем, всё, что можно было найти в округе. Сумели посадить картошку, кое-какие овощи. Следующую зиму пережили полегче.

То, что мы, дети военных лет, выжили, смогли прожить полноценную жизнь, создать свои семьи и дать жизнь своим детям, а затем продолжиться во внуках – это подвиг наших солдат-отцов и наших самоотверженных матерей, ценой непосильного труда, ценой своего собственного здоровья, ценой своей жизни сохранивших Жизнь. Жизнь нам и – будущим поколениям.

Апрель 2010 г.

«Я предполагал, что приносил пользу, приказывая убивать...»

(Из истории красного бандитизма в Томской губернии в 1920-е годы)

ДОКЛАД

Сиббюро РКП(б) пленуму ЦК РКП(б) «О красном бандитизме»¹

[1921 г.]

г. Омск

В личном докладе своего секретаря на заседании Оргбюро ЦК в конце июля сего года Сиббюро уже отмечало явление красного бандитизма, пытались вскрыть его внутреннюю сущность и намечало меры борьбы с ним, однако тогда это явление было еще слабо исследовано Сиббюро, хотя впервые отмечается в отдельных губерниях Сибири уже в ноябре–декабре 1920 г. Теперь в Сиббюро накопилось очень значительное количество фактов, имеется несколько более или менее крупных дел (Каинское дело, Шарыповское дело в Енисейской губ., «авантюра Перевалова» в той же губернии, дело Мариинского политбюро) и отзывы всех губернаторов о характере этого явления в тех губерниях, а также и некоторый опыт борьбы с ним. Поэтому Сиббюро считает своей обязанностью дать Центральному Комитету новый доклад по этому вопросу, основанный на большем ознакомлении с явлением, тем более что некоторые черты его несомненно носят не только местный, сибирский характер, и просит помощи со стороны ЦК в целях быстрой ликвидации его.

Прежде всего, что мы называем «красный бандитизм»? Это название употребляется часто в применении к фактам далеко не однородного характера. Тем не менее, сущность и основное содержание «красного бандитизма» может быть лучше всего определено, как самочинный образ действий отдельных групп населения, берущих на себя в том или ином отношении функции власти. Наиболее частой формой его выражения являются самочинные расправы одной революционно настроенной группы населения против другой, которую она считает контрреволюционной и общественно вредной. С этой формы красный бандитизм, как массовое явление, собственно и начался.

В красный бандитизм вовлекаются, по преимуществу, элементы, во времена Колчака активно боровшиеся в рядах партизан, социально это, следовательно, отчасти рабочие (не городские, а рабочие копей, рудников и прочий поселковый рабочий элемент) и, преимущественно, крестьяне из бедноты или выбитые из хозяйственной жизни колчаковским режимом и партизанщиной; иногда это элементы (большей частью партизанские вожди разного калибра), которых партизанщина пробудила и сделала политически активными, а политическое невежество мешает

¹ Орфография и пунктуация сохранена (Ред.).

им проявлять эту активность иначе, как в форме прямых действий. Территориально красный бандитизм разлит по всей Сибири, нет ни одной губернии, им не затронутой. Но в партизанских районах он приобретает наиболее яркую форму и массовый характер; такими районами являются Ачинский и Минусинский уезды Енисейской губернии, район Черемховских копей Иркутской губернии, Алтайская губерния и отдельные части Кузнецкого, Щегловского и Томского уездов Томской губернии. Необходимо при этом отметить, что районы развития красного бандитизма почти всегда совпадают с районами белого бандитизма, причем иногда, особенно в инородческих районах, белый бандитизм появляется в результате деятельности красных бандитов.

В основной и первоначальной своей форме красный бандитизм является продолжением Гражданской войны. Посредством его одна из групп населения сводит свои старые, со времен Колчака ведущиеся, счеты с другой группой населения: рабочие – со спецами, более или менее активно проявившими себя в колчаковский период, партизанские элементы деревни – с кулаками и прочими активно контрреволюционными ее элементами: «гадами» – на выразительном языке красных бандитов. Те меры борьбы, которые усвоила себе по отношению к контрреволюционным элементам советская власть в Сибири, их не удовлетворяют, кажутся им слишком мягкими. Их собственные желания сводятся, в сущности, к поголовному истреблению их политических врагов, в лучшем случае – к их поголовному изъятию и водворению в тюрьмы и концентрационные лагеря. Когда к концу первого года существования советской власти в Сибири вполне обнаружилось, что органы ее не идут и не пойдут по этому пути, партизанские элементы решили взять на себя задачу расправы со своими врагами. «Бей гадов» – основной лозунг красных бандитов по всей Сибири. Но в этих выводах красных бандитов содержатся уже элементы недовольства политикой советской власти, недостаточно решительно борющейся с «врагами народа». И с течением времени это недовольство выявляется все резче, выливаясь не в недовольство самой формой власти теми группами работников, а иногда даже и партией, которая эту власть осуществляет. Есть поэтому вполне установленные факты, когда те или иные организации красных бандитов ставили себе целью террористические акты против советских ответственных работников, коммунистов, иногда выбрасывая лозунг борьбы с «примазавшимися». Это недовольство советской властью протягивает уже мост между красным и белым бандитизмом. И действительно, есть вполне установленные случаи связи между группами красных бандитов и белыми бандами, есть случаи использования для своей цели группами белых банд красных бандитов. Участниками, и притом наиболее активными, красно-бандитских групп часто являются члены РКП. Кроме того, в красный бандитизм вовлекаются почти сплошь милиция и низшие органы Чека – политбюро. Более того, эти аппараты советской власти являются теми органами, через которые красно-бандитские элементы держат между собою связь. Причиной этого является, прежде всего, большой процент (от 20 и более) партизанских элементов среди милиции и низкий политический уровень работников политбюро, слишком элемен-

тарно понимающих борьбу с контрреволюцией, а также крайне тяжелое материальное положение милиции.

С весны 1921 года в красный бандитизм начала вливаться новая струя недовольства политикой советской власти, имеющая гораздо более глубокие политические и экономические основы. Тот слой деревенского населения, из которого вербуются красные бандиты, – это либо беднота, либо элементы, разоренные Колчаком и отброшенные в ряды бандитов. До весны 1921 года они экономически поддерживались государством и жили в счет внутреннего перераспределения излишков продовольствия, оставшихся после разверстки; вместе с тем они были опорой советской власти в деревне. С отменой разверстки они утратили экономический базис, почувствовали себя столь же обделенными, как были при Колчаке и почуяли, что новый курс неизбежно ведет к усилению враждебных им элементов и понижает их собственное влияние. Эти обстоятельства все более делают их из просто недовольных, политически резко враждебных советской власти. Нового курса они не приемлют. На этой стадии красный бандитизм начинает принимать уже другие формы: вместо самочинной расправы с контрреволюционерами те же группы начинают активно срывать новую продполитику¹, продолжают производить внутреннее перераспределение, конфискуют и реквизируют те продукты, которые отдельными домохозяевами везутся для целей товарообмена и т.д. Вместе с тем, эта стадия политически еще более сближает красный бандитизм с белым. Одновременно в этой форме красный бандитизм перестает уже быть явлением чисто сибирского порядка.

Каковы же меры по борьбе с красным бандитизмом?

Помимо мер второстепенного порядка, как то: очистка органов милиции и чека и переброска кадров их работников (в частности, обмен с Центральной Россией), организация нескольких показательных процессов, пересмотр состава комячеек и проч., тремя основными мерами, по мнению Сиббюро, являются:

1) Создание специального фонда, отчасти для снабжения и преимущественно для хозяйственного устройства обнищавших крестьян и облегчения им государственных повинностей.

2) Усиление политическо-просветительной работы среди рабочих и крестьянских масс, ликвидации политбезграмотности среди членов партии.

3) Упрочение низших органов советской власти – волисполкомов и сельских Советов.

Собственными сибирскими средствами этих мер провести невозможно. Необходима помощь ЦК и органов центральной власти. Значение Сибири в продовольственном отношении требует быстрой ликвидации красного бандитизма, развитие которого может в значительной мере испортить работу по продналогу.

Поэтому Сиббюро считает необходимым следующую помощь со стороны ЦК:

1) Мобилизация для Сибири 70 уездработников (по два на уезд), но

¹ Продовольственную политику

работников действительно сильных – это поможет нам укрепить низшие ячейки совласти.

2) Помощь в области политическо-просветительной работы: увеличение бумажного фонда, посылка нескольких средних литературных работников и не менее 10 лекторов для уездных партшкол.

В связи с этим докладом Пленум ЦК принял следующее постановление:

1) Обратить внимание Оргбюро на необходимость особо энергичных мер для усиления парторганизаций в Сибири, в частности на улучшение состава работников.

По поручению Сиббюро ЦК РКП

члены Сиббюро
Смирнов, Ярослав-
ский, Яковлева

Смирнов, Ярослав-

ЦДНИ ТО. Ф.1. Оп.1. Д.55. Л.287. Копия. Машинопись.

ИЗ ПРИГОВОРА

губревтрибунала по делу К. А. Зыбко, А. П. Замятина, С. А. Калиняк-Гричановского и других

23–25 января 1922 г.

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Томский губернский революционный трибунал по военному отделению 1922 г. 23, 24, 25 января в г. Томске в открытом судебном заседании, в составе: председательствующего И. Г. Макаренко, членов трибунала: Богданова, Сухорукова при секретаре Бойздренко,

рассмотрев дело о бывшем завполитбюро Мариинского уезда – Зыбко Константине Андреевиче, бывшем начальнике уездной Мариинской милиции – Замятине Александре Павловиче, бывшем начальнике района Мариинской милиции – Калиняк-Гричановском Сергее Александровиче, бывшем помощнике начальника района милиции – Набойченко Михаиле Калистратовиче, бывшем коменданте каталажной камеры Мариинской милиции – Буторовском Михаиле Васильевиче, бывших милиционерах Мариинской милиции – Бедрине Василии Ивановиче, Ведяшкине Иване Тихоновиче, Пучкове Николае Федоровиче, Дмитриеве Андрее Кирилловиче, Митрошине Михаиле Ивановиче, Лебедеве Иване Михайловиче, крестьянине Суменкове Иване Степановиче, бывшем председателе Мариинской упродсесии трибунала – Могилевчике Александре Дмитриевиче, бывшем информаторе Мариинского политбюро – Карпенко Николае Сергеевиче, бывших милиционерах Мариинской милиции – Куц Алексее Ивановиче, Пушилине Никите Ивановиче, бывшем уполномоченном продорганов – Агейченко Алексее Владимировиче, бывших милиционерах – Комаровском Алексее Владимировиче, Никитине Николае Михайловиче, Мельникове Максиме Кузьмиче, Степанове Зиновии Кирилловиче и Кривенко Иване Виссарионовиче,

нашел: всем вышеперечисленным лицам по обвинительному заключению предъявлено обвинение в том, что в первой половине 1921 г. в пределах Мариинского уезда, состоя в указанных должностях и будучи

большинство членами и кандидатами РКП (большевиков), во время мирного строительства РСФСР, на фоне грядущих решений экономических задач, когда лозунг «революционная законность» с непоколебимой настойчивостью проводился Центром в жизнь, они, обвиняемые, не считались с распоряжениями Центра, проводили политику «власть на местах». Из-за недоверия к центральной власти и недовольства ее политикой производили без суда убийства лиц, замеченных или подозреваемых в контрреволюционных деяниях, каковыми действиями возбуждали против власти честные, только что пробудившиеся сознанием массы и тем самым разрушали устанавливаемый Центром политический порядок и потрясали экономические взаимоотношения групп населения Республики, причем каждый совершил следующие конкретные преступления, деяния:

I. Комаровский, Никитин и Агейченко в ночь на 23 апреля 19 года в селе Колеуль той же волости Мариинского уезда Томской губ. по предварительному между собой уговору и совместно, под руководством уполномоченного Мариинским политбюро – Крутицкого, незаконно арестовали и расстреляли волсекретаря Юрия Наткина и делопроизводителя волземотдела Владимира Гольденберга, раздав после совершенного убийства их имущество гражданам села Колеуль.

II. Куц – 28 мая 1921 года в г. Мариинске при конвоировании арестованного Льва Михлина расстрелял последнего, заявив, что Михлин пытался бежать.

III. Комаровский, Кривенко и Степанов в ночь на 7 июня 1921 года в г. Мариинске застрелили секретаря Мариинской упродсесии трибунала – Павла Святочевского, вызвав его из квартиры под предлогом, что его, Святочевского, зовут в политбюро.

IV. Сотрудник Мариинского политбюро Мельников подстрекал Комаровского и Кривенко на убийство Святочевского.

V. Могилевчик и Буторовский в том, что в июне м-це 1921 г. в г. Мариинске отдали милиционерам распоряжение расстрелять арестованного Мейзерова, каковое распоряжение милиционерами и было выполнено в ночь на 7 июня 1921 года в г. Мариинске под видом побега.

VI. Карпенко, зная о том, что предполагается расстрел Мейзерова, не принял по долгу службы (информатора) мер к предотвращению этого убийства.

VII. Калиняк-Гричановский, Набойченко, Бедрин, Пучков, Ведяшкин, Дмитриев с умершим милиционером Овчаровым в ночь на 7 июня 1921 года в дер. Константиновка Сусловской вол. Мариинского уезда Томской губ. убили священника Шевелева и его жену, а имущество их тайно разделили между собой.

VIII. Лебедев, не принимая участия в убийстве Шевелевых, принимал участие в разделе имущества убитых Шевелевых, приняв себе часть имущества убитых.

IX. Митрошин, не принимая участия в убийстве Шевелевых, принимал участие в разделе имущества, приняв часть имущества убитых Шевелевых.

X. Суменков подстрекал к убийству Шевелевых и перепрятывал иму-

щество, взятое Калиняком с целью сокрытия следов преступления от приехавшей для расследования комиссии.

XI. Замятин, Калиняк и Набойченко – что, когда приехала комиссия по расследованию вышеперечисленных деяний, то они, с целью противодействия власти, задумали убить эту комиссию, примечали членов ее, но привести задуманное в исполнение не успели, т. к. были арестованы.

XII. Калиняк, Набойченко, Митрошин, Пучков, Дмитриев, Суменков в 1921 году в селе Суслово в районе милиции Мариинского уезда причинили побои задержанным по подозрению в принадлежности к подпольной организации с целью вынудить у этих лиц сознание.

XIII. Зыбко, Замятин, Буторовский в первой половине 1921 г. в г. Мариинске в целях противодействия власти в расследовании описанных выше преступных деяний, выработали план убийства вновь назначенного заведующего Мариинским политбюро тов. Осокина.

XIV. Пушилин в июле м-це 1921 г. вблизи дер. Тунды Красноярской вол. Мариинского уезда расстрелял конвоируемого им арестованного дезертира Трофима Красникова, заявив, что застрелил такового при попытке к бегству, причем взял сапоги и брюки расстрелянного.

XV. Зыбко, Замятин, Буторовский – что после выработанного плана убийства завполитбюро тов. Осокина они предложили арестованному Пушилину убить Осокина, давая ему оружие и обещая потом снабдить документами и дать возможность бежать.

XVI. Зыбко, Замятин и Буторовский подговаривали Пушилина давать ложные показания по делу убийства Красникова, научали Пушилина говорить, что Красников им убит при попытке к бегству.

XVII. Зыбко, Замятин и Буторовский разрешили Калиняку убить Шевелевых /п. VII/ и получили часть имущества для своего личного пользования.

XVIII. Зыбко, будучи завполитбюро начумилиции Мариинского у., получив в первой половине 1921 г. заявления о подпольных организациях в с. Суслово и д. Константиновке Мариинского уезда, несмотря на явно провокационный характер этих заявлений, произвел по ним расследование; причем без всякого разбора арестовал подозреваемых лиц, около 54 человек, и держал их незаконно по 2-3 м-ца под стражей, где с его попустительства наносились побои с целью вынудить сознание.

XIX. Зыбко, будучи начмилиции и завполитбюро Мариинского у., допустил полное бездействие по занимаемым им должностям, выразившееся в том, что он лиц, совершавших вышеуказанные преступные деяния, не только не арестовывал, но и следствия не вел, а только для видимости заводил дела.

Вышеизложенные обвинения в отношении всех лиц нашли себе подтверждение как в сознании самих обвиняемых: Комаровского, Никитина, Агейченко, Куц, Кривенко, Степанова, Мельникова, Калиняка, Набойченко, Бедрина, Пучкова, Ведяшкина, Дмитриева, Лебедева, Митрошина, Пушилина, так и показаниями Набойченко, Бедрина, Ведяшкина, Пушилина. В отношении Буторовского, Зыбко, Замятина все обвинения подтверждаются материалами предварительного следствия, исключая обвинение Зыбко в создании провокационной организации, причем ма-

териалы предварительного следствия на судебном следствии опровергнуты не были. Степанов указал, что когда он по предложению Комаровского пошел за Святочевским, то не знал, что Святочевского предполагали убить. Однако Комаровский и Кривенко подтвердили, что Степанов знал о предполагавшемся убийстве Святочевского; Суменков хотя и не признал себя виновным, но данными предварительного следствия вполне установлено, что он присутствовал при избиении крестьян милицией и приговаривал: «Бейте их, чтобы знали как устраивать погоню», предполагая под этими словами погоню, устроенную крестьянами за убийцами священника Шевелева и его жены. Также установлено, что Суменков знал о предполагаемом убийстве Шевелевых. В отношении Могилевчика и Буторовского виновность в деле убийства Мейзерова вполне установлена их оговором друг друга и материалами предварительного следствия.

На основании вышеизложенного трибунал ПОСТАНОВИЛ:

[...] XVI. Признать всех вышепоименованных лиц виновными в том, что они своими действиями подрывали устои советской власти, нарушали революционную законность и возбуждали против власти население, тем самым разрушая устанавливаемый Центром политический порядок общественных отношений между населением.

Приняв во внимание, что указанные преступные деяния свидетельствуют о недоверии к политике советской власти, что за последнее время эти явления приняли массовый характер по всей губернии, приняв также во внимание, что большинство перечисленных выше лиц занимали ответственные должности, состояли в РКП /большевиков/ и пользовались доверием власти, приняв также во внимание в отношении некоторых преступников их молодой возраст, политическую и общеобразовательную неграмотность – трибунал ПРИГОВОРИЛ:

1) бывшего Мариинского зав. политбюро и начумилиции Зыбко Константина Андреевича, 28 лет, из кр-н Гродненской губ. Волковысского уезда Россинской вол. дер. Спиреня, окончившего 2-х классное городское училище, состоявшего в РКП (большевиков) с декабря 1919 г.; 2) бывшего помначумилиции Мариинской милиции Замятина Александра Павловича, 34 лет, военного чиновника, окончившего 2-х классное городское училище, состоявшего в РКП (большевиков) с июня 1920 г.; 3) бывшего начальника района милиции Мариинского уезда Калиняк-Гричановского Сергея Александровича, 24 лет, потомка бывшего княжеского рода, приписанного к крестьянам Гродненского уезда и губ. Масаляевской вол. Великий Эйсмонд ¹, состоявшего в РКП; 4) бывшего помощника начальника районной милиции Мариинского уезда Набойченко Михаила Калистратовича, 25 лет, чернорабочего, из кр-н из д. Почаево Тяжинской вол. Мариинского у. Томской губ., состоявшего в РКП с 1920 г.; 5) бывшего коменданта каталажной камеры при Мариинской у.милиции Буторовского Михаила Васильевича, 34 лет, из крестьян-беженцев гражданской войны, Казанской губ. Чистопольского у. пригорода Белоярска, состоявшего в РКП с 1920 г.; 6) бывшего милиционера Мариинской милиции Бедрина Василия Ивановича, 25 лет, из кр-н д. По-

¹ Так в документе

читанки той же волости Мариинского уезда Томской губ., беспартийного; 7) бывшего милиционера той же милиции Ведяшкина Ивана Тихоновича, 30 лет, из кр-н д. Мишутино Дубровской вол. Мариинского у. Томской губ., состоявшего в РКП с 1921 г.; 8) милиционера Пучкова Николая Федоровича, 23 лет, из кр-н д. Орешино Зырянской вол. Мариинского у. Томской губ., беспартийного; 9) бывшего милиционера Дмитриева Андрея Кирилловича, 22 лет, из кр-н дер. Красноярской Зырянской вол. Мариинского уезда Томской губ., беспартийного; 10) Суменкова Степана Александровича, 37 лет, из кр-н дер. Константиновки Сусловской вол. Мариинского у. Томской губ., состоявшего в РКП с 1920 г.; 11) бывшего председателя Мариинской упродсесии Могилевчика Александра Дмитриевича, 24 лет, студента Пермского университета, состоявшего в РКП (большевики) с 1920 г.; 12) бывшего сотрудника Мариинского политбюро Мельникова Максима Кузьмича, 28 лет, из мещан г. Мариинска Томской губ., состоявшего в РКП (больш.) с 1920 г.; 13) бывшего милиционера Пушилина Никиту Ивановича, 22 лет, из кр-н д. Красный Яр Златогорской вол. Мариинского у. Томской губ., состоявшего в РКП (больш.); 14) бывшего милиционера Комаровского Алексея Владимировича, 26 лет, из мещан г. Мариинска Томской губ., состоявшего в РКП (больш.) – подвергнуть всех высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ. Приняв во внимание чистосердечное признание Набойченко, Комаровского, Бедрина, Ведяшкина и Пучкова, Дмитриева, также их пролетарское происхождение и политическую неразвитость, трибунал находит возможным этим лицам высшую меру наказания – расстрел – заменить заключением в домпринраб сроком на пять лет каждому. 15) бывшего милиционера Лебедева Ивана Михайловича, 24 л., из кр-н д. Сусловой той же вол. Мариинского у. Томской губ., состоявшего в РКП; 16) бывшего милиционера Митрошина Михаила Ивановича, 26 л., из кр-н д. Антоновка Митрофановской вол. Томского у. той же губ., беспартийного заключить в домпринраб на принудительные работы с менее строгой изоляцией сроком на два года каждого; 17) бывшего уполномоченного продорганов Агейченко Алексея Владимировича, 40 лет, из кр-н Смоленской губ., жителя гор. Боготола, рабочего-токаря, состоявшего в РКП (больш.); 18) бывшего милиционера Никитина Николая Михайловича, 25 лет, из кр-н, жителя г. Мариинска, беспарт. – подвергнуть принудительным работам сроком на три года каждого, считая эту меру наказания условной; 19) бывшего милиционера Кривенко Ивана Виссарионовича, 23 лет, из кр-н, жел. дор. машиниста дер. Оskarовки Тяхтетской вол. Боготольского у. Томской губ., состоявшего в РКП с 1921 г., подвергнуть принудительным работам сроком на три года, считая эту меру условной; 20) бывшего информатора Мариинского политбюро Карпенко Николая Сергеевича, 26 л., рабочего Анжерских копей, состоявшего в РКП (больш.); 21) Куц Алексея Ивановича, 19 л., чернорабочего, из д. Раевка Кийской вол. Мариинского у. Томской г.; 22) Степанова Зиновия Казимировича, 18 л., из кр-н д. Зотова Степь Тяхтетской вол. Мариинского у. Томской губернии, беспарт. – признать действовавшими без разумения совершаемого ими преступного деяния, а потому от наказания их освободить. Приговор окончательный и может быть обжалован в кассационном порядке

в течение 48 часов с момента вручения и объявления копий приговора. О вещественных доказательствах иметь особое суждение в распорядительном заседании трибунала.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно:

секретарь отделения

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.100. Л.364-367. Подлинник. Машинопись.

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА

губернского отдела ГПУ по делу о Топкинской анархистской организации

29 марта 1922 г.

ст. Топки

Секретно.

1922 г., марта 29 дня, я, уполномоченный секретного отделения Томского губернского отдела Госполитуправления Чунтонов, рассмотрев вышеназванное дело, нашел:

Перед правосудием пролетариата встают обвиняемые – исключительно пролетарии, коммунисты и, в большинстве, сотрудники ж. д. ЧК-оперпункта ст. Топки. Не понимая политической обстановки советского государства и, в связи с этим, нового курса экономической политики, они, полные духом партизанщины, не понимают терпимого отношения к торговле и узаконению её, удивляются той заботе, которой окружают «спеца», ослабевшему нажиму пролетарской кары на голову контрреволюционеров и т. д. Политически неграмотные, они не понимают, почему вместо классового уничтожения врагов и террора в отношении к нему вводятся революционная законность, правовые нормы и, главное, это узаконяют «верхи», значит их подменили примазавшиеся к партии контрреволюционеры, бывшие меньшевики и эсеры.

На почве этого недовольства некоторые участники настоящего дела на ст. Топки, на политической платформе совершают ряд убийств из-за угла лиц, по их мнению принадлежащих к лагерю контрреволюции.

Непонимание текущей обстановки закрывало им глаза и не позволяло узреть правду.

Совершенные ими преступления подрывали авторитет советской власти и коммунистической партии. Эти убийства волновали крестьян, которые выражали недовольство по адресу соввласти, говоря, что оружие у коммунистов и они убивают и что власть никаких мер не принимает к предотвращению такового.

Некоторые участники-коммунисты говорят о своей левизне, которая в конце концов притягивает их к анархизму, как к более левому течению, причем никто из них, кроме Коптяева, не прочел ни одной книжонки об этом учении.

Было желание вести борьбу за безвластные Советы, за мать-анархию, за трудовую крестьянскую коммуну т. д. Свои действия эта группа лиц думала связать с действиями бывшего партизана Шевелева-Лубкова, который связан был с ними посредством разведчика оперпун-

кта ст. Топки Маслова, который говорит, что Шевелев-Лубков в этом деле явился электричеством, заразившим этих участников.

Сущность завязки участников преступлений выявилась в следующем: Маслов, разведчик оперпункта ст. Топки, познакомился в 1920 г. с популярным партизаном Шевелевым-Лубковым. Приглашает его к себе на чай. Маслов об этой встрече рассказывает своему начальнику Коптяеву, последний просит Маслова его познакомить с Шевелевым-Лубковым. Шевелев дважды был на ст. Топки, встречался с Масловым, который хотел познакомить Коптяева, но не удавалось, несмотря на то, что Коптяева он искал. Коптяев, уполномоченный наружного пункта наблюдения оперпункта, передал Маслову стихотворение для Шевелева-Лубкова.

В августе 1921 г., по словам Маслова, Шевелев-Лубков при встрече с ним у него на квартире стал высказывать свое недовольство новой политикой, тем, что существует торговля, заводы отдаются владельцам, спецы живут и т. п. «Я и мои партизаны будут анархистами». Разговор этот стал известен Коптяеву от того же Маслова. Коптяеву эти настроения близки, знакомы. Он чувствует поддержку в столь сильном человеке как Шевелев-Лубков, значение коего он переоценивал. Для Коптяева это ценно. Теперь он уже не одинок. Сотрудники ЧК тоже думают так. Их настроение определилось еще к июню и июлю месяцам 1921 г. Коптяев с ним ведет разговоры об анархии, выдавая себя за анархиста. Плохо одетые, разутые, не всегда кормленные сотрудники ЧК охотно слушают эту критику на действия верхов, идущих вразрез с волей и желанием масс. Коптяев не скупится на выявление мрачных сторон действительности: «Посмотрите, крестьян обижают, а контрреволюционеров выпускают по амнистии. Вы раздеты, а «верхи» одеты, а какова карательная политика соввласти? Необходимо самим, без суда, убрать контрреволюционеров с дороги, их нужно стрелять». Так говорил еще в июле 1921 г. т. Коптяев. Коптяев мог открыто так говорить лишь только потому, что никто не мог остановить его агитации. Сам начальник секретно-оперативной части, позже начоперпункта, Трофимов был главным пособником всего того, что происходило в пос. Топки.

Трофимов при появлении своем на ст. Топки, полный партизанского духа, непризнания новой политики при отсутствии административных данных, начал свою деятельность с пьянства с сотрудниками и агитации за необходимость убивать контрреволюционеров без суда и следствия из-за угла.

Пьянствовавшие с ним Мироненко и Санников, неплохие, как говорят отзывы, коммунисты и товарищи попадают под его влияние. С ним вместе бывают Лукьянов и Макушин, тоже коммунисты.

Все эти разговоры, мысли начальника Трофимова они в беседе передают Коптяеву и др. сотрудникам. Каков поп, таков и приход. Дисциплина пала, работа не велась, что признают все и Трофимов, который свои мысли развивал даже и на партийных собраниях. Благо его никто не останавливал. Сам секретарь парткома Завадский также сочувствует всему этому.

Таким образом, вокруг более развитого Коптяева собралась кучка, в

которую вошли как единомышленники (левые): Чудов, Гилев, Мироненко, Санников, Болдырев, Завадский, Крикуненко, Косов и др.

Озлобленные, они решают подпольным путем чего бы этого ни стоило уничтожить контрреволюционеров. Здесь было какое-то чувство идейного объединения, которое развивалось до того, что у кого-то явилась мысль уйти в тайгу, в деревню за поддержкой крестьянской массы. Но ждали совета Шевелева-Лубкова.

В начале августа 1921 г. агитация Трофимова дала свои результаты.

Комендант оперпункта Санников убивает дорожного мастера, как контрреволюционера, из-за угла. Его помощниками были Макушин и Булычев. Все в убийстве сознались. Санников ссылается, что сделал это как задание Трофимова, не скрывая того, что сам был согласен на убийство. Трофимов этот факт отрицает.

За неделю до убийства дорожного мастера другой сотрудник, Мироненко, убивает, согласно задания Трофимова, сам тоже с этим актом согласен, бывшего офицера Веселова с женой, но, убивая Веселова, убивает и случайно ехавшую с ним ни к чему непричастную женщину. Помощником его был сотрудник-курьер оперпункта Лаеш-Ковач. Мироненко и Лаеш-Ковач в убийстве сознались. Трофимов долго упорствовал и, наконец, тоже сознался. Чтобы скрыть следы преступления Трофимов сочиняет бумагу, как бы исходящую от партии эсеров, чтобы Веселов совершил повреждение в депо к такому-то числу, а не то он будет убит. Эта бумага должна была быть вложена в карман убитого, но по совершении этого акта убийцы забыли это сделать. Контрреволюционную сторону Веселова Трофимов объясняет так: «Он был деспотичен и высокомерен с рабочими». Вот и вся суть. Дальше Трофимов говорит, что может быть, спьяна, помнит смутно, дал задание на убийство ревизора Миллихсица, но удивительно то, что употребляя выражения «смутно» и «может быть», он твердо помнит, кто был при этой выпивке, как-то: Мироненко, Санников, Лукьянов. Санников утверждает, что для этой цели Трофимов давал револьвер Макушину, хотя Макушин и имел свой, и, что Макушин ему говорил, что «я взял револьвер на всякий случай. Если встречу Миллихсица, то хорошо». Мироненко говорит, что также видал у Макушина браунинг, принадлежащий Трофимову.

Все эти убийства известны Коптяеву. Он их передает другим сотрудникам. Никто не предпринимает шагу к обнаружению виновных, ибо солидарны все и Коптяев одобрял Мироненко в его действиях.

В августе 1921 г. совершается новый акт убийства: т. т. Семенов, Иванов и Жужгов и командир взвода 2-й роты Марков убивают командира роты Мухина как белого офицера, контрреволюционера.

Партизанское террористическое настроение быстро передается всем коммунистам местечка Топки. Наряду с распространяющимися убийствами, распространяется разнузданность сотрудников ЧК, террор вселяет многим жителям ужас.

Сотрудники Гилев и Чудов, все более и более развращенные Коптяевым, делают свое дело разложения всех и вся. Гилев требует скорейшего ухода в тайгу и немедленных террористических актов.

В начале октября или последних числах сентября 1921 г. приезжает

на ст. Топки Шевелев-Лубков. По словам Маслова, он интересовался вопросом: «Как у вас анархия?» Маслов ему ответил со слов Коптяева, что «вся ЧК и милиция – анархисты». Шевелев-Лубков попросил устроить ему свидание с Коптяевым. При ревностных стараниях Маслова свидание между Шевелевым-Лубковым и Коптяевым состоялось в вагоне Коптяева. Здесь говорили о новой экономической политике. Шевелев-Лубков просил держать с ним связь через Маслова и передавать ему о всех контрреволюционерах, дать ему список надежных коммунистов и пр. Это подтверждает и сам Коптяев. Кроме того, Шевелев-Лубков по словам Коптяева просил следить за дежурным по станции Богдановым. Коптяев после отъезда Шевелева-Лубкова продолжает вербовать надежных левых, террористически настроенных коммунистов. Составляет списки на таких надежных лиц в числе 30, куда поместил не всех, у кого он на это просил разрешение, и препроводительным письмом на имя Шевелева-Лубкова отправляет по назначению с разведчиком Масловым, где пишет в духе анархиста, призывает к борьбе за мать-справедливость, за лозунги «Долой всякую власть и насилие», «Да здравствует Совет справедливости и братства» и т. п., сообщает, что рекомендует своих товарищей, верных анархии, которые ждут, что «ты скоро сколыхнешь всю Сибирь и Россию» и т. д. Говорит, что скоро уезжает с Мироненко и Санниковым и подписывается: «готовый на борьбу за мать-анархию».

В предъотъездные дни идет лихорадочная работа. Вырабатывается для цели конспирации шифр «азбука Юпитер» для сношения между собой. Мироненко дает Гилеву, Чудову и секретарю парткома Завадскому задание на убийство ревизора движения Миллихсица; Коптяев же говорит Гилеву и Чудову и другим о необходимости убрать с дороги, т. е. убить, гр. Бабина¹ как контрреволюционера, Гилев, в свою очередь, дает задание зам. Трофимова Черненкову убить инспектора по продналогу Пожидаева. Все эти разговоры и задания принимаются как должное, никто сему не противодействует, даже секретарь парткома Завадский и тот участник.

Маслов по-прежнему освещает жизнь и деятельность Шевелева-Лубкова по Щегловску, рисует ее в красках анархической жизни. Перед самым днем своего отъезда Коптяев пишет Гилеву записку, где просит дать список на «гадов», о которых нужно сообщить Шевелеву. Чудов деятельно помогает Гилеву. Маслов, явившись к Гилеву и Чудову, требует списки от имени Шевелева-Лубкова. Гилев и Чудов вместе со списками на «гадов» передают с Масловым сведения об имеющемся в Топках оружии, количестве войск и шифры телеграфных сношений органов ЧК.

С 30 ноября или 1 декабря Маслов начинает обо всем происходящем сообщать начальнику оперпункта Трофимову, вручая ему письмо Коптяева к Шевелеву и документы данные ему Гилевым и Чудовым.

Болдырев Константин, коммунист, считая священника п. Топки контрреволюционером, решил его убить. Для этой цели он берет револьвер у своего товарища, красного студента, коммуниста Шипулина. Последний утверждает, что не знал, что его револьвер идет для такого дела, а дал его просто потому, что в п. Топки коммунисты друг друга стали бо-

¹ А.Г. Бабий - секретарь Щегловского укома РКП(б)

яться и без револьвера не ходили. То же самое подтверждает Константин Болдырев. Болдырев, явившись к дому, где жил священник, дважды выстрелил в окно, но неудачно. Тогда он переодевается, одевает парик и бороду, берет кинжал и отправляется к священнику. Последний на стук в двери открывает ему ее, спросив, кто стучит, и получив ответ: «Начальник милиции». Ворвавшись в дом, Болдырев Константин бросается на священника, но неудачно. Священник срывает с него бороду и вырывает кинжал. Узнав в нем Болдырева, он подает в оперпункт т. Трофимову жалобу.

Что же делает Трофимов, который уже сам [стал] главарем убийств, виновником большей части преступлений сотрудников, знавший уже об анархо-террористической группировке своих сотрудников, о чем он сообщил в Томгубчека? Вызывает к себе сотрудника Чудова, он предлагает ему предупредить Болдырева, дабы тот бежал и лишь после этого он выпишет ордер на его арест. Это слышал и помощник Трофимова Черненко. Чудов, зайдя в партком, где бывал и работал Болдырев, сказал ему об этом в присутствии секретаря парткома Завадского.

Болдырев скрывается, но вскоре задерживается сотрудниками Пискуновичем и Черненковым. Тов. Трофимов дает задание вести ложное следствие по данному делу, представив это дело в таком виде, что, мол, в день и час убийства он, Болдырев, был на заседании в парткоме. Лжесвидетели нашлись. Шли по сочувствию такому акту, какой собирался совершить Болдырев, например, Гилев, Чудов, Завадский и др., Крикуненко два брата, другие из дружбы к нему, как то: Шипулин и, наконец, боявшийся их всех Сумцов. Болдырев был снова освобожден.

После отъезда Коптяева руководящую роль на себя взял Гилев. 15 декабря, спустя день после покушения на жизнь священника, Маслов, получив от Гилева и Чудова списки на «гадов», списки расположения воинских частей, чистые бланки с штемпелями и печатями и шифры, сказал, что Шевелев-Лубков подымает 20–22 декабря 1921 г. восстание и вырежет всех «гадов» и что у него 30 тысяч партизан.

Гилев и Чудов созвали на 16 декабря совещание в парткоме, где были помимо них Завадский, Крикуненко Александр и др., для решения вопроса «как быть». Некоторые испугались этого выступления, как-то: Завадский, Крикуненко и решили поставить в известность Щегловский уком, другие, как то: Гилев, не смущались и приветствовали это выступление. Крикуненко Александр был у члена Щегловского укома Скульского.

18 декабря, т. е. в первый раз после того дня, когда Болдырев Константин скрылся, ему дал письмо Маслов к Сизикову, где он называл себя анархистом и ему поручалось убить начальника милиции с. Красного. Болдыреву это название, анархист, показалось весьма подозрительно и он об этом сообщил и дал копию письма члену укома Скульскому для передачи в Щегловске в политбюро. Данные Гилевым Маслову пакеты были переданы Трофимову с письмом, где Гилев приглашал Шевелева приехать для личных переговоров в местечко Топки.

Около 25 декабря 1921 г. Маслов, вернувшись из Щегловска, сообщил, что выступление отложено, ибо Шевелев-Лубков уехал в Москву.

25 декабря на квартире сотрудника Кудряшева собрались: Чудов, Гилев, Болдырев К. и Максим Завадский, Кудряшев, которые обсуждали этот вопрос в связи с создавшимся положением. Гилев продолжал доказывать необходимость террора, остальные воздерживались и были против. На этом разошлись.

Томская губчека, не имея сведений о деятельности Шевелева-Лубкова и имея факт развала ЧК ст. Топки, могущее иметь печальные последствия, постановила ликвидировать всю эту группу и ее действия. 26 декабря 1921 г. все лица были арестованы [...] ¹.

Подлинный подписали:

Уполномоченный Подпись

Н-к секретного отделения Подпись

С подлинным верно:

Секретарь суд. коллегии

Сиботделения Верхтриба ВЦИК Подпись

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.288. Л.99-100. Заверенная копия. Машинопись.

РЕЗОЛЮЦИЯ

председателя Сибирского отделения верховного трибунала ВЦИК на заключительном акте по делу Топкинской организации

17 мая 1922 г.

г. Новониколаевск

Принимая во внимание, что данными дела устанавливается причастность Шевелева-Лубкова, допрос коего является необходимым в виду особых деликатных обстоятельств, полагал бы дело Шевелева-Лубкова выделить, слушанием отложить, материал передать для дальнейшего расследования Представительству ГПУ по Сибири. Дело всех остальных заслушать в обычном порядке в выездной сессии Томского губревтрибунала в Топках, не применяя высшей меры наказания, ввиду малозначительности обвиняемых и абсолютного непонимания ими новой экономической политики советской власти.

Предсиботделения

Верхтриба ВЦИК Подпись

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.288. Л.101. Подлинник. Машинопись

ИЗ ПРОТОКОЛА

судебного заседания губревтрибунала по делу Топкинской анархистской организации

12 июня 1922 г.

[...] Обвиняемый Трофимов Николай Иванович не признает себя виновным во всех предъявленных в обвинительном заключении обвинениях. Признает себя виновным только в заданиях на убийства. На вопрос председательствующего, какую цель преследовал он, давая задания на убийства, обвиняемый Трофимов ответил: «Я предполагал, что прино-

¹ К судебной ответственности привлечено 24 человека

сил пользу, приказывая убивать буржуев и интеллигентов, этих гадов, всех тех, кто служил при Колчаке, но теперь сознаю, что это было бесполезно, сознаю свою вину». Далее на вопрос председательствующего: «Почему при Колчаке не убивал этих «гадов»?», – обвиняемый ответил, что не представлялось возможным, что был поставлен в другие условия. Далее на вопросы, предлагаемые председательствующим, обвиняемый Трофимов отвечал, что задание убить Веселова он давал словесно, что он очень пожалел, что вместе с Веселовым убили постороннюю ему женщину, что ему было поручено от партии РКП следить за эсерами и бандитами, что о своих наблюдениях он сообщал в Томск, что банд на ст. Топки и вблизи не было. На вопрос члена трибунала, представителя от губотдела ГПУ т. Соколовского: «Какую тактику вели эсеры и меньшевики в борьбе с партией РКП?» – обвиняемый Трофимов ответил, что тактикой был саботаж. Затем на вопрос т. Соколовского заявил, что по его, Трофимова, заданиям было совершено два убийства, а почему без суда, то ответить затрудняется, но совесть подсказывала ему, что так лучше и скорее [...].

Обвиняемый Мироненко Иван Михайлович не отрицает приписываемых ему в обвинительном заключении деяний и заявляет на вопросы председательствующего, что согласился убить статистика Веселова как «гада», контрреволюционера в силу того, что если бы не убил его, то должен был бы отвечать перед властью, что убил по приказанию, по заданию своего начальника т. Трофимова, что вместе с Веселовым убита им женщина, что убил женщину за тем, чтобы не оставалось свидетелей его деяния, так как убить Веселова, по приказанию Трофимова, нужно было секретно и бесследно, что он, Мироненко, смотрит на свой поступок не как на преступление, а как на точное и беспрекословное исполнение приказа своего начальства, что виной всему Коптяев и Трофимов, что он не мог не исполнять их приказаний [...].

Председательствующий
Секретарь

Подпись
Смеловский

ГАТО. Ф. Р-236. Оп.2. Д.288. Л.75-76. Подлинник. Рукопись.

Публикацию по документам ГАТО и ЦДНИ ТО подготовил Валерий МАРКОВ.

**Владимир Петрович
ЖОЛНЕРОВСКИЙ**

Родился в 1947 году в г. Колпашево. Окончил Томский пединститут, пятьдесят лет отработал учителем в с. Наумовка Томского района. Множество публикаций стихов и прозы в периодической печати. Автор книг «Светлая грань», «Остаться на этой земле».

Живёт в с. Наумовка.

**Александр Петрович
КАЗАРКИН**

Критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор Томского государственного университета. Автор книг «Пульс времени», «Литературно-критические оценки» и многих других. Член Союза писателей России. Родился в селе Дресвянка Новосибирской области.

Живет в Томске.

**Ирина Александровна
КИСЕЛЁВА**

Родилась в Красноярском крае. Окончила Томский политехнический университет. Неоднократные публикации в журналах. Сборник стихов «Шальные дожди».

Живёт в Томске.

**Виктор Анатольевич
КОВРИЖНЫХ**

Родился в 1952 году. Живёт в Старобачатах Беловского района Кемеровской области. Работает пожарным-спасателем в местной пожарной части. До этого двадцать лет отработал на Бачатском угольном разрезе: водитель, машинист ж.д. крана, составитель поездов. Автор четырех поэтических сборников и ряда публика-

ций поэзии и прозы в центральных и региональных журналах, коллективных сборниках, хрестоматий и антологий. Член Союза писателей России.

**Лидия Борисовна
ЛАПИНА**

Родилась в 1941 году в селе Парабель Томской области. Окончила историко-филологический факультет Томского государственного университета. Работала учителем, журналистом, социологом. В 2001–2008 гг. – редактор ежегодного городского литературно-художественного альманаха «Стрежевой», редактор-составитель антологии «Стрежевой поэтический». Автор двух поэтических сборников. Стихи публиковались также в томских журналах «Сибирские Афины» и «Начало века». Живёт в Стрежевом.

**Сергей Григорьевич
МАКСИМОВ**

Родился в Кемеровской области. Поэт и прозаик, автор и исполнитель своих песен.

Член Союза писателей России. Работает режиссёром ОГУК «Дом искусств». Выпустил три сборника стихов и роман «След грифона».

Живёт в Томске.

**Лариса Геннадьевна
МАРКИЯНОВА**

Родилась в с. Большие Крышки Цивильского района Чувашской АССР. Детство прошло на Урале в Оренбургской области. Живёт в Чебоксарах. Работает на Чебоксарском электроаппаратном заводе (ЗАО «ЧЭАЗ») ведущим инжене-

ром. Рассказы пишет последние 5 лет.

**Валерий Иванович
МАРКОВ**

Выпускник историко-филологического факультета ТГУ. Преподавал в университете и техникуме, был на партийной и профсоюзной работе. Заведовал отделом Государственного архива Томской области. Соавтор десяти выпусков сборников документов «Из истории земли томской». Автор и член редколлегии журнала «Начало века».

**Наталья Сергеевна
ПАНЫЧЕВА**

Выпускница Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Член ЛИТО этого вуза. Работает архитектором-дизайнером. Впервые публикуется в журнале.

Живёт в Томске.

**Геннадий Кузьмич
СКАРЛЫГИН**

Родился в Кемеровской области. Окончил Томский геолого-разведочный техникум, работал геофизиком. Затем окончил Томский государственный университет, работал журналистом. Секретарь правления Союза писателей России, председатель Томской областной писательской организации. Автор семи книг стихов.

Живет в Томске

**Сергей Константинович
ЯКОВЛЕВ**

Родился 11 сентября 1950 года в Томской области. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор многих книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Входит в состав правления Томской областной писательской организации.

Живёт в Томске.

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал
Издание томских писателей

Главные редакторы

Г. Скарлыгин

В. Крюков

Вёрстка журнала

М. Шарвэ

Корректоры

В. Дмитриева, Н. Синявская

Редакция журнала принимает к рассмотрению первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо набранные на компьютере через полтора интервала (12–14 кегль), желательно с приложением набранного текста в любом формате на любом цифровом носителе. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС121331 от 21 марта 2007 года.
Выдано управлением Росохранкультуры РФ по Сибирскому федеральному округу. © Составление и оформление: «Начало века», 2010 г.

Формат 70x108¹/₁₆. Гарнитура SchoolbookC, PragmaticaC.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,5. Тираж 2000 экз. Заказ № 1010.
Отпечатано в ОАО «Издательство «Красное знамя».